

Алексей Макушинский

Город в долине

Роман

Il n'y a pas un être humain capable de dire ce qu'il est, avec certitude. Nul ne sait ce qu'il est venu faire en ce monde, à quoi correspondent ses actes, ses sentiments, ses pensées; qui sont ses plus proches parmi tous les hommes, ni quel est son nom véritable, son impérissable Nom dans le registre de la Lumière.

Léon Bloy

1.

Странное дело, мы так и не перешли с ним на «ты». Мы называли друг друга по фамилии (прямо как Станкевич с Грановским, заметил он как-то, прямо как Герцен с Тургеневым) и упорно, с первой, в мои девятнадцать лет, в его, кажется, двадцать один год, до последней, о которой – когда-нибудь, встречи, обращались на вы друг к другу: вы, Двигубский, вы, Макушинский. Это *выканье*, в его двадцать один год, в мои девятнадцать, было, конечно, игрою – и, конечно, формой протеста против пролетарского панибратства, со всех сторон окружавшего нас. По фамилии же потому, наверное, называли друг друга, что слышалось – нам обоим, не нам одним, может быть, – некое созвучие в этих фамилиях: обе на –ский, обе довольно редкие; моя, впрочем, тягучий анапест, его – решительный ямб, лишь притворяющийся (как, в свою очередь, сказал я ему однажды, зимней ночью, тридцать лет тому назад) амфибрахием. Ночью, кстати, и познакомились мы, раннезимней ночью, в ноябре 1979 года. Было некое место возле Чистых прудов, называемое *чердак* – огромная, в несколько путаных помещений, безнадежно-пыльная мастерская одного, как и все они, бородатого, насквозь прокуренного художника, пару лет спустя уехавшего в Израиль – или двух художников? – все двоится теперь, как ни всматриваюсь, – где чуть ли не каждый вечер собиралась большая и разношерстная, полудиссидентская, полусветская – одно в ту пору сливалось с другим – *компания*, покуда, годом позже, после обыска, произведенного там *гэбухой*, чердак этот не оказался вдруг запертым на амбарный замок, навсегда. Знакомство же наше произошло вот как. Я стоял, хорошо это помню, на углу возле театра «Современник», ожидая мою тогдашнюю кратковременную, так скажем, подругу, с тех пор тоже затерявшуюся в пространстве (пространстве, по

некоторым сведениям, американском), блондинку Женю, как все называли ее, чтобы отличить от какой-то брюнетки Жени, которую уже никак не могу теперь вспомнить; с этой Женей-блондинкой договорились мы встретиться, чтобы вместе пойти на *чердак*, где я еще не бывал, где бывала она постоянно. В ту пору в моде были брезентовые сумки на длинных лямках, военно-противогазного вида (эпоха разноцветных рюкзаков еще, конечно, не наступила); в сумке же лежало у меня что-то остро-нелегальное, Архипелаг, Авторханов... (я, разумеется, никогда не рискнул бы достать из сумки *такое* на улице или в метро; шик был в том, что – вот, сидишь в вагоне или едешь по эскалатору, и никто ничего не знает, и *мент* у турникета глядит на тебя невидящими глазами, а в сумке-то, в сумке-то у тебя...; мне, повторяю, всего девятнадцать лет было в ту мифологическую эпоху). Еще помню, что в моде, впрочем – недолго, были тогда мундштуки, причем дешевые, псевдо-янтарные, за тридцать, что ли, копеек продававшиеся в любом табачном ларьке; сигарету полагалось вставлять в такой мундштук целиком, не отрывая фильтра (заботясь, будто бы, о здоровье...); в узком стволе его образовывалась постепенно черная дрянь, которую извлекали оттуда тонкой проволокой, замотанной в вату; с кретинической сосредоточенностью чистить мундштук на лекции было, конечно, невинной отрадой студента. Вижу себя довольно отчетливо, с этой брезентовой сумкой и тридцати-, тоже, копеечной «Явой», забитой в мундштук, в перешитой на меня отцовской тяжелой дубленке, топчущимся в снегу, глядящим на кружение снежинок под фонарем; еще отчетливее вижу его, появляющимся из прозрачной мглы переулка. На нем было бежевое английское пальто с большими костяными застежками (не пуговицы, но рожки, продевавшиеся в кожаные петли; такие пальто видел я в «Березке» на, кажется, Профсоюзной...), уже, в сущности, не соответствовавшее сезону; длинный, тоже как бы английский, серо-бурый шарф, высоко замотанный вокруг шеи, так что, когда он заговорил со мною, ближайший к подбородку завой заколебался от его слов; и каких-то неправдоподобных размеров, ярко-рыжие, на меху, рукавицы, на которые он, казалось, и возлагал все свои надежды в борьбе с морозом, время от времени с глухим хлопком ударяя в ладоши. «Вы, наверное, Алексей? Меня послала Женья вас встретить». – «А вы?» – «Двигубский, Павел», сказал он, обнажая ямбическую природу своего имени и какие-то преувеличенно-правильные, навязчиво-сияющие зубы в снисходительно-победительной, вызывающе неискренней, а потому и наглой улыбке. – «Идемте, холодно». Все это очень не понравилось мне, но я, конечно, пошел.

2.

Он был выше меня ростом (а я к этому относился тогда ревниво). Был высок, худ и нескладен. Шагая махал руками – и взад-вперед, и вкривь-вкось, как если бы они плохо были привинчены к узким его плечам, да и в локтях, похоже, с шарнирами не все у него заладилось. Был при всем том откровенно, даже как-то (решил я) неприлично красив; носил в то время роскошную, чуть-чуть выющуюся, темно-русую, *рудинскую*, как мы потом прозвали ее, шевелюру, в ту зимнюю ночь не прикрытую шапкой и великолепно контрастировавшую с его очень черными, густыми бровями. Эти брови, до самого конца не утратившие своей красоты и полета, были как бы особым его клеймом, личным знаком, внятными и памятным всякому, кто хоть раз внимательно на него посмотрел; у переносицы сросшиеся, на пути к вискам набиравшие силу и густоту, затем утончавшиеся, но отнюдь не редевшие, как будто проведенные уверенным карандашом, ярко-черные по-прежнему, внезапно, у висков, обрывавшиеся, они образовывали одну из тех совершенных линий, какие встречаем мы в природе нечеловеческой, о человеке не думающей, не знающей, в изгибе случайной ветки под фонарем, зимней ночью, в ласточкиных росчерках на грозном закате, под эль-грековским небом, во взмахе крыльев кружащейся над заливом, над дюнами и над берегом чайки – за которой мы следим точно так же, как я следил в тот вечер, в ту ночь за взмахами этих бровей, вновь и вновь взлетающих над его какими-то, показалось мне, дымчатыми, дымчато-карими, и тоже чуть вытянутыми, как на египетских фресках, глазами. Мы свернули сначала в одну арку, затем в другую, затем еще в какую-то третью, прошли сквозь затхлый подъезд с полуломаными и ржавыми почтовыми ящиками, поднялись, на дергающемся лифте, на последний этаж и затем на чердак по загибающейся за лифтовую шахту лестнице – и долго шли потом по этому чердаку, едва освещенному одной-единственной, уже далеко позади, у самого входа, оставшейся лампочкой, по длинным, очень скрипучим доскам, переброшенным, как гать через болото, через гулкую его темноту, покуда не добрались, наконец, до обитаемой части этого чердака, отделенной от внешнего враждебного мира классической советской дверью, с ключьями грязной ваты, выбивавшейся из-под рыжей обивки; за дверью был свет, голоса, табачный дым, треньк гитары.

3.

Фамилия же Двигубский, по невежеству моему, ничего мне в ту пору не говорила – но все же смутно напомнила что-то; через сколько-то дней после знакомства с П.Д.,

ведомый этими смутными воспоминаниями, я отыскал на полке, между собранием сочинений Мережковского и четырехтомным Алексеем Константиновичем Толстым, тонюсенькую, очень пожелтевшую, очень ветхую книжечку, в мягкой, с разводами и кружками, бумажной, наивно подражающей коже какого-то неведомого зверя, обложке, с детства мне знакомую и до сих пор у меня сохранившуюся, вот она, озаглавленную: «Таинственное предсказание, или Карточный Солитер». Под заглавием – виньетка, изображающая полуобнаженную, мощнорукую арфистку, парящую в облаках, с развевающимися, как ткань, волосами и такой же тканью развевающегося, но в другую сторону, так что не совсем понятно, откуда дует ветер, хитона; под виньеткой – выходные данные: «Москва. В университетской Типографии. 1833». На оборотной стороне титульного листа значится: «Печатать позволяется. Москва, Января 7-го дня 1833 года. Цензор, Заслуженный Профессор, Статский Советник и Кавалер Иван Двигубский». 7 января 1833 года барон Е.Ф. Розен сообщал С.П. Шевыреву о Пушкине: «Он решительно ничего не пишет, осведомляясь только о том, что пишут другие». Откуда была у нас дома эта книжка, я не знал и не знаю; я, конечно, взял ее с собою, когда в следующий раз отправился с уже упомянутой Женей «на чердак», где П.Д. поначалу не было; а кто, собственно, был? Было несколько художников и художниц, молодых и совсем молодых, появлявшихся там постоянно, иногда рисовавших что-нибудь вместе с хозяином (может быть – учившихся у него? я не знаю опять-таки, знаю только, что нового человека усаживали рано или поздно в трухлявое, валкое кресло и рисовали его с разных сторон; усадили в конце концов и меня, с томом Томаса Манна, вот это я почему-то запомнил, в руках; усаживали, наверное, и Двигубского; где теперь эти рисунки?); были, как они всегда и везде бывают, просто девушки, без дальнейших свойств и характеристик; была умопомрачительная особа по кличке Люда-холера, сквозь приступы кашля и брызги мокроты сообщавшая всем встречным и поперечным, что она вчера весь вечер блевала, всю квартиру, бля, заблевала, а сегодня у нее началась менструация, так что вы к ней лучше не подходите; была, наоборот, тонюсенькая, вся изломанная и манерная девушка, прозывавшаяся Спичкой, всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал с ней, смотревшая на непрошеного собеседника с удивленным упреком, как не стыдно, мол, приставать ко мне с пустяками, затем впадавшая вдруг в истерическую веселость, затем опять умолкавшая, как будто все прислушиваясь к чему-то; была православная фракция, любившая, понятное дело, поговорить о таинстве причастия, о поездке в какую-то пустыньку, об отце Александре Мене; были дети диссидентов, опаленные героическим пламенем; был

сын знаменитого дирижера, мрачный малый, налегавший, в основном, на коньяк, неизменно приносимый им с собою в армейской фляжке с красной звездой на крышке, изредка угощавший им кого-нибудь из своей свиты; были фарцовщики, непонятно как и зачем оказавшиеся здесь; был добрейший, толстейший, уже, по нашим тогдашним понятиям, немолодой, то есть, *entendons-nous*, тридцатилетний, трогательно местечкового вида и облика, с рыжей бородицей, врач Лёня, тоже непонятно как здесь оказавшийся, впоследствии, и еще много лет спустя, и наверное до сих пор помогавший и помогающий всем своим друзьям, знакомым, полужнакомым в их разнообразных невзгодах, болезнях и трудностях. Книжка, мной принесенная, имела, конечно, успех; передавая ее из рук в руки, читали мы, например, что гадать надо так: «Возмите из колоды карт – 32 карты, то есть от туза до семерки, каждой масти, перемешайте хорошенько, задумайте, и выдерните три раза по одной карте, потом смотрите каждой значение». Значение вот, к примеру, такое: «СЕМЕРКА ЧЕРВОННАЯ. Прелестная девушка белокурая с голубыми глазами, пылкого ума, окажет вам величайшую услугу, не предупредив вас о том. Она чрез вас познакомится с одним черноволосым, за которого потом выдет замуж, и в двух этих молодых супругах вы найдете для себя лучших друзей, никого кроме их посещать не будете; можно сказать, что в кругу этих друзей вы обретете все наслаждения безмятежной старости». Или: «ДАМА БУБНОВАЯ. Сия карта предупреждает вас быть осторожным: одна женщина, сплетница, болтуня и притом очень любопытная, поспорит вас с людьми, которых вы наиболее уважаете; но возбужденное ею о вас невыгодное мнение опровергнет хорошее ваше поведение и отмстит клевете, за которую останется ей презрение, а вам уважение. Где властвует злоречие и первенствуют интриги, там надобно избегать мести! и если вы не последуете сему совету, то совершенно потеряетесь. Все дурное, что сделает вам сия злая женщина, послужит уроком впредь быть осторожнее». Как ни стараюсь теперь найти здесь предзнаменование, знак и отзвук моей ли собственной, Двигубского ли судьбы, не нахожу, разумеется, ничего, ни знака, ни отзвука. Между тем, он появился; каково быть потомком цензора, спросил его кто-то. Брови его взлетели; улыбнувшись, на сей раз, какой-то тихой, как бы внутрь обращенной улыбкой, ответил он, что Иван Алексеевич Двигубский, а это именно он, кто же еще? был цензором лишь, как теперь сказали бы, по совместительству, а был, вообще, человек замечательный, ученый-ботаник, ректор, между прочим, Московского университета, автор первого описания всей подмосковной флоры и фауны. Он, Павел Двигубский, уже давно собирает сведения о нем; в «Русском биографическом словаре» Половцова, том шестой,

страница не помню какая, есть о нем большая статья, где приводятся, в частности, названия многочисленных его трудов, среди коих, то есть именно названий, есть замечательные, он, Павел, помнит некоторые из них наизусть, как, например, «Краткое описание всех животных четвероногих и китов, которые водятся в пределах российского государства, с показанием мест, где именно они водятся», 1816 года, или, не менее, согласитесь, прекрасное, «Изображение растений, преимущественно российских, употребляемых в лекарства и таких, которые наружным видом с ними сходны и часто за них принимаются, но лекарственных сил не имеют», в трех, между прочим, частях, издававшихся с 1821 по 1831 год. Все это он проговорил медленно, тихо и с расстановкой, явно наслаждаясь и самими названиями, и произведенным эффектом. Нет, он вовсе не потомок профессора Ивана Двигубского, увы; впрочем, если верить семейным преданиям, он все же находится с ним в отдаленном, для него, Павла Двигубского, бесконечно отрадном и почетном родстве. Цензорами же в российском государстве были, как известно, многие достойнейшие люди, четвероногие и киты, как, например, Александр Васильевич Никитенко, автор знаменитого дневника, каковое цензоровство не помешало Некрасову и Панаеву пригласить его в соредакторы «Современника»; цензором, по возвращении из Мюнхена, был, между прочим, и Тютчев, даже старшим цензором, если память не изменяет ему, отвечавшим, впрочем, только за иностранную литературу, пропускаемую или не пропускаемую в российское государство министерством иностранных дел, где и служил он; цензором, наконец, уже в более либеральные пореформенные времена, был, кстати, и Гончаров, причем он, Двигубский, отнюдь не уверен, что эта служебная деятельность великого романиста, так он выразился, уже явно играя и переигрывая, начавшаяся в 1856 году, когда реформы еще только намечались на горизонте нашей общественной жизни, имеет к ним, реформам, сколько-нибудь значительное отношение, то есть, по его, Двигубского, убеждению, он, Иван Александрович, видел в своей цензурной деятельности, как и все они, просто службу и без всякого сомнения поступил бы в оную, даже если бы никаких реформ на горизонте и не наметилось, хотя, с другой стороны, нельзя отрицать, что именно благодаря Гончарову были опубликованы... Он, кажется, собирается прочесть нам лекцию, заметил кто-то. Историк, бля, с отвращением проговорила Люда-холера. У историка были длинные гибкие пальцы музыканта, хотя, как я вскорости выяснил, ни на каком музыкальном инструменте он не играл; перелистывая принесенную мною книжку, прочитал он своим низким, с хрипотцой, голосом: «ДЕВЯТКА БУБНОВАЯ. Дела ваши хотя идут медленно, но от сего не может быть расстройства в успехе. В уме

вашем составлен план, отменно выгодный вашей будущей пользе; – хотя завистники и могут испортить его, но деятельность ваша все превозможет, и вы достигнете до цели, предпринятой вами – к удивлению всех вас знающих, и посторонних лиц – не оставляйте счастливой вашей мысли, и ни под каким видом не слушайте тех, которые пожелают отвратить вас от оной – помните, что от исполнения зависит счастье всей будущности вашей, и будьте тверды».

4.

Среди моих знакомых, кажется, и не было никаких, в ту пору, историков; Двигубский, следовательно, был первым. Все вокруг учились на филологическом факультете. Кто не учился на нем, тот был художник, или музыкант, или, наоборот, физик, математик, биолог. Когда я узнал, что он учится на историческом факультете университета, и не только учится, но уже заканчивает его, уже, как он выразился, готовит дипломную работу, еще колеблясь, впрочем, в выборе темы, я тут же вспомнил, я помню, что в шестом, в седьмом, даже еще в восьмом классе школы на глупейший вопрос так называемых взрослых, кем я хочу быть, отмахиваясь от этого вопроса и, значит, втайне уже тогда понимая, хотя еще не в состоянии, конечно, сформулировать эту простую мысль, что быть – кем-то вообще невозможно, что бытие не терпит определений, все-таки, отмахиваясь от вопроса, но и не совсем не всерьез, отвечал, что – историком, к девятому же классу сообразил, что Софья Власьева, как мы тогда говорили, считает историю, причем любую историю, и ацтеков, и ассирийцев, естественной своей прерогативой, неотчуждаемой своей вотчиной и что, следовательно, если я не хочу задохнуться в ароматах диамата, испареньях истмата, лучше мне, наверное, историком не становиться. Это не совсем так, сказал мне Двигубский; здесь, как и везде, идет своя подземная, подрывная работа... Мы вышли вместе с ним, с Женей, еще с кем-то, к Чистым прудам; известно ли нам, спросил он, что пруды эти до восемнадцатого века назывались Поганою Лужею? общий смех был ему, конечно, ответом. В ту раннюю пору, казалось мне, он чуть-чуть выделялся и задавался, сообщая не всегда доброжелательным к нему окружающим подобные сведения; впоследствии – никогда. Чистые пруды потому назывались Погаными, или Поганою Лужею, что в них сбрасывали отходы скотобоен и мясных лавок, коих в этой части Москвы было множество, чему свидетельством осталось, понятное дело, название *Мясницкая улица*, улица, переименованная *совдепами*, с привычным презрением подчеркнул он это словечко, сначала в какую-то Первомайскую, затем, после убийства оно, в улицу

Кирова, и с тех пор, добавим мы от себя, но этого, конечно, ни он и никто из нас еще не знал в ту зимнюю ночь, превратившаяся снова в Мясницкую. Вся эта часть города называлась Мясниками, или еще – Мясницкою полусотней; можно представить себе, какие здесь были благоуханья. Поганые же пруды (ровной конькобежной гладью лежавшие перед нами...) превратились в Чистые после того, как их – очистили, вот как все просто, очистили же их по распоряжению не кого-нибудь, а – кого же? – а герцога Ижорского, вот кого, герцога Ижорского? именно, герцога Ижорского, более известного вам, *друзья мои*, вставил он с каренинской интонацией насмешки над тем, кто в самом деле стал бы так говорить..., более, *друзья мои*, известного вам под именем Александра Даниловича Меншикова, поскольку Александр Данилович Меншиков, полудержавный наш властелин и счастья баловень безродный, владел здесь имением и не только очистил пруды, но и построил Меншикову башню, иначе говоря вон ту церковь в Архангельском переулке, коей купол мы могли бы, он взмахнул своей плохо привинченную рукою, увидеть отсюда, если бы не эта темнота, эти тусклые фонари, этот серый фон жизни... возвратимся к прудам. Из прудов, вот на что хочу я обратить просвещенное внимание ваше, вытекала некогда речка Рачка, потому, надо думать, так называвшаяся, что в ней водились особенно крупные и вкусные раки, отходами скотобоен, надо полагать, и питавшиеся; речку эту еще в восемнадцатом веке, заключили в трубу, подобно многим другим московским ручьям и речкам, в разные исторические эпохи потерявшим, как и все мы, свободу, из каковых речек упомянуть следует не только знаменитую Неглинную, но и речки с такими, например, замечательными названиями, как Жабенка, Лихоборка, Жужа, Хапиловка, Таракановка и Ходынка. Вообще удивительно, как обращаются с водой в Москве и как в Питере. В Москве воду уничтожают, загоняют в трубы и прячут под землю. В Петербурге с самого основания города роют каналы, хотя воды там и так предостаточно. Чему примером служить могут, он подчеркнул опять-таки голосом это *служить могут*, входя, очевидно, в роль какого-нибудь старика-бригадира из забытой какой-нибудь пьесы, чему примером, *государь мои*, служить могут Кронверкский канал и Крюков, канавка Зимняя и Лебяжья, прорытые еще при жизни отца нашего Петра Алексеевича, а также Екатерининский канал и Обводный, прорытые при матушке-императрице. Шедшая нам навстречу компания горластой шпаны посмотрела на нас, как будто прицениваясь, задрать или нет; прошла, к счастью, мимо. Бульвар был пуст, снег скрипел под ногами, редкие такси уезжали в никуда за деревьями. Вот разница между городом водным, морским, открытым миру и ветру, и городом сухопутным,

континентальным, повернутым к Азии, мечтающим о степях, солончаках и пустынях. А между тем, ведь именно рекам обязана Москва своим возвышением, поскольку, как нам всем, конечно, известно (никому из нас, по советскому невежеству нашему, известно это в ту пору не было...), Москва-река благодаря своим притокам соединяет бассейн Волги с бассейном Оки, то есть, по сути дела, северную Русь с южной, а Яуза, с другой стороны, подходит совсем близко к Клязьме, соединяющей Запад с Востоком, так что есть, если вдуматься, что-то парадоксальное в этом отрицании городом своей изначальной, речной и водной, природы; Москве, впрочем и в отличие, опять же, от Петербурга, отрицание своей природы свойственно и в других отношениях, отчего она все время изменяется, уничтожая себя саму, Петербург же неизменен, при всей молодости своей как бы вечен, так что даже большевики ничего не смогли с ним поделаться.

5.

Было, было что-то показное и отчасти назойливое в подобных его рассуждениях, рассуждениях, которыми он, П.Д., пытался как будто – и с немалым, надо сказать, успехом – привлечь к себе внимание публики и вместе с тем, или так мне казалось, отвлечь его, это постороннее и чужое внимание, от чего-то в себе, что он прятал, от какой-то своей тайной мысли, или тайной печали. Вдруг, бывало, вызов в нем чувствовался; той наглой, преувеличенно белозубой улыбкой, которую он продемонстрировал мне при первом нашем знакомстве, улыбался он почти всякому новому человеку, словно стремясь сразу же поставить этого нового на причитающееся ему место; улыбался так и просто разговаривая с людьми, почему-либо ему неприятными. Вышеупомянутого, налегавшего на коньяк, дирижерского сына, именем, вот не могу теперь вспомнить, то ли Эдик, то ли, может быть, Рафик, пару раз на моих глазах принимался задирать он, что было, вообще, небезопасно, но ему, Двигубскому, почему-то сходило с рук; тот отшучивался как мог, к удивлению своей свиты, но в драку не лез и даже матом почти не ругался. Сам Двигубский не матерился, на моей памяти, никогда; пил очень мало, не допьяна, как пили, увы, другие; курил, но мог обойтись и без курева; опытов с наркотиками не делал, эфедрин не глотал и *косяк с травкой*, протянутый ему кем-нибудь, передавал сразу дальше. Возможно, он *перебесился* уже ко времени моего с ним знакомства, как и сам я, в ту зиму 79-80-го года еще пускавшийся во все тяжкие, попадавший в такие места, в таком обществе, о каком и каких не могу теперь думать без отвращения, на самом деле, еще не зная этого,

беситься уже заканчивал и к лету, тем более к осени 80-го бесповоротно закончил; я, во всяком случае, этой разгульной фазы его жизни, если она у него вообще была, как бывает почти у всех, не застал. Поражало его одиночество. Все вокруг сходились и расходились, конечно; романы завязывались; романы развязывались; от мечтательной влюбленности и робких рукопожатий до группенсекса в чьей-то грязной квартире, среди пустых бутылок и оплывающих под утро свечей, расставленных на полу, было всё; один Двигубский ни в чем не участвовал. Был ли он уже мужчиной в то время? Подозреваю, что все еще нет, а спросить теперь не у кого, да я и не решился бы, разумеется, задать ему такой вопрос, ни тогда, ни впоследствии. Вижу его отсутствующим, смотрящим в свою какую-то сторону; пару раз, смешно вспомнить, устраивали мы спиритические сеансы, тоже, разумеется, ночью, однажды, уже весной того (все того же) 80-го года, почему-то у меня дома, на узкой кухне, где каким-то образом мы все поместились; затеял это некий Ика, так его называли, один из завсегдаев *чердака*, арапообразный, обезьянорукий молодой человек, с поражавшей меня скоростью, легкостью писавший, по большей части – гуашью, портреты, или точнее – просто лица, поскольку портретного сходства ни с кем в них не замечалось и модели отсутствовали, на модильяниевский манер удлиненные, узкие, почти одинаковые, по несколько штук в день; был, приглашенный мною в тот вечер, к *чердаку* и чердачной компании никакого отношения не имевший, Ф.Е.Б. (друзьями и полудрузьями за глаза прозываемый Фебом), дорогой друг мой, умнейший и лучший, вообще говоря, из людей, к моему не тогдашнему, тогда я это принял как должное, но к теперешнему моему удивлению пожертвовавший сном ради сего сомнительного эксперимента, что, в мои к тому времени уже двадцать лет, и даже в двигубские двадцать два, еще как бы само собой разумелось, в его же, Феба, тридцать три было уже, по крайней мере на мой сегодняшний взгляд, эскападой, на которую сам я, впоследствии, в свои собственные тридцать три года, к примеру, вряд ли бы согласился. Я только не знаю, не грех ли это, проговорил Ф.Е.Б., раскуривая трубку и глядя, как Ика склеивает большие листы бумаги и, очень ловко, быстро, прищурившись, рисует на них совершенно правильный, нигде не прогибающийся и никуда не выпирающий круг. Анна Федоровна Тютчева в знаменитом своем дневнике утверждает, что – грех, ответил на это Двигубский, что это бесы шутят и черти насмеются над человеком. Она же, Анна Федоровна, описывает в дневнике своем несколько спиритических сеансов, причем сеансов при дворе, в присутствии и с непосредственным участием и самих царствующих особ, и других членов

императорского дома, спиритизму предававшихся, очевидно, со страстью, каковая страсть охватила, если верить дочери *любимого нашего поэта* (Феб слушал все это улыбаясь, приглядываясь к оратору, попыхивая своей трубкой), и самого Александра Второго, причем в то именно время, когда в России готовились, и Россия готовилась, к великим реформам, так что невольно спрашиваешь себя, что, собственно, было важнее для государя, освобождение крестьян или все же столовращение, в самом деле, если верить рассказам, протекавшее при дворе весьма бурно и, следовательно, на свой лад убедительно. У них был, значит, настоящий медиум, сказал Ика. Разумеется. Это был знаменитый в ту пору американец, точнее англичанин, еще точнее шотландец, но выросший в Америке, Юм, как называли его на французский манер, а правильно было бы – Хьюм, хотя пишется – Хоум, гастролировавший по европейским дворам и столицам, собственно – главный спирит эпохи, впоследствии, между прочим, учитель Блаватской, двоюродной, кстати, сестры, известно ли это собравшимся? графа Сергея Юльевича Витте, предпоследнего, так сказать, из великих государственных мужей многострадального отечества нашего. Этот Юм творил, в самом деле, вещи невероятные, предметы летали у него по комнате во время сеанса, незримая рука хватала, трясла, иногда щипала присутствующих, музыкальные инструменты играли сами собою, ледяной сквозняк пробегал по щекам и душам. Он и сам обладал способностью левитации, на знаменитом сеансе 1868 года, проходившем, кажется, в Лондоне, поднялся в воздух, потом опустился, потом вышел в другое помещение и вдруг показался в окне той комнаты на третьем этаже, где сидели потрясенные свидетели происходящего, затем открыл окно снаружи, влетел в комнату и уселся на прежнее место. Вот здорово было бы, сказала, – вот вспомнил, что она была при этом, – вышеупомянутая нервная Спичка, вот бы увидеть такое. Все это, возможно, фокусы, сказал я. Возможно, ответил Двигубский, но замечательно, что никто разоблачить его не сумел. Впрочем, пишет Анна Федоровна, даже если это и вправду духи являются нам, то это духи лжи, пустые, лукавые и тщеславные, отвлекающие нас от Бога, а потому иметь с ними дело есть грех и безумие. Духи, между прочим, таковое отношение к себе славянофильствующей фрейлины, по-видимому, чувствовали, почему нередко и прогоняли ее из комнаты, где проходили сеансы. Ну, а вы-то сами, перебил его, улыбаясь, Впрочем, по-прежнему, Ф.Е.Б., не любивший вообще околичностей и *отражений*, вы-то сами что думаете об этом? Я еще не знаю, ответил Двигубский, я потому здесь, может быть, и нахожусь, чтобы составить себе мнение о сем любопытном предмете. Все эти истории меркнут, Впрочем, перед историей некоей

госпожи Анненковой, которой в трансе являлась Мария-Антуанетта... Рассказать историю госпожи Анненковой Двигубскому в тот вечер не удалось; Ика потребовал, наконец, внимания к духам; а то ведь они могут обидеться и вообще не прийти. Все это были детские глупости, разумеется; трудно было сохранять серьезность; с напыженными от проглоченного смеха лицами сидели мы, положив кончики пальцев на блюдо с красной меткой, никак не желавшее завертеться; наконец, рассмеялись, сначала Двигубский, вслед за ним Спичка; перестали смеяться, почувствовав легкий толчок (произведенный, показалось мне, Икой); блюдо дернулось – и забегало вдруг по кругу, от одной буквы к другой, очень быстро; на Икин вопрос: кто ты? ответило: Мария-Антуанетта; затем остановилось; затем опять забегало; написало: нет, неправда, я Тютчев; и повторило: я Тютчев, я Тютчев. Вот с Тютчевым, сказал Феб, я бы поговорил. Тогда спросите его о чем-нибудь, сказал Ика. Но Тютчева уже не было, была какая-то чепуха и абракадабра, буквы и буквы, не собиравшиеся в слова; наконец, после нескольких неудачных попыток и многих выкуренных сигарет, прорезалось что-то более осмысленное; блюдо написало: я здесь; на вопрос: кто? ответило: не скажу; на просьбу позвать Тютчева написало, что Тютчев занят; покружившись, добавило: ужинает; затем: я – герцог Ангулемский, брат Александра Второго; снова остановилось; дернулось; написало: Дашины письма; помедлило; написало: пропали; снова дернулось; написало: во время гражданской войны. Спросите, спросите у него что-нибудь, шептал Ика, округляя глаза. Стыдно вспомнить теперь, я, мне ведь только исполнилось двадцать, не нашел ничего лучшего, чем спросить его о *смысле жизни*... Каждому – свое, ответило блюдо; затем, медленно и без всяких толчков перемещаясь от буквы к букве, написало: все вы – как листья одного дерева; снова остановилось. Затем опять пошла чепуха; на Спичкин вопрос, кто в нее влюблен, ответ был: творожная масса. Между тем, Двигубский все больше и больше отстранялся от происходящего, замыкался в себе; пальцы клал на блюдо все реже; наконец, совсем убрал руку. Мы смеялись еще, после *творожной массы* особенно; уже предутренним, разумеется, уже усталым и неискренним смехом; его же всякая веселость покинула; или что-то насторожило, испугнуло. За окном, у которого, если память не изменяет мне, простоял он последний остаток ночи, с трудом, сквозь серые сумерки, проступали те призрачные громады, от которых я всю жизнь бежал и в конце концов убежал, разумеется; с трудом, в серых сумерках и всегдашнем вавилонском молчании, намечались пятиконечные звезды, серпы и молоты, венки из каменных колосьев, из колосьев же гигантские вазы, усеченные обелиски, настоящие облака.

6.

Печаль, как известно, имеет свойство превращаться в тоску, тоска в отчаяние. Осенью 1980 года тоска отхватила меня самого такая, что, выговорив себе в институте, где учился, так называемый «академический отпуск», я прожил зиму, повернувшись лицом к стене, буквально и фигурально, никого не желая видеть, пытаюсь только понять, как жить дальше, как вообще можно жить, ничего, конечно же, не поняв, отрываясь иногда от стены и подходя к окну, разумеется, в котором каменные громады и детали сталинского барокко, эти палаческие причуды и замогильные завитки, бросившие, как мне казалось тогда, свою роковую тень на всю мою жизнь, вновь и вновь, вавилонским своим молчанием, говорили мне о невозможности спасения и выхода, о тщете усилий, о бессмысленности стараний. С Двигубским я не встречался в ту пору; *чердак* уже прекратил свое существование, запертый на замок; да я и вряд пошел бы туда, так плохо мне было; из *чердачных* кое-кто как раз эмигрировал; многие связи распались. Зима закончилась, в марте, *психушкой* (впрочем – «санаторного типа»), куда определил меня Ф.Е.Б., по призванию и по профессии психиатр, определил, впрочем, не только и не столько для облегчения моей, как я всерьез полагал тогда, душевной болезни, сколько, как бы используя эту, с его точки зрения, как я теперь понимаю, более или менее воображаемую болезнь в благих и практических целях, для получения *правильного диагноза*, не шизофрении, упаси Боже, обрекавшей на полнейшее уже бесправие в отношениях с Софьей Власьевной, но какого-нибудь, никого ни к чему не обязывавшего *невроза*, диагноза, который впоследствии, через пару лет, когда я закончу институт, куда после академического отпуска должен был возвратиться и где так называемой военной кафедры не было, и, следовательно, во всем своем грозном величии встанет вопрос об армии, соответствующей комиссии оставалось бы лишь *подтвердить*, что она, комиссия, делала относительно легко, тогда как новые диагнозы не ставила почти никогда, если же все-таки ставила, то *влепляла* все ту же шизофрению. План был хитрый и план удался. Из психушки я вышел обросшим рыжею бородою и, как ни странно, не таким несчастным, каким был до нее, не потому, разумеется, что лечение помогло мне, никакого лечения в ней, по сути дела, и не было, а просто, наверное, потому, что наступила весна, наступила, после полутора месяцев в *совке*, в грязной курилке и палате на восьмерых, в спорах с мечтавшей меня *поставить на инсулин* (чего я все-таки сумел избежать), дурно-пахнущей и слюно-брызгающейся врачом, очередным воплощением все той же советской власти, – свобода. Выйдя же с

бородой из психушки, понимая, что так, в общем, продолжаться не может, что надо что-то переменить, переломить, и увлекаемый в то же время некими кинематографическими идеями, так и не осуществленными мною, то есть мечтая, в самом деле, переломить жизнь и пойти по другому пути, сделаться как-нибудь, когда-нибудь режиссером (поступив, например, по окончании института на так называемые Высшие режиссерские курсы; таков был мой план) и снять – я даже довольно хорошо представлял себе, какие именно фильмы, увлекаемый этими мыслями и мечтами и решивши, пока еще продолжается отпуск, проверить, как все это выглядит *изнутри*, устроился, не без некоторых усилий, на киностудию «Мосфильм» так называемым помощником режиссера, в просторечье *помрежем*, или, в еще более простом речье, *хлопушкой*, то есть тем нижайшим в студийной иерархии персонажем, который хлопает перед началом съемок черной штукой с вставленными в нее железными номерками, объявляя *кадр такой-то дубль такой-то, кадр третий дубль второй* и затем убегает из этого *кадра*, замирает, согнувшись, в остальное же время играет роль мальчишки на побегушках, каковую я все-таки долго играть не смог, почему и бросил все это, не дождавшись конца контракта, и довольно скоро кинематографические увлечения утратив, сбрив заодно и бороду, как если бы одно с другим было каким-то таинственным образом связано. Съемки проходили отчасти в самой студии, в павильоне, отчасти же, и даже по большей части, на, как это называлось, *натуре*, изредка в Москве, как правило под Москвой, в каких-то заштатных заброшенных городишках, наконец, на Волге, под, кажется, Конаковом, где однажды чуть я не утонул, сброшенный в воду с лодки, *в шутку*, понятное дело, прикрепленным к нашей съемочной группе *спасателем*, типичным местным дядей Васей с фиолетовым носом, которому явно надоело сидеть в лодке без дела и слушать болтовню всех этих интеллигентов; он же меня, не на шутку перепугавшись, и вытащил. Были бесконечные, я помню, поездки по этим городишкам, поселкам, каким-то *пансионатам*, в поисках все той же *натуры*, бесконечные ожидания на солнцепеке, чудовищные, кисло-капустные, отравно-котлетные столовые, точнее – *столовки*, где все мы (кроме оператора-вегетарианца, поедавшего в сторонке свой собственный унылый салат) с отвращением и бранью обедали; были, в городишках, пустынно-булыжные площади, где неизбежный Ильич шурился на нас с постамента, предлагая прекратить, наконец, контрреволюционную деятельность, и высившееся за ним здание исполкома, райкома, адкома смотрело всеми своими, от партийных портьер ослепшими окнами, предлагая контрреволюционную деятельность немедленно прекратить; от

всего этого я так уставал, что приходя домой вечером, падал, как правило, на кровать, и засыпал минут на десять или пятнадцать, чтобы потом, вскочив с кровати, с той энергией и тем нежеланием сидеть дома, которые я теперь уже почти и представить себе не в силах, за зиму насидевшись, еще пойти, не всегда, но часто, куда-нибудь в гости, вновь, следовательно, но уже на каком-то совсем другом витке и этапе возобновив ту жизнь, которую вел годом раньше, встречаясь вновь с Икой, иногда Спичкой и как их всех звали, попадая в теперь уже, впрочем, не чердачные, мастерские разных художников, или полухудожников, где собирались, соответственно, свои диссидентствующие или полудиссидентствующие компании и откуда я вновь возвращался домой, уже глубокой ночью, по почти пустынным, поливальными машинами щедро обрызганным улицам; домой же вновь возвратившись, видел, вновь засыпая, эти дороги, столовые, эту съёмочную, с ее разнообразными персонажами, армянином-осветителем и крошечным корейцем-звукотехником, группу, и конечно же, эти затрапезные, по самые крыши опущенные в несчастье городишки, с их неизменным вокзалом и площадью перед оным, с коматозными окнами драконьего дома и памятником Ильичу, Кирпичу, с их обезглавленными церквями, старыми стенами, отвалившейся штукатуркой, с их жалкими липами на жарком бульваре, их пылью, их бесконечными огородами, разбросом деревянных домиков на каком-нибудь косогоре, с которого открывалась вдруг почти неподвижная в своем величественном теченье река, мифологическая даль за рекою.

7.

Двигубский позвонил мне однажды сам, спросил, усмехнувшись банальности вопроса, *как дела*, предложил, к моему удивлению, встретиться. Мы встретились по старой памяти у Чистых прудов (у Поганой, если угодно, лужи), в воскресенье, в мае – или уже, быть может, июне? – 1981, соответственно, года (как важны мне теперь эти даты; как невозможно поймать ими прошлое). Он показался мне очень повзрослевшим, каким-то окрепшим, даже руки его не так сильно болтались, как прежде. Пальцы у него были тонкие, а запястье уже тогда волосатое, с отчетливой косточкой. Была на нем какая-то глупая рубашка-ковбойка, в красноватую клетку, совсем не подходившая к серому, москвошвейскому пиджаку, на ногах при этом чуть ли не кеды. Так среди наших знакомых никто, конечно, не одевался. Я сам, при всех своих душевных невзгодах, еще был в ту пору *пижон*, еще гордился, и как еще гордился, французской вельветовой курточкой и замечательными замшевыми ботинками, привезенными мне

из Парижа, о которых один мой полуприятель, осуществивший, кстати, кинематографический план, не осуществленный мною, то есть поступивший, в самом деле, после совсем другого учебного заведения, на режиссерские курсы, сказал, помнится, с вожделием на них глядячи, что – такие ботинки должны быть у всех, под этими *всеми* понимая, разумеется, в первую очередь себя самого, предмет его страстной любви. На Двигубского мои щегольские ботинки произвели гораздо менее сильное впечатление, чем его кеды произвели на меня. Он сообщил мне, что год тому назад закончил университет, что с аспирантурой, куда он должен был поступить, вышла, так он выразился, заминка, что его примут туда на следующий год, пока же он блаженствует, нигде не учась и не работая, но, как он, опять-таки, выразился, продолжая образование на свой страх и риск, занимаясь, в частности, древнегреческим языком, заняться которым было давней его мечтою, хотя следует признать, что шансов выучить сей язык богов и героев сколько-нибудь удовлетворительным образом у него, скифа и варвара, уже, в сущности, нет, если, конечно, он не посвятит этим занятиям все свое, теперь столь отраднo свободное, время, на что, однако, он тоже, увы, не способен, слишком много у него все-таки и других интересов и слишком сложным, по сравнению даже с латынью, оказался этот древне-греческий язык, от одного аориста можно сойти с ума, от склонения на –ми хочется пойти и повеситься. С другой стороны, обойтись без древне-греческого в жизни тоже никак невозможно. Нет, Гомера он еще не начал читать, он пытается читать трагиков, без большого успеха, хотя и с помощью одного замечательного старика, одного из последних, наверное, еще живых стариков такого уровня и калибра, который дает ему раз в неделю уроки, попутно рассказывая о своих колымских испытаниях, магаданских мытарствах, так что, если угодно, одна трагедия дополняет и оттеняет другую... Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира, проговорил я с той привычкой цитировать к месту и не к месту любимые строки, которая была мне в ту пору свойственна. К моему изумлению, он не узнал цитаты. На пороге стоит – Судьба... Был чудесный, легкий, весь в лужах и отсветах, день. Маршрут наш я помню довольно точно. Мы дошли до метро, пересекли Мясницкую, пошли по Сретенскому бульвару, мимо громадного, с его башенками, эркерами, фонарями, решеткой, целый квартал, в сущности, занимающего дома, построенного в начале двадцатого века страховым обществом «Россия», построившим, как известно, в Москве два знаменитых, для совсем другого двадцатого века предназначавшихся дома, пресловутый дом на Лубянке, с тех пор пропитавшийся кровью до последней своей половицы, и вот этот, отданный под коммуналки, на

растерзание тараканам, тазам, кухонным склокам, в одной из каковых коммуналок, в поделенной на два узких отсека высокой комнате, жил тогда Тихон П. (в контексте эпохи имя почти немыслимое, но так его, действительно, звали), один из ближайших друзей моей молодости, с которым, увы, я напропалую поссорился в конце восьмидесятих годов; спустились по Рождественскому бульвару, свернули, не доходя до Трубной площади, влево, прошли мимо Богородице-Рождественского монастыря, мимо тех, вернее, развалин, полуразвалин, дворов и двориков, помоек и несурзниц, в которые превращен был к тому времени Богородице-Рождественский монастырь, куда я любил заходить, почти не задумываясь о прошлом этих несурзных дворов, гильотинированных церквей, как я и вообще в ту пору, в отличие от Двигубского, о прошлом дворов и домов не задумывался, но всякий раз, когда заходил туда, наслаждаясь тишиной, пустынностью и какой-то особостью этого места, как будто выпадавшего из города, грохота, из враждебного времени, вращавшегося вокруг, почему я иногда, и даже довольно подолгу, сиживал в самом дальнем его дворике, обнесенном покосившейся галереей, на которую выходил, бывало, с явно не нужной ему метлою, толстый татарин-дворник, смотрел на меня и тут же, ни слова не сказав, уходил; прошли, следовательно, мимо этих за полурухнувшею стеною спрятанных дворов и развалин, куда П.Д. нарочно повел меня через несколько лет, чтобы рассказать мне об истории этого монастыря, одного из древнейших монастырей Москвы, примечательного, среди прочего, тем, что именно там, обвиненная в колдовстве и бесплодии, пострижена была насильно в монахини Соломония Сабурова, первая жена Василия Третьего, разведшегося с нею вопреки увещаниям жестоко поплачившихся за увещания эти инока Вассиана Патрикеева и преподобного Максима Грека, а также иерусалимского патриарха, предсказавшего, что если московский князь во второй раз, при живой жене, женится, то иметь будет злое чадо, при котором царство наполнится ужасом и печалью, как оно, разумеется, и случилось, поскольку от второго брака Василия с Еленой Глинской, произошел, как все мы знаем, Иван Четвертый, за свою жестокость прозванный Васильевичем, Соломония же Сабурова, в монашестве София, вскоре сосланная из Москвы в Суздаль, пострижена была не только насильно, но, рассказывал мне Двигубский впоследствии, по распространившейся в народе легенде, беременною, в результате чего на свет появился будто бы сын ее, нареченный Георгием, единокровный брат Ивана Грозного, который (т.е. Иван) его (т.е. Георгия) разыскивал, с целью, понятное дело, немедленно уничтожить, но в розыске нимало не преуспел, поскольку, по легенде, Георгий этот

превратился не в кого-нибудь, а в знаменитого разбойника Кудеяра, героя народных песен, славного своей жестокой удачью и лихой красотой (было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман...); прошли, еще раз, мимо примечательнейшего этого места, мимо Архитектурного института, дошли до Кузнецкого Моста, спустились по нему, не задерживаясь, как почти всегда я задерживался, в Книжной лавке писателей, пересекли Петровку, затем Большую Дмитровку, тогда, разумеется, Пушкинскую, дошли до Тверской по Камергерскому переулку, называвшемуся в ту пору проездом Художественного театра, или проездом МХАТа, или даже просто проездом МХАТ, что приводило к немалой путанице с адресами, письмами, официальными справками, с каковой путаницей мне пришлось столкнуться впоследствии, когда весной 1985 года я туда переехал, чтобы прожить в этом проезде и переулке с весны 1985 до осени 1992 года лучшие, как мне теперь кажется, семь с половиной лет моей жизни, о чем я еще и подозревать не мог в тот майский, или июньский, весь в отблесках и лужах, день, точно так же, как не подозревал и не мог подозревать, разумеется, что, перейдя по подземному переходу Тверскую, тогдашнюю улицу Горького, пошли мы одним из моих, впоследствии, в это лучшее семилетие, излюбленных и постоянных маршрутов, мимо Центрального телеграфа, затем направо у обезглавленной церкви, превращенной наследниками и предателями Кудеяра в отделение этого телеграфа, или, выражаясь их языком, переговорный пункт, возле которого всегда стояли, скучали, курили солдаты, часами, видимо, ждавшие разговора с родной Алушкой, родным Ашхабадом; огибая так называемый Дом композиторов, с профилем Шостаковича на серой стене, через пыльный скверик с качелями – к Брюсовской церкви, большевиками не тронутой, проулочком и опять через сквер, по Шведскому, антисоветским своим названием пленявшему меня, тупику, мимо нового здания МХАТа, похожего на слоистый кирпичный пирог, мимо всегда, сколько я себя помню, стоявшей во дворе перед самым выходом на Тверской бульвар заржавленной старой машины, не могу только вспомнить теперь, была ли это «Победа» или крошечный послевоенный «Москвич», склоняюсь ко второму, затем – на бульвар, и дальше – к Никитской площади, возле которой зашли, наконец, в кафе, оттуда – к Арбату. Я не знал будущего, как никто не знает его, и не интересовался прошлым, во всяком случае так сильно, как интересовался им Двигубский; от исторических, филологических и вообще от всяких штудий я был, наверное, дальше в то лето моей жизни, чем в какое-либо другое, не говоря уже о зимах и осенях. Я рассказывал, конечно, о киностудии, предполагая, впрочем, что рассказы эти Двигубскому не могут быть особенно интересны. Предположения мои не

соответствовали, как оказалось, действительности. Чем дальше я рассказывал, тем внимательнее он слушал. Была, наверное, некая игра самолюбия в этих моих рассказах, вот, мол, какой я *крутой*, какой интересной жизнью живу, в какие попадаю приключения. Всего-то и *делов*, что хлопал хлопушкой... Но не о том шла здесь речь. Я думаю теперь, что не столько само кино интересовало меня в ту пору, сколько некое чувство жизни, которое получал я от всех этих поездок, этих съемок, кадров и дублей. Мне был двадцать один год, было лето, неразрешимые вопросы остались неразрешенными, но и душевные тяготы, и ощущение болезни, и *психушка* были позади, и вот я ехал, допустим, сквозь очень солнечное, еще раннее, свежей влагой пахнувшее июньское утро, от Киевского вокзала на троллейбусе по Мосфильмовской набережной, глядя на сверканье воды в реке и какой-нибудь импрессионистический пароходик, пробиравшийся сквозь это сверканье, и проходил затем, показав пропуск, на студию, и начинались сразу какие-то дела, какие-то разговоры, телефонные звонки, чай и кофе, и всегда кого-то ждали, за кем-то надо было сбегать, и кто-то с кем-то, ясное дело, ссорился и ругался, и, наконец, отправлялись мы на автобусах и машинах, по пути распадавшейся кавалькадою, *на натуру*, в Конаково или в Звенигород...; некое было общее дело, которое мы делали, в котором я участвовал; дни казались заполненными, огромными; не зная будущего и не думая о прошлом, я так переживал настоящее, в какой-то, до той поры не ведомой мне, может быть, напряженности и полноте, и, опять-таки, еще не подозревая, конечно, что мне предстоит искать и находить другие, гораздо более действенные способы пережить это настоящее, это всегда ускользающее, недостижимое и все-таки вечно манящее, вечно влекущее нас мгновение, вот это *сейчас, вот сейчас*. Эта была просто молодость, если угодно; вот и все тут. Мне показалось, во всяком случае, – или, скажем иначе, вдруг, и даже с некоторым чувством благодарности, почувствовал я, – что он понимает это, это чувство жизни, о котором я вовсе не говорил, которое само, наверное, сказывалось в том, что я говорил, точнее, в том, как говорил обо всех этих кинематографических приключениях, об этом *исходящем реквизите*, съестных припасах, иными словами, каком-то, я помню, торте, который актеры ели *в кадре* и который мы потом доедали всей *группой*, об этих дурацких *монтажных листах*, которые я должен был заполнять после каждого съемочного дня, и об этом, впервые, может быть, с такой отчетливостью открывшемся мне социальном расслоении, которое, при всей общности совершаемого дела, в этой *группе* господствовало, о той бездне презрения и зависти, которая отделяла студийный пролетариат, среди коего я и сам оказался, осветителей, помощников администратора,

гримерш, костюмерш, от режиссера, художника, оператора и актеров, всех тех, короче, кто на советском официальном языке назывался *творческими работниками* и кого костюмерши и звукотехники за глаза и с удовольствием обзывали *творюгами*. Тут обнаружилась в нем способность хохотать на весь Шведский тупик, трясая в ту пору очень густой шевелюрой и сгибаясь пополам, до действительного упаду, что, при его худобе и долговязости, вызывало за него почти страх, не сломается ли при следующем приступе хохота. *Творюги*, повторял он, *творюги*, точно, *творюги* и есть... А я бы вот сейчас, сказал он вдруг, обрывая свой хохот, вот сейчас съездил бы в какой-нибудь Звенигород, или Дмитров, в какой-нибудь Колязин, какой-нибудь Клин. Зачем же дело стало, сказал я, съездите. Только ничего там нету хорошего. Ночевать там негде, сказал он, гостиниц ведь нет, или мест в них нет никогда. А хорошего там много, и мне нужно, проговорил он в неожиданной для меня, какой-то робкой задумчивости, нужно было бы поездить по таким городам, городкам. Мы вышли как раз, хорошо это помню, на Тверской бульвар; он предложил посидеть на скамейке. У меня тут было, знаете ли, что-то вроде виденья... Он попросил у меня сигарету; закулив, долго смотрел на выпущенный им дым; откинулся на покатуую спинку этой русской, из тонких, когда-то белых реек, с чугунными краями, скамейки; снова наклонился вперед; брови его взлетели; опустились; взлетели. Да, что-то вроде видения было у него позавчера ночью, сон или не сон, он сам не мог бы сказать, но что-то очень отчетливо увиделось ему во сне, или, скорее, перед самым засыпанием, на пороге сна и в предсонье. Это называется гипнагогическим состоянием, вставил я, знавший термин от Феба. Набоков в «Других берегах» описывает... Мне показалось, что «Других берегов» он в ту пору еще не читал. Читал, зато, Боратынского. Есть бытие, но именем каким, медленно, как будто вдумываясь в каждое слово, проговорил он, назвать его, не сон оно, не бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье. Какие неуклюжие и какие восхитительные стихи... Вот здесь-то, в этом промежутке между еще не сном, уже сном, в этом безымянном бытии, на границе разуменья с безумием, увиделось ему нечто, с тех пор не дающее ему покоя. Что же? Вот именно – что же? Вы сами знаете, Макушинский, как трудно пересказать сон, как бледнеют образы, запертые в слова, как меркнут краски этих подводных существ, светившихся в темноте, гаснувших на свету... Оставим сравнения. Он думает все-таки, что это был не сон, не совсем еще сон, и потому так думает, что происходившее в этом предсонье происходило не с ним, как обычно бывает во сне, но с кем-то, он только видел, его самого там не было, он был только зрителем. А был там кто-то, кто-то другой, герой этого не-сна. И был город, был

маленький город какой-то, окруженный холмами, вот, очень маленький город, вот как это было, город в долине. И герой входил в этот город, вместе с армией, потому что шла война в этом сне, в этом городе. И в городе этом почему-то он оставался. Нет, там как-то было сложнее, я уже не знаю, не помню, и не это главное, а главное то, что происходит в тюрьме. Его сажают в тюрьму в этом городе. И вот кто-то убеждает его бежать. Нет, какой сокамерник и подельник, не смейтесь, Макушинский, что вы, никакой не сокамерник, скорее следователь и допросчик, такой грузный, тяжелый. А он знает, что не надо бежать, что это все обман, что его заманивают в ловушку. А тот зовет, тот соблазняет. Дверь открыта, все готово к побегу. Я пришел освободить вас, я только притворяюсь вашим врагом. Он делает один шаг, делает и другой. Он движется как сомнамбула. Теперь бегите, бегите. И вот прожектор, проволока, тюремные стены. Он должен перелезть через стену, к стене приставлена лестница, он спрыгивает с другой стороны, с вышки в него стреляют, и все. Все? Все, сказал Двигубский, попросив у меня еще одну сигарету. Убит при попытке к бегству, и – все. Я заметил, что из этого можно было бы сделать фильм; замечание мое, показалось мне, ему не понравилось. Совсем не обязательно делать из этого что-нибудь, сказал он, глядя куда-то вверх, на колебавшиеся в чистом и легком воздухе вершины вязов, отделявших боковую аллею, в которой мы сидели, от широкой и главной; аллея, в которой сидели мы, ровной линией, в блаженной перспективе сужаясь, уходила к Никитским воротам.

8.

Вот, собственно, с этой прогулки и начинается наша дружба, дружба, впрочем, не быстрая, поначалу не близкая. Он мне нравился, конечно, иначе бы и дружбы не было; та первая, мгновенная антипатия, которую я почувствовал к нему при нашем знакомстве, давно уже прошла и забылась; но, кажется мне теперь, он нравился мне не столько сам по себе, хотя и сам по себе, конечно, тоже (его юмор, его оценки и мнения, довольно сильно повлиявшие на меня, его летающие брови и рудинская шевелюра...), но мне нравился, не меньше, если не больше, его фон, его мир, тот мир, которого он, Двигубский, охотно был представителем, не вступая с ним, казалось мне, в столь естественный для молодости конфликт, не уходя, ни в прямом, ни в переносном смысле, из дома, как всю жизнь уходил из дома я сам. Это значит, конечно, что у него был – дом, которого никогда, по сути, не было у меня. Потому я очень любил бывать у него – дома, в той, по советским меркам, огромной квартире возле метро «Академическая», в одном из университетских, как называли их, то есть профессорами,

по большей части, университета заселенных, позднесталинской эпохи, домов, где он, П.Д., жил вместе со своими родителями, тогда еще совсем нестарыми, как я теперь понимаю, моими теперешними, как я с ужасом понимаю, ровесниками, своей младшей сестрой Мариной, своим еще более младшим братом Сережей, говорившим в ту пору, если вообще говорившим о чем-нибудь с кем-нибудь, исключительно о шахматах, турах, турнирах. Этот Сережа превратился теперь в бизнесмена; что-то, кажется, в туристической области... Отец П.Д., Константин Павлович Двигубский, был высокий и сухой господин, очень спокойный, внимательный, с ясными глазами и беззаботной улыбкой; был, на то время, главный советский специалист в какой-то очень особенной (и, конечно, секретной) сфере на стыке химии, физики и биологии, член-корреспондент, кажется, Академии наук и (как сам он говаривал, подчеркивая голосом советскую аббревиатуру) *зав, завкафедрой* в университете и *зав* соответствующей лабораторией в исследовательском институте на Воробьевых горах, филиал которого располагался и, надо думать, до сих пор располагается в подмосковном Пущине, где у Двигубских была еще одна, мной не виданная, как бы загородная квартира, заменявшая им дачу, хотя и лишенная, конечно, обычных сарайно-огородных прелестей, того особенного деревянного пригородного уюта, которого Двигубский, кажется мне, вообще не знал и не чувствовал. Константин Павлович был при всем том убежденный франкофил, франкофон, ни о какой химии, физике, биологии со мной, конечно, не говоривший, но говоривший, за вечерним чаем в столовой, с расстановкой и юмором, с подробностями и цитатами, со вкусом к подробностям и с наслаждением от цитат, о Шатобриане и Прусте, о Верлене и Валери; бенжамен-констанова «Адольфа» он знал, кажется, наизусть; знал и авторов, в России почти не известных; давал мне, помнится, читать большие тома Шарля дю Боса; открыл для меня Маргерит Юрсенар (интерес к которой разделял со своим старшим сыном, ценившим в ней проникновение в исторические глубины); привил мне любовь к Бодлеру. А читал ли я бодлеровские стихотворения в прозе, «Парижский сплин»? Неужели еще не читал? Вот, возьмите и прочитайте, говорил он, выходя из своего кабинета с тоненькой мягкой книжкой, с безумными, на обложке, бодлеровскими глазами, перелистывая ее длинными волосатыми пальцами, открывая ее на «Признаниях художника», чтобы прочитать, себе самому – в сотый раз, мне – впервые, незабываемую, неперевожимую фразу о том, что изучение прекрасного (*l'étude du beau*), есть поединок (*un duel*), на котором (*où*) художник кричит от страха (*crie de frayeur*), прежде чем пасть побежденным (*avant d'être vaincu*). Я в ту пору, вернувшись, в самом деле, в институт, но вдохновенно

прогуливая занятия (вдохновенно настолько, что меня из него в конце концов выгнали, затем, после некоторых хлопот и усилий, взяли обратно), учил как раз французский язык, раз в неделю приезжая на полтора часа к очень в ту пору хорошенькой преподавательнице не помню уже какого учебного заведения, подрабатывавшей частными уроками, жившей на Большой Бронной улице и весьма, я помню, удивленной моим желанием поскорее забросить учебник под лавку и перейти к чтению Бодлера, к чтению Паскаля, которым, не без влияния все того же Константина Павловича, я очень тогда увлекался, читая его в издании начала века, сначала одолженном, в конце концов подаренном им, Константином Павловичем, в какой-то поздний вечер, удивленному и смущенному мне (единственный его мне подарок, а ведь я сам так, кажется, и не подарил ему ничего...), переплетенном в фиолетово-желтую, в цветочных разводах материю и воспроизводящем то первое приглаголенное пор-роялевское издание 1670 года, которым специалисты, насколько я знаю, давно уже перестали пользоваться, отвергая его как полу-подделку, но которое я по-прежнему предпочитаю всем новым, филологически корректным версиям бессмертного текста. Вижу, вот сейчас беря ее в руки, Константина Павловича, с этой книгой в руках, в его необыкновенно красивых, с отчетливой, унаследованной его сыном косточкой, всегда очень плавно, как если бы они все пытались очертить какую-то круглую, чудную, облачную фигуру, двигавшихся руках; душа, говорит он, не удерживается, знаете ли, на тех высотах, на которые ей иногда удается подняться, она тут же падает с них, elle y saute seulement, mais pour retomber aussitôt. Одна *мысль* в этом издании «Мыслей» отделена от другой крошечным значком вроде нотного; возле некоторых, как вот, например, возле этой, только что мной процитированной, на 306-ой странице, видны следы очень тонких, аккуратно поставленных крестиков, которые он, Константин Павлович, кажется мне теперь, перед тем, как сделать мне свой подарок, тщательно стер резинкой, почти убрав карандашные, но не справившись, конечно, с чернильными, фиолетовыми, восходящими, надо думать, к какой-то другой эпохе, к предшествующему поколению, вкусившему много знаний, еще больше горя. Было, вообще, не совсем понятно, как мог такой человек сохраниться в советских условиях, как он выжил, не заматерев душой, в эвакуации, в послевоенной Москве, в ожидании своего в сорок шестом году арестованного отца (в лагере, между прочим, подружившегося с тем, тогда еще относительно молодым филологом, который, состарившись, давал теперь его внуку уроки древнегреческого...), отца, освобожденного в пятьдесят пятом и почти сразу же скончавшегося от инфаркта, не дожив, говорил мне Константин Павлович, ни до чего,

ни до двадцатого съезда, ни до первых, тайных, околейшими путями переданных писем из-за границы, от когда-то уехавших в эмиграцию родственников, первых, опаснейших с ними встреч. Мать П.Д., Елена Сергеевна, в разговорах наших почти никогда не участвовавшая, смотрела то на меня, то на мужа, то на сына, то опять на меня, какими-то странноватыми, удивленными, одновременно чуть выпученными и выкаченными глазами, из которых как будто кто-то когда-то взял и вынул блеск, огонь, юмор; я так никогда и не узнал кто, почему. Если я ничего не путаю, она мирно, всю жизнь, преподавала все в том же университете немецкий и, кажется, датский, так что романское влияние вступало во взаимодействие и отчасти в противодействие с влиянием германским; П.Д., и немецкому, и французскому обученный еще в детстве, помимо и как бы даже вопреки советской школе, ненавистной ему, разумеется, так же, как и мне, чувствовал себя и в той, и в другой сфере совершенно свободно, в отличие, наоборот, от меня, никакого домашнего образования, по сути, не получившего, добиравшего, что еще можно было добрать, на ходу, на лету, из разговоров с Константином Павловичем, из книг и из воздуха. В воздухе, временами, чувствовалась гроза. Такое бывало у меня впечатление, что вот сейчас, за пять минут, нет секунд, до того, как я позвонил в дверь и Сережа с шахматным журналом в руке эту дверь мне молча открыл, все со всеми ругались, язвили, шипели, при моем появлении умолкли, потом, за чаем, понемногу отходили, оттаивали, без слов и объяснений мирились. В доме при этом всегда был порядок, и была чистота, бережно и как что-то драгоценное, как символ высшего какого-то смысла поддерживаемая, в первую очередь, Еленой, конечно, Сергеевной, которую ни забота о троих детях, ни всем известные тяготы советского быта, смягченные, впрочем, академическими немалыми привилегиями и помощью заграничных друзей, ни университетские ее обязанности, ни болезни, ни ссоры не могли, как рассказывал мне П.Д., заставить хоть на йоту поступиться привитыми ей в ее собственном родительском доме понятиями, чистотой скатерти на обеденном круглом столе. Теперь, когда я перебираю в памяти друзей и знакомых, мне кажется, что из всех из них только Двигубские никогда не ели на кухне, даже завтракали в столовой, уверял меня П.Д. (которому, следовательно, поэзия пресловутых московских кухонь осталась столь же чужда, сколь и поэзия дач, заборов, сараев...), не очень большой, но светлой, во двор и в небо, с верхушками тополей в нем, выходящей комнате, где стоял узкий, красного дерева, буфет с парадной посудой и на стене, лицом к которой я обычно сидел, висели два, для меня незабвенных, для Двигубского, как впоследствии выяснилось, незабвенных тоже, портрета – мальчик и девочка, работы,

утверждала Елена Сергеевна, отвечая на мой вопрос, безымянного крепостного мастера начала 19 века, написавшего этих двух, восьми-, или девятилетних детей, брата и сестру надо думать, у большого, в далекий парк распахнутого окна, причем отдаленное семейное сходство с этим так и оставшимся для меня безымянным мальчиком, тем более с этой девочкой, в комических, на наш теперешний взгляд, бахромчатых панталонах и с прелестной, еще детской, в уголках губ, улыбкой стоящей, опираясь пухловатой рукою на светлый овальный столик, – неуловимое, но все же несомненное сходство и с ним, и с нею виделось мне и у самой Елены Сергеевны, и, тем более, у ее мамы, бабушки, соответственно, П.Д., в детстве, как он рассказывал мне, обожаемой им, ко времени нашего с ним знакомства уже давно покойной, улыбавшейся точно такой же, в уголках губ, улыбкой на твердо-картонной фотографической карточке 1915, кажется, года, которую он показал мне однажды и на которой эта совсем молоденькая его бабушка, *grande-mère*, как почему-то он имел обыкновение выражаться, сидит, не зная о грядущих трагедиях, в окружении своих смеющихся мамы и папы, еще каких-то смутных усатых дядей и дородных тетушек за обеденным круглым столом, и так отчетливо, как будто ничего не переменялось с тех пор, видны те серебряные, на четырехконечных ножках, подставочки для приборов, которые, те же самые, не постаревшие и не погнувшиеся с тех пор, всякий раз, когда я оставался у Двигубских обедать, обнаруживались на скатерти, справа от больших и тоже, кажется, вполне старинных тарелок. Все это отрадно отличало их дом от домов многих других, знакомых мне и говоря советским языком, *потомственных интеллигентов*, почему-то считавших, говоря тем же языком, *культуру быта* помехой для культуры как таковой, не снисходивших до мещанских мытых полов и обывательского искусства обращения с пылесосом. Не снисходивших, бывало, и до простой гигиены; вспоминаю теперь, и вспоминая улыбаюсь, конечно, как морщился и кривился Двигубский, когда мы оказались однажды в соседнем с ним доме, в филологической огромной семье, где все пахло и все пахло потом, помойкой, парашей, и в ванной комнате, когда я зашел в нее, обнаружилось такое количество тараканов, как будто только они одни в ней и мылись. Пойдемте, Макушинский, поскорее отсюда.

9.

Пойдемте, говорил он, бывало, и за чаем у себя дома, стремясь, казалось мне, поскорее увести меня к себе в свою узкую, у самой прихожей, забитую книгами комнату, как будто ревнуя то ли Константина Павловича ко мне, то ли наоборот, меня к нему. В этой

узкой комнате порядок тоже был какой-то почти медицинский; ничего нигде не валялось; все книги стояли на месте; письменный стол, прислоненный к стене, на которой большая фотография Ключевского как некое незаходящее солнце висела в окружении сменявших друг друга звезд, Соловьева, причем, странным образом, Владимира, не Сергея, Ходасевича, Бердяева с яростно зажатой в уголке рта сигарой...., стол этот поражал меня своей ежевечерне возобновляемой чистотой, пустотой, ровной гладью, на которой почти сиротливо выглядела аккуратно сложенная, только что перед моим приходом прочитанная Двигубским газета, «Правда» или «Известия». Он был единственным, кажется, из близких моих знакомых и точно единственным в своей семье, кто читал, в самом деле, газеты, те советские, с их отчетами об уборке урожая в селе Отравино Верхнемухинского района и постановлениями пленума це-ка-ге-бе-эс-эс о перевыполнении плана производства пеньки и пемзы в Пензенской области; причем читал их с видом чародея и чернокнижника, что-то знающего неведомое другим, не способного, да и не желающего делиться своим тайным, опасным знанием с профанами; читая, вдруг кивал, чуть не кричал, как будто поддакивая чему-то, удовлетворенный сбывшимися своими пророчествами; добиться от него, что же такое видит он между строк, мне, однако, не удавалось. Пророчества его сбывались действительно; о чем свидетельствую теперь. Когда умер Брежнев, он, как мне показалось, нарочно заехал ко мне, поздно вечером, чего обычно не делал, и сидя на нашей узкой кухне, сообщил мне и моей маме, очень его любившей, что к власти придет Андропов, но долго не проживет, скоро сдохнет, а потом начнутся всякие потрясения, ничего не сулящие нам хорошего. Что система может вообще развалиться, не предполагал в ту пору никто. Что система развалится, Двигубский тоже не утверждал, но что перемены грядут, утверждал в тот ноябрьский вечер 1982 года со всей решительностью; возможно междуцарствие, говорил он, но это так, эпизод, а по большому счету в России всегда, если новый царь, то все новое, наивно думать, что здесь может быть какая-то стабильность, стабильностью обладают только гибкие, говорил он, системы, способные корректировать сами себя, системы же ригидные, прошу прощения за ученые сии выражения, отвратительные мне, как и вам, такие ригидные системы только притворяются стабильными, на самом же деле как раз не стабильны, и, разумеется, брежневская система без Брежнева продолжаться не будет, точно так же, как хрущевская не продолжилась без Хрущева, сталинская без Сталина, а система, созданная Николаем Первым, тут же рухнула, как только он умер. Моя мама, пережившая и сталинскую, и хрущевскую эпоху, была с ним согласна, я же, как

истинное дитя брежневизма, умом хотя и соглашался с ним, может быть, но представить себе какие бы то ни было изменения в этом царстве Кощея не мог, бросьте, говорил я, им же невыгодно менять что-нибудь, так все и будет. Невыгодно, но придется, сказал он, они просто не выдержат гонки вооружений, значит, будут экспериментировать, а как только начнут экспериментировать, все посыплется, как картонный домик. И прежде всего начнутся национальные конфликты. Какие национальные конфликты, Двигубский, о чем вы? Какие национальные конфликты, то есть какие именно, он не знает, но что они неизбежно вспыхнут, в этом он убежден. Почему? Потому что Россия единственная страна, не закончившая Первой мировой войны. Тут уж я не мог не рассмеяться, конечно. Зря смеетесь, Макушинский, попомните мое слово. Все континентальные империи после Первой мировой войны развалились, и Османская, и Австро-Венгерская, только Российская восстановилась под новым именем. Но и она, конечно, развалится. Поэтому национальные конфликты неизбежны и передел границ неизбежен тоже. Все это будет скоро, и будет очень страшно, чуть-чуть гайки ослабнут и начнется большая резня. Не дай Бог, сказала моя мама, протягивая ему еще пастилы. А кстати, Паша, у меня есть для вас кое-что, сказала она, выходя из кухни и возвращаясь с блеклым французским репринтом известной книжки Мориса Палеолога о романе Александра Второго с княгиней Юрьевской. Книжка эта у Двигубского стояла на полке. Он так удивил меня своим разыгранным изумлением и непритворной, надо полагать, благодарностью, что я не стал вмешиваться.

10.

Вот такие книги он читал с наслаждением. Я тоже читал их, конечно; они все-таки интересовали меня, скорее, вчуже, *внутренней моей* не касаясь. Вообще, мы встречались *на его территории* (как я это называл для себя); на свою я долго его не пускал. Иногда он казался мне человеком отражений, как однажды определил Ф.Е.Б. другого общего нашего знакомого; человеком, живущим отражениями прошлого, отблесками чужой жизни. А мне хотелось настоящего, хотелось жизни своей; оглушительных ответов на оглушительные вопросы. Вопросы, думал я в ту пору, которые он, Двигубский, себе даже не задавал, еще не задал, никогда, наверное, не задаст... Я делил людей на тех, с кем можно было говорить о самом для меня важном, и тех, с кем заговаривать об этом не стоило. Теперь я думаю, что и первые не вполне меня понимали; люди, как известно, вообще не понимают друг друга; у каждого

вырабатывается, в конце концов, свой язык, почти не поддающийся переводу. Были некие темы моей молодости, скажем так, впоследствии, довольно скоро, сделавшиеся темами литературными, темами, или темой, моего, в 1985 году начатого, в 1994 законченного романа, в 1998 изданного мною под выбранным за неимением лучшего названием «Макс». На эти темы не говорил я с Двигубским. В каком-то смысле он был для меня загадкой. Он не казался мне человеком то, что называется ищущим, но и не казался нашедшим. Вокруг были, конечно, люди, ничего не нашедшие, потому что ничего никогда не искавшие, удовлетворявшиеся готовыми формулами, дедовскими рецептами жизни, трюизмами традиционных решений. Двигубский к ним явно не относился. А если так, думал я, то к каким же людям, собственно, он относится? На этот вопрос ответа у меня не было. Он тоже, кажется мне теперь, довольно долго не пускал меня в свои тайные, от внешних взоров скрытые области. Что эти области у него в душе были, я не сомневался, но поговорить с ним по душам все как-то не удавалось мне. Между тем, его оценки и мнения влияли на меня, как я теперь понимаю, довольно сильно, так сильно повлияли на меня, как, может быть, только мнения и оценки двух или трех человек за всю мою жизнь. В нем было великолепное равнодушие ко всякому авангарду, к интеллектуальной моде, к прыжкам и ужимкам посредственностей, гордящихся своей причастностью к чему-то возвышенному, не понятному профанам и неопитам; слишком, наоборот, понятная позиция иронического, брюзгливого превосходства над миром, в ту пору еще только готовившаяся этот мир захватить, вызывала у него, в свою очередь, брезгливую усмешку инстинктивного отвращения. Еще не сознавая этого, мы вступали в эпоху, когда все делается не всерьез, все с подмигиванием и фигой в кармане, мы-то, мол, понимаем друг друга, вон мы какие умные, а над дураками мы всласть сейчас посмеемся... Он очень много читал, разумеется, но как-то все не то, или не совсем то, что читали другие. Кто в двадцать лет читает Тургенева? Тургенева читают в четырнадцать – и затем возвращаются к нему после сорока, в пятьдесят. Мне иногда казалось, что он так и не вышел из девятнадцатого века. Пушкин был центром его вселенной. На вопрос о любимом романе он неизменно отвечал: «Капитанская дочка», что заядлые поклонники Джойса и Музиля воспринимали как не очень смешную шутку. К философии он оставался в ту пору на удивление равнодушен, исключая, пожалуй, только философию русскую, как часть некоей традиции, может быть, к которой чувствовал себя причастным; портрет Бердяева, как уже сказано, висел у него на стене, рядом с Ключевским; не исключая, впрочем, что Бердяев был для него прежде всего одним из авторов «Вех», автором

«Философии неравенства», автором замечательной, в восемнадцать лет перевернувшей и для меня мир, книги «Истоки и смысл русского коммунизма», пронзительнейшим и безжалостным критиком русской радикальной интеллигенции, с которой и у Двигубского, как историка, были свои непростые счеты, и в гораздо меньшей степени тем философом свободы, победы над земной, постылой, «объективированной» действительностью и прорыва к себе самому, каким он был в юности для меня. А как обойтись без прорыва, порыва? Как можно жить, думал я, не поставив под сомнение жизнь, вот эту жизнь, в которую кто-то бросил нас, у нас не спросившись. Мы все, конечно, со временем как-то приспособляемся к жизни, привыкаем к ней, может быть, становимся участниками ее. А все-таки, кажется мне, то наше юношеское, пусть даже и забытое нами впоследствии, несогласие с миром оставляет след, не стирающийся с годами. У непрощедших через это несогласие глаза какие-то другие, пустые... Двигубский, повторяю, не относился к потребителям полуфабрикатов и адептам блаженной бездумности. К какой же в таком случае категории людей отнести его я, повторяю, не понимал. Все повторялось, действительно, когда я начинал о нем думать, мысль моя ходила по кругу и заходила все в тот же тупик. Счастливым он, во всяком случае, не казался. Помню его очень часто печальным, как бы окутанным, окруженным этой печалью, сквозь которую почти невозможно было пробиться. Что-то со мной не так, сказал он однажды (зимой, на улице, недалеко от стадиона «Динамо»; куда мы шли, не могу теперь вспомнить). Что же, Двигубский? Не знаю, но что-то есть неправильное во мне. Я это чувствую, но не могу сказать, что это. Что-то не наведенное на фокус, сказал он, что-то недоделанное, недодуманное, не... ну, впрочем, все равно, поговорим лучше о скифах. Историю которых, написанную одним американцем, он, Двигубский, с увлечением как раз читает.

11.

Ясно было, во всяком случае, что все его, весьма многочисленные, занятия и увлечения, от скифов до сарматов и от варягов до греков, все-таки, в глубине души, не удовлетворяли его. Но ни о чем другом речь не шла, ни о каких, к примеру, литературных замыслах или хоть литературных мечтаниях, отдаленных надеждах и, пускай несбыточных, но влекущих возможностях он в ту пору не говорил, даже как-то было трудно представить себе, чтобы он заговорил о чем-то подобном. Я же, признаться, вообще плохо понимал в молодости, как можно не писать стихов или прозы, не надеяться, по крайней мере, написать когда-нибудь такую прозу или такие

стихи, за которые тебе самому не будет стыдно; зачем тогда жить... Признание, конечно, смешное, но пускай остается. Вспоминаю теперь зимний, ночной и полупьяный разговор с моим, упомянутым выше, приятелем, лучше – другом, и гораздо более близким моим другом в ту пору, чем был для меня Двигубский, Тихоном П., жившим, как уже сказано, в огромном доме «Россия» на Сретенском бульваре, в коммунальной, на два, почти каких-то корабельных отсека, поделенной перегородкою комнате. Этот Тихон, длинноволосый и коренастый, был, пожалуй, единственным персонажем моей жизни, с которым я иногда выпивал. В нем были злость и честолюбие провинциала, приехавшего покорять Москву; но в нем же была какая-то, иногда почти трогательная, открытость, ранимость, редко свойственная столичным людям, уже в детстве получившим как будто прививку цинизма и опытности. И какая-то бывала в нем внутренняя, восхитительная тишина, в соответствии с именем. Он же, кажется, был единственным из моих приятелей, умевшим – в самом деле, умевшим – знакомиться с девушками на улице, в электричке или в троллейбусе, глядя на очередную жертву шальными смеющимися глазами и почти всякий раз добиваясь, если не в тот же день, то уж точно на следующий, ее появления в его коммуналке, на его выдавшем виды, с просыпанным пеплом между подушками и потертой спинкой, диване. Литературные амбиции были при этом нешуточные. Кем можно быть в жизни? говорил Тихон, показывая почему-то на толстенную, с потрепанными тесемками, папку с ксерокопированным первым томом Шопенгауэра, тихо, в ожидании своего часа, лежавшую на крошечном ночном столике возле пресловутого дивана, еще не остывшего, может быть, после посещения очередной Нади или Наташи. Можно быть писателем, или художником, или, например, музыкантом. Если не быть ни тем, ни другим, ни третьим, то совершенно непонятно, как жить. То есть жить можно, но как не отчаяться? Если Левин, говорил Тихон, уже чуть-чуть покачиваясь на стуле, это Толстой без его дара, то что ж удивительного, что он прячет от себя веревку? Если не быть ни писателем, ни музыкантом, то можно только – что? Уйти в монастырь, говорил Тихон, человек вполне русский, пьющий и православный. Все остальное чепуха и не решает основного вопроса философии. Каковой, говорил он, вылавливая шпротину из консервной банки, проливая капли машинного масла на стол и тарелку, заключается вовсе не в отношении материи к духу, как мы учили в школе, по Гегелю и Разгегелю... я заметил, закуривая десятую за вечер сигарету, что мы, кажется, что-то другое учили, по Марксу и Перемарксу... вовсе, продолжал он, наблюдая, как машинное масло стекает по хвостик последней шпротины обратно в консервную банку, не в отношении

познания к бытию, надстройки к базису и диамата к истмату, а в том и только в том, чтобы найти хоть какой-то смысл в этой поганой жизни. Можно быть писателем – и можно уйти в монастырь. Все прочее чепуха и основного вопроса философии не решает. Ты меня понимаешь? Я тебя понимаю. Есть путь искусства и путь религии, никаких других нет. И шпроты съедены, и водка кончается. Пойдем, у таксиста купим? Пойдем. Таксисты в ту пору приторговывали водкой по ночам, десять рублей бутылка. За водкой мы, конечно, пошли; что же до самого Тихона, то он не пошел, в конечном счете, ни тем путем, ни другим. Писателя из него не вышло, монаха не вышло тоже. Зато, когда началась так называемая перестройка и открылись первые, еще очень скромные возможности разбогатеть, когда смутный призрак наживы появился на вдруг чудесно и соблазнительно расширившемся горизонте жизни, одним из первых на моей памяти погнался он за этим призраком, в начале девяностых сделавшимся реальностью, обернувшимся банковскими счетами в Швейцарии, лимузинами, телохранителями, яхтами и, по слухам, чуть ли не виллою в Ницце, затем *дефолтом*, крахом, какими-то, опять же – по слухам, *разборками* и *наездами*, да простят мне взыскательные Музы чудовищные сии выражения, новым началом, прерванным обострившейся, очень редкой, наследственной болезнью крови, с которой, как тогда же и выяснилось, жил он и боролся всю жизнь, финалом, закатом, уходом. Ничему этому я уже не был свидетелем, поссорившись с ним в конце восьмидесятых годов – и вовсе не потому, разумеется, чтобы я имел что-то против богатства и прибыли, дикого капитализма и первоначального накопления, по Перемарксу, а потому что злость возобладала в Тихоне над тишиной и во всем, что он делал и говорил, в том, как говорил и как делал, появился, к несчастью, вызов, вы вот, мол, интеллигенты, такие возвышенные, а я возьму, да и заработаю миллион, и плевать я на вас хотел, и на Шопенгауэра вашего заодно; в самой его жажде денег был, следовательно, некий *достоевский надрывчик*, очевидная и яростная готовность что-то, в самом себе, разрушить и растоптать – зрелище, в конце концов, слишком мало для меня привлекательное. Обо всех, кого потерял в жизни, все равно, конечно, жалеешь, перед всеми чувствуешь себя виноватым.

12.

У Двигубского тоже были более близкие друзья, разумеется. По крайней мере одного из них я знал, даже довольно неплохо, даже несколько раз встречался с ним без П.Д., подружившегося с ним, и кажется, с ним одним, в университете, причем, как оба они

мне рассказывали, сразу же, на первом курсе в первый же день; звали его, что тоже было в ту пору редкостью, хотя и не столь вопиющей, как Тихон, Петром, фамилия же была Федоров, сочетание отчасти, конечно, анекдотическое в своей простоте, для меня, впрочем, пленительное и тревожное, потому что один Петр Федоров, другой Петр Федоров, в отличие от этого называемый, разумеется, Петей, уже был в моей жизни, в детстве, в том дачном поселке с незабываемым названием Мичуринец, рядом с которым и у моих родителей была дача. Тот дачный, детский Петя Федоров остался в памяти как толстый, круглолицый, туго-румяный мальчик, имевший склонность к интриге и ультиматуму (если хочешь дружить со мной, то не моги дружить с Мишей...); этот же, приятель Двигубского, ни о каком поселке Мичуринец слыхом не слышавший и знать ничего не желавший, был ладный, ловкий и белокурый, модно, почти шикарно одетый молодой человек, куривший «Мальборо» и пивший только хороший коньяк, сын, как вскоре выяснилось, знатного дипломата, если не посла, то почти, часть детства проведший в Англии, другую часть где-то чуть ли не в Сингапуре, сохранявший и в юности, и долго еще после юности, ту особенную партийно-правительственную гладкость лица и облика, которая дается хорошим питанием, регулярным спортом и непоколебимой уверенностью в завтрашнем дне, и которую, совершенно ту же, с тем же спокойно-равнодушным выражением глаз, обнаружил я впоследствии, к несказанному своему изумлению, в лицах, или на лицах, тех немногих аристократических отпрысков, *фон* или *де*, с которыми, во Франции ли, в Германии, приходилось мне сталкиваться. Как, собственно, Двигубский мог подружиться с этим *мимошником*, говоря языком эпохи, было загадкой для меня, пока не обнаружилось, что *мимошник* он только напоказ и по видимости, на самом же деле наш человек, *ex nostris*, как выразился Двигубский, все понимающий и в политическом и, если угодно, в человеческом смысле, любознательный, довольно начитанный, часами и вечерами просиживавший в библиотеках, в архивах, при этом легкий, ни во что особенно не углублявшийся, не карьерист, или карьерист, по крайней мере, не наглый, не безоглядный, к слишком уж большим сделкам с совестью не готовый, отличный *товарищ по путешествию*, *Reisegenosse*, как выражался опять же Двигубский, раза два, в студенческую их эпоху, ездивший вместе с ним в археологические экспедиции, на раскопки каких-то курганов в южнорусских степях, затем в степях казахских, туранских, по его, еще раз, двигубскому выражению, в местах, мне не ведомых и для меня до сих пор совершенно не вообразимых. Из каких-то экспедиций вернулись они евразийцами (в Аляску сослан был, вернулся алеутом, говорил с хохотком Петр

Федоров), открывшими для себя почти никому в ту пору в России не известных Савицкого и Трубецкого, о которых сам я как раз и услышал от них обоих, Петра, в первую очередь, Федорова, потрепанные евразийские издания (София, 1921, Прага, 1922) раздобывавшего таинственными путями и хранившего, понятное дело, как величайшую ценность; не столько, впрочем, евразийские идеи их увлекали, говорил мне Двигубский, от идей этих он, во всяком случае, очень скоро и совсем отошел, сколько то ощущение пространства, безмерной шири этого евразийского, всепобеждающего пространства, которое было этим авторам свойственно и которое, по его же словам, охватило его, П.Д., с почти болезненной настоятельностью в те два, или три, вместе с Петром Федоровым в скифских и туранских степях проведенные археологические лета.

13.

Была, сделаем шаг назад, весна 1982 года, я только что вернулся из, пардон, Ленинграда, где прожил дней десять, прогуливая, как это многие делали в Совдепии и, кажется, до сих многие делают в России, промежуток между 1 мая, днем солидарности мирового пролетариата с самим же собой, и 9, соответственно, мая, по поводу которого мы от шуток воздержимся; именно там и тогда впервые попало мне в руки одно из бесчисленных сочинений Д.Т. Судзуки, неведомым адептом переведенное на русский и размноженное с классической самиздатовской блеклостью; вспоминаю теперь очень ветреный, тоже, по-питерски, блеклый день, и как я стоял, дожидаясь трамвая, где-то на Петроградской стороне, время от времени укрываясь от начинавшегося, кончавшегося, начинавшегося снова дождя под навесом ближайшего к остановке подъезда, глядя на этот дождь с неожиданным, очень радостным, острым и все же мягким чувством какой-то новой с ним связи, новой связи с этими каплями, падавшими с навеса, этими рельсами, мокрой брусчаткой, табличкой с номером трамвая на остановке, каких-то новых отношений, в которые, удивляясь, вступал я с вещами и временем; возвратившись в Москву, почти сразу, в день приезда или на следующий, отправился в так называемую Библиотеку иностранной литературы, где, заказав все того же Судзуки, заказав Алана Уоттса (Alan Watts), английский перевод Алмазной сутры, еще что-то из тех классических книг по дзен-буддизму, с которых и должно, наверное, начинаться знакомство с ним, начал проводить весенние вечера, иногда и дни, прогуливая, понятное дело, занятия в институте, среди склоненных голов и шелестящих страниц, выписывая в, увы, не сохранившуюся у меня тетрадку мои первые дзенские анекдоты,

первые *коаны* и *мондо*; пару раз, я помню, встречались мы после этих библиотечных сидений с Двигубским, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм, Феллини ли, Бергмана, в соседнем с библиотекой, знаменитом тогда кинотеатре «Иллюзион», куда билетов, разумеется, достать было совершенно невозможно, как если бы их вообще не существовало в природе, но куда Двигубский мог пройти почти на любой сеанс, поскольку, как выяснилось, учился некогда в одном классе с младшим внуком старшей администраторши, и если вы, Макушинский, не прекратите сейчас смеяться, я больше вас не возьму в кино никогда. К моим рассказам об Алмазной, а также об Алтарной сутре Шестого патриарха, и о самом Шестом патриархе он отнесся с таким беззастенчивым безразличием, что я тут же, разумеется, эти рассказы и оборвал, в очередной раз почувствовав, что во *внутренней моей* нечего ему делать, и что мы по-прежнему можем встречаться только *на его территории*. На какой-то территории тоже происходили разные движения, перемещения сил, войск, отрядов. Вы слышали когда-нибудь об Елецкой республике? спросил он. О чем, о чем? спросил я. Вода в Яузе казалась черной, как машинное масло, с маслянистыми же разводами фонарей; на углу Яузской улицы и Серебрянического переулка был винный, полуподвальный, со стоптанными ступеньками магазин, возле которого всегда околачивались пьяные, полупьяные, четвертьпьяные мужики, из которых двое, рассказывал мне впоследствии, в другой жизни, в Париже или, уже не помню, в Дижоне Двигубский, позвали его однажды сообразить на троих, по рублю, небось, с носа, и как же я жалею теперь, говорил он, глядя на Сену, что отказался, было бы что вспомнить теперь, здесь, в другой жизни, какого нашего разговора, как и самой этой жизни, мы, опять-таки и разумеется, и вообразить не могли себе в тот поздне-весенний вечер, но, проходя мимо этой уже закрытой, кажется, винной лавки, сворачивая на бульвар, он, на своей территории, рассказывал мне о той самостоятельной, хотя и советской, республике, которая существовала, якобы, в самом начале 1918 года в Ельце, имела даже, будто бы, свои деньги, марки и конституцию, республике, на смутные сведения о которой он, Двигубский, наткнулся в ходе своих изысканий, касающихся, вообще, Гражданской войны, Белой армии. Это же вроде бы не ваша тема? спросил я. Нет, ответил он с той смущенной, как бы внутрь обращенной улыбкой, которая бывала ему свойственна, нет, это не его тема, и заниматься ею почти невозможно, архивы закрыты, или полужакрыты, или нужен, вновь и вновь, особенный какой-нибудь допуск, и огромная, конечно, мемуарная литература, вышедшая в эмиграции, доступна ему только в совсем незначительной своей части, да и времени у него нет, он ведь должен, наконец, как мне

известно, дописать свою диссертацию, в которой тоже, кстати, не сможет сказать всего, что думает и знает, а он, между прочим, уже много чего знает и думает о великих реформах и об отношении к ним в русском обществе конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века, каковое отношение, раз уж мы заговорили об этом, поражает своим отсутствием, то есть оно, это общество, в широкой массе своей относилось к реформам, следовавшим за освобождением крестьян, с прогрессирующим равнодушием, как если бы только равнодушие и было способно к прогрессу, что же до Гражданской войны, то он занимается ею *так*, он выделил голосом это слово, с той же, смущенной улыбкой, *так*, для себя, без какой бы то ни было практической цели. Он собирается даже съездить в Елец, чтобы разузнать что-нибудь об этой самой республике, о которой ему пока достоверно известно лишь, что в какой-то момент, в марте, кажется, все того же 18-го года, к власти в ней пришли два диктатора-дуумвира, перестаньте смеяться, один большевик, другой, похоже, левый эсер. По бульварам дошли мы до провинциальной Покровки, похожей на улицу в уездном каком-нибудь городишке, Тамбове или том же Ельце, пересекли ее, вышли, снова, как если бы они оставались неизменным пунктом притяжения, тайным полюсом наших прогулок, к Чистым, в фонарных отсветах, безмолвным прудам...; до Ельца он так и не доехал за всю свою жизнь; я сам съездил туда, спустя вечность, за него, в его память, летом 2007 года, и даже описал эту поездку в некоем эссе, где о нем, Двигубском, не решился упомянуть, вернее – решился не упоминать вообще, уже готовясь писать то, что вот сейчас сижу и пишу. Оставим все это, говорю я себе; Бог с ним, с этим тогда еще никому не ведомым, так не похожим на то, что нам виделось, будущим; вернемся в то прошлое, невинное своим неведением, благодаря неведению своему... Он еще несколько раз заговаривал со мной об этой таинственной Елецкой республике, которой, как я впоследствии выяснил, скорее все-таки не было, был лишь некий «Елецкий Совнарком», просуществовавший до лета 1918 года; на столе его все чаще появлялись книги о Гражданской войне; помню, как он обрадовался, когда я принес ему «Ледяной поход» Романа Гуля, перепечатанный в советской России по личному, если верить легенде, распоряжению Ленина, вот, мол, что пишут о себе сами белогвардейцы; огромный том воспоминаний Врангеля, которые привез ему кто-то из Франции, был весь утыкан закладками. Нет, отвечал он на мой вопрос, он не собирается ничего писать о Гражданской войне, ничего, ничего.

14.

Он лучше напишет что-то о русской истории как таковой, говорил он, я помню, во

время той единственной прогулки, которую мы совершили втроем, с Ф.Е.Б. (или – Фебом), тоже, если память меня не подводит, весной, но уже следующей, 1983 года, в Коломенском. Я думаю теперь о том, как все было обыденно и просто в той исчезнувшей жизни и каким значением наполняются эти обыденные события теперь, когда их участников уже нет на земле. Просто – Феб позвонил мне в какое-то воскресенье, предложив погулять где-нибудь по случаю хорошей погоды, я же ответил, что уже договорился встретиться в этот день с Двигубским, что у нас давно была мысль съездить в Коломенское и почему бы нам, по случаю этой самой хорошей погоды, не съездить туда втроем; Двигубский, сказал я, о Коломенском знает, конечно, все. Двигубский знал, действительно, все о Коломенском; я с радостью отдал бы, впрочем, полученные от него в тот день сведения и еще много чего в придачу за возможность повторить теперь простые действия этого дня, мой звонок ему из темной прихожей, где стоял у нас, под зеркалом, телефон, хмурый ответ Сережи, что он – сейчас позовет, мой разговор с Двигубским, и новый звонок Ф.Е.Б. (и телефон Феба, и телефон Двигубского я до сих пор помню, конечно же, наизусть, помню и оба моих московских номера, из эмигрантских своих номеров не помню ни одного), и даже, если угодно, мой путь до метро и в метро, по Кольцевой линии до станции Павелецкая, затем, после торопливой, в толпе теней, пересадки под заgrabными сводами, по зеленой ветке, где поезд выезжает на мост и на свет и затем довольно долго идет мимо заводов, складов и пустырей, прежде чем снова спуститься под землю – до обшарпанной, кафельной, построенной уже после смерти усатого упыря, а потому и не столь заgrabной станции, в самой середине коей, мирно беседуя, уже стояли долговязый Двигубский и маленький Феб, меня поджидавшие. Беседовать им было, в сущности, не о чем; прогулка наша не совсем удалась. Я говорил с Ф.Е.Б. об одном, с Двигубским о другом, на его территории. Выяснилось, что к двигубским темам Феб равнодушен, а продолжать с этим последним наш давний, нескончаемый (в известном смысле и до сих пор не закончившийся), очень личный разговор в присутствии Двигубского тоже не получалось. Феб интересовался, по призванию и по профессии, прежде всего – людьми, вот, в частности, этим Павлом, которого видел он во второй и, насколько я знаю, в последний раз в жизни; все, я помню, приглядывался к нему, как будто пытаюсь понять, что это за длинноногая птица такая рассуждает тут о «дьяковской культуре», до которой ему, Фебу, никакого дела как раз, в общем, не было, о которой сам я услышал в тот день впервые. Двигубский, пораженный нашим невежеством, чувствовал, конечно, этот, впрочем – совсем не назойливый, вполне доброжелательный интерес Феба – к

нему самому, к тому, что прячется за словами, к Двигубскому как таковому, видел эти пытливые, словно оценивающие взгляды, которые Феб изредка, искоса, снизу вверх бросал на него, – и чем сильнее все это чувствовал, тем более, казалось мне, закрывался, не понимая, и не желая понять, что Фебу ничего от него не нужно, что он не набивается Двигубскому ни в друзья, ни во врачи, не претендует ни на роль конфидента, ни на роль спасителя от душевных невзгод, а что за этим стоит просто интерес к людям, интерес живой и подлинный, тот восхитительный, ни у кого больше не встречавшийся мне в такой силе и степени интерес к людям, который Ф.Е.Б. был присущ, сочетаясь в нем со столь же подлинной и живою готовностью этим людям, в случае надобности, помочь, на что эти люди, как правило, отвечали благодарностью и доверием. У всех правил есть исключения. Все более закрываясь, Двигубский, или так помнится мне теперь, все сильнее впадал в тон своей ранней молодости, к тому времени, о котором я сейчас рассказываю, уже, в общем, преодоленный, – то есть просто говорил без умолку, заваливая нас датами, подробностями строительства уже видимых, или невидимых, потому что более не существующих, давно снесенных или сгоревших церквей и дворцов, не слушая и не ожидая ответа, избегая Фебовых взглядов, улыбаясь преувеличенно белозубой улыбкой..., так что Феб, в конце концов, показалось мне, как бы внутренне махнул на него рукою, почти перестал слушать, под конец сам впал в тот иронический, мефистофельский, как я называл его, тон, который бывал ему свойствен, когда что-нибудь вызывало, или кто-нибудь вызывал у него, что тоже случалось, раздражение и скуку. Коломенское в ту пору было еще местом, довольно мало ухоженным. Церковь Вознесения, самая величественная из его церквей, стояла глухая, закрытая, обгаженная голубями, гулькавшими под сводами галереи. Мы шли к ней по косогору. Что бы ни думали по этому поводу уважаемые его собеседники, говорил Двигубский, как-то особенно нервно и широко размахивая руками, лично он придерживается того мнения, что эта церковь, по-видимому – первая каменная шатровая церковь в России, то есть увенчанная шатром, а не, скажем, куполом (вот он, этот шатер, перед нами..., говорил П.Д., так сильно и высоко выбрасывая вперед руку, как если бы он надеялся – чего не бывает на свете! – рукою до шатра дотянуться), – что церковь эта, еще раз, есть церковь моленная, то есть построенная, вернее – заложенная, вовсе не, как полагают некоторые ученые, с мнением которых он, Двигубский, не претендуя, впрочем, на роль знатока и авторитета в сей сложной материи, как раз и все-таки, по соображении всех данных и сведений, не согласен, – вовсе, значит, не в честь рождения наследника, сына Василия Третьего и Елены Глинской, будущего,

соответственно, Ивана Грозного, столь любимого партией и правительством, а именно для того, чтобы вымолить у Господа Бога это рождение, этого наследника, о котором Василий мечтал так долго, что в конце концов развелся со своей бесплодной первой женою, Соломонией Сабуровой, о чем, если не ошибаюсь, мы с вами, Макушинский, уже имели удовольствие и случай беседовать, говорил П.Д., поглядывая на Феба, и не просто развелся, конечно, но заставил ее постричься в монахини, как это вообще любили делать русские государи с неугодными им более женами. Женившись же на Елене Глинский, Василий, как утверждают некоторые авторы, попросил тогдашнего, во всем послушного ему митрополита наложить на него, Василия, двухгодичную епитимью, во время каковой епитимьи не только новая церковь не могла быть заложена, но царь даже войти не мог ни в какую церковь, ни новую, и ни старую, и к причастию не допускался, и к исповеди, кажется, тоже, а только молился и молился снаружи на паперти, в обществе юродивых, убогих и нищих. Другими словами, два года после брака с Еленой Глинской не происходило вообще ничего, ни церквей не закладывали, ни, похоже, в самом браке ничего друг с другом не делали, а только, значит, замаливали свой грех, и вовсе не потому, конечно, замаливали, что сами считали его таким уж большим грехом, а потому что брак этот оставался в глазах всех правоверных и добропорядочных московских людей незаконным, а следовательно и вожделенный наследник мог быть воспринят как незаконный, чего уж ни в коем случае нельзя было допустить. Когда же епитимья миновала и два года прошли, Василий Третий и Елена Глинская немедленно приступили к делу, не только в том смысле, в каком это понимаете вы, Макушинский, с развратной вашей ухмылочкой, и вы, очевидно, тоже (добавил он, поворачиваясь к Фебу, спокойно набивавшему свою трубку), а в том и прежде всего в том смысле, что, во-первых, начались поездки царской четы по монастырям с молением о чадородии, во-вторых же – строительство моленных храмов, и в частности вот этого, перед нами, для чего, между прочим, был выписан из Рима очередной итальянец, именем Петр Франциск Ганнибал (Ганнибал? переспросил Феб, пыхая сладким дымом), вот именно: Ганнибал, как ни странно, русскими летописями называемый Петр Фрязин или Петрок Малой. Фрязин значит просто иноземец, прошу заметить, а вот почему – Петрок, почему – Малой, он не знает. По другой, правда, версии все было как раз наоборот, Василий Третий, как-никак уже сорокасемилетний, прельщенный красотой и манерами восемнадцатилетней молодой полячки, не только сбрил себе бороду – дело, по тем временам неслыханное, – но принялся вообще подражать тогдашним московским щеголям, каковые щеголи,

вызывавшие, понятное дело, возмущение все тех же добропорядочных и благочестивых людей, носили, как рассказывает, например, Костомаров, красные сапоги, расшитые шелком, причем такие узкие, что ноги у них болели, навешивали (мне ничего не стоило, конечно, найти то место у Костомарова, которое Двигубский пересказывал своими словами; вот оно): «навешивали на себя пуговицы, ожерелья, на руках носили множество перстней, мазались благовониями, притирали себе щеки и руки и щеголяли вычурными манерами, состоявшими в известного рода кивании головы, расставлении пальцев, подмигивании глаз, выставлении вперед ног, особенного рода походке и т.п.» Все это как-то мало вяжется с епитимией и замаливанием грехов, говорил П.Д., покуда мы обходили – посолонь, как он выразился, очевидно наслаждаясь сим выражением – величественную, даже в заброшенности своей, церковь. Грехов не грехов, но о даровании наследника молились они истово и неистово, говорил Двигубский – довольный, опять-таки, каламбуром, размахивая руками. Могло быть, конечно, и так, что Василий сначала щеголял, расставляя пальцы и подмигивая глазами, а потом уже ударился в молитву и покаяние. Даже скорее всего, полагает он, так и было. Ну, как бы ни было, ни о каком другом наследнике русского престола так, наверное, не молились, так не мечтали, как об Иванушке, Иване-царевиче, Иване-царе. Все сделали, очень старались, чтобы подарить России монстра, залившего ее кровью, каковой монстр, кстати сказать, впоследствии нередко пировал здесь со своими опричниками. В день его рождения земля, конечно, стонала и колебалась, страшный гром прокатился по всей Руси великой, сверкали молнии, в Тверской земле явился странник с волчьей головой, а где-то под Вяткой – неведомо чудище, нелепо и неказисто, пыхавшее огнем из ноздрей. Где-то здесь, в Коломенском, располагалась, по-видимому, и библиотека тирана – «либерия», как он ее называет, – изувер не прочь был почитать на досуге, хотя любимым развлечением царя-батюшки оставались все-таки – пытки. Можно понять, заметил на это Феб с мексиканской улыбкой, вовсе этого, конечно, не имея в виду, но стремясь, похоже, переменить и тему, и тон разговора... Вы в детстве кошек не мучили? Двигубского передернуло... Не мучили? переспросил Феб. Вот и я не мучил. А бывают, знаете ли, чудные такие мальчики, прямо ангелочки с голубыми глазами. Такой ангелочек поймает бабочку и с вождением отрывает ей крылышки. Тихо так, долго, внимательно, с блаженной улыбкой. Или возьмет кошечку и начнет в нее гвоздиком тыкать. Кошечка кричит, а ему наслаждение. Их потом приводят ко мне, сказал Феб. И – что же? спросил Двигубский. Вы их вылечиваете? Феб в ответ только хмыкнул – что можно было понять как угодно, и так, и этак, и еще как-нибудь. А

между прочим, сказал Двигубский, Иван Грозный в детстве тоже любил бросать кошек с высокого крыльца, любил смотреть, как они мучаются и кричат. Сам кричал от удовольствия, хлопал в ладоши. Хороший мальчик, сказал я. Что же до упомянутого выше Петрока Малого, он же Петр Фрязин, то судьба его, подобно судьбе его великого предшественника Аристотеля Фиораванти, было, по-видимому, ужасна, поскольку в Россию-то они все приехали, а выбраться отсюда уже не могли, и того, и другого, с разрывом в пятьдесят лет, посадили под замок, чтоб не рыпались, Петра Фрязина схватили, похоже, при попытке к бегству, после чего сведений о нем уже нет, умили, небось, или удавили где-нибудь, чтобы другим неповадно было порываться на волю. Мы все знаем, что в эту страну проще въехать, чем из нее выехать, так что если кому-нибудь из нас суждено оказаться за границей... Вы хотите уехать? прервал его прямым вопросом Ф.Е. Нет, ответил Двигубский; скорее нет, не хочу. А вы? По рельсам побежал бы отсюда, с совершенно неожиданной для меня, какой-то шипящей яростью проговорил Феб, единственный из нас троих впоследствии не уехавший, только приезжавший однажды, в 1994 году, ко мне в гости. С высокого берега Москвы-реки открывалась в ту пору еще почти свободная даль, пойменные луга, отдельные какие-то трубы и далекие, но такие далекие, что казались призрачными, очертания облачных новостроек. Я подумал, я помню, что история все-таки совершенно не интересует меня. Какое мне дело, в конце концов, до того, что здесь – было. Есть только то, что есть, вот сейчас. Вот эта плавная, такая совершенная в своем загибе, излучина реки, эти луга за нею, эти две, очень длинные, бесшумные, темные, почти впритык друг за дружкой скользящие по воде баржи, эти долгие волны, расходящиеся за ними, с гулким плеском бьющие в зачарованный берег. Есть только то, что – вот сейчас – есть. Но мы не удерживаемся в этом *есть*, не выдерживаем настоящего, оно всегда превышает нас, мы не справляемся с ним. Мы слышим его призыв, но мы не в силах – ответить... Я еще не знал, конечно, что мне суждено будет все снова и снова думать об этом, в разные годы по-разному, всегда так же. Есть, по-видимому, лишь несколько мыслей, которые нам дано без обиняков и отговорок подумать за нашу жизнь. Мне хотелось – или мечталось – в молодости, чтобы это напряжение настоящего не кончалось, чтобы душа не падала, как писал Паскаль, с тех высот, на которые она так редко взбирается. Увы, эти блаженные мгновения всегда, конечно, заканчиваются, «непреходящее сейчас» всегда переходит, проходит, образ вечности тускнеет у нас на глазах. Душа падает – во время (думал я), и значит – в историю. История, иными словами, казалась мне частью того падшего, больного временем мира, в котором душа отчуждается от себя же самой, в

котором она томится, в котором себя теряет. Что мне эти Василии, что мне эти Иваны? Всегдашний круговорот насилия, непрерывное повторение жестокости... Есть, в самом деле, какая-то роковая повторяемость русской истории, говорил между тем Двигубский, какое-то роковое и бессмысленное возвращение все тех же тем и мотивов, как если бы кто-то сидел и дергал за ниточки, все одни и те же, одни и те же. Вот о чем он хотел бы когда-нибудь написать... «Но в искре небесной», думал я любимой цитатой, «прияли мы жизнь, нам памятно небо родное». Небо в тот день было совершенно чистым над Москвою-рекою, как если бы не в Москве мы были, а там где-нибудь, на родине Петра Фрязина, Аристотеля Фиораванти. Почему, уже вечером, когда небо померкло, оказались мы на тогдашней улице Димитрова, теперь опять Большой Якиманке, я, как ни стараюсь, вспомнить уже не могу; помню только, никогда не забуду, как мы шли втроем от метро к центру, мимо французского посольства, и как, когда мы посольство уже прошли, из темноты переулка выступил вдруг нам навстречу низенький, коренастый, в кепочке, молодой человек, окликнувший Феба по имени-отчеству. Прогуливаетесь? спросил он, быстрым и склизким взглядом ощупывая меня и Двигубского. Прогуливаемся, ответил Феб, а ты что же? А я на дежурстве, ответил тот, отступая вновь в темноту, исчезая в ней с той же внезапностью, с какой появился. Кагэбэшник, сказал Феб, когда мы отошли шагов на десять или пятнадцать. Наблюдает, небось, за посольством. Ну и знакомые у вас, сказал я. Это бывший пациент, сказал Феб, вдруг принимаясь смеяться. Обычный кагэбэшник, мелкая сошка. Его выгнали из гэбухи, за пьянку. А он, говорил Феб (смеясь и с наслаждением, похоже, выдавая врачебную тайну), а он тогда попытался покончить с собой, оставив записку всего из одного предложения. Феб, я помню, выдержал паузу как хороший рассказчик. Какого же? «Не могу жить без «Органов!»» Тут Двигубский принялся, понятное дело, хохотать и сгибаться; я тоже. Не могу жить без органов... Да уж, без органов не проживешь... И что же, вы его лечили? Лечил. И его обратно взяли? Взяли, как видим. Хорош опричник, говорил Двигубский, давясь своим хохотом. Не могу жить без органов. А нам-то, нам-то без органов каково? Вы бы все же так громко-то не кричали, а то ведь они и вон в том переулке стоят, его братья по разуму. А я что, хохотал Двигубский, я ведь только о почках, о печени...

15.

Еще я вспоминаю какой-то зимний слякотный день в, не могу теперь точно вспомнить каком, в том же 83-ем, или, может быть, 84-ом году, когда он пришел ко мне и

обнаружив у меня на столе кантову «Критику чистого разума» в соседстве с гуссерлевыми «Картезианскими размышлениями» и пачкою болгарских бесфильтровых сигарет «Шипка», которые я почему-то в ту зиму курил, снова принялся хохотать и сгибаться, потом, отхохотав, объявил, что «Шипка» очень здорово сочетается с Кантом, тем более с Гуссерлем, и что, между прочим, его собственный прадедушка, то есть отец его бабушки, *grande-mère*, маминой мамы, скончавшейся, когда ему, Двигубскому, было двенадцать, в детстве обожаемой им, был, если верить семейным преданиям, героем этой самой Шипки, то есть обороны Шипки в 1877 году, после чего сделался предводителем дворянства во Владимире, но затем, если он, Двигубский, правильно истолковывает дошедшие до него из уже почти неправдоподобного прошлого слухи, начал все чаще, выражаясь языком эпохи, служить Бахусу, что, понятное дело, карьере его не пошло на пользу, *grande-mère*, во всяком случае, что-то явно скрывала и намеренно путала, когда рассказывала ему, П.Д., в его, теперь уже тоже неправдоподобном детстве, о своем отце, его прадеде. Я спросил, называл ли он и в детстве свою бабушку так, *grande-mère*? Конечно нет, сказал он, снова расхохотавшись. Позвольте уж и мне, сказал он (с каренинской интонацией насмешки над своими словами...), позабавиться «Шипкою». Своих сигарет и своей зажигалки у него никогда с собой не было. Нет, конечно, говорил он, выталкивая бесфильтровую сигарету из мягкой пачки, вертя и ту, и другую, и сигарету, и пачку, как бы присматриваясь к ним, в своих длинных пальцах, он начал называть ее так потом, про себя. И потому, наверное, начал так ее называть, что есть, согласитесь, что-то смешное и глуповатое в самом слове *бабушка*, к его... *grande-mère* решительно не подходящее. Ну, что такое *бабушка*, говорил он, наклоняя голову, чтобы закурить, наконец, эту короткую ядовитую сигарету (страшнее «Шипки» был, кажется, только «Дымок»), поднося к ней (как ясно вижу я теперь все это...) французскую черную, с золотистым окончанием и кружочком, цеплявшимся за кремень, одноразовую зажигалку фирмы *VIC*, привезенную мне кем-то из-за границы и снабженную у основания (в обувных мастерских, если память не изменяет мне, это делали) золотистой, опять-таки, блямбою, через которую можно было снова напустить в нее газ (славное изобретение русских умельцев...), что такое, действительно, *бабушка*? Какая-то комическая помесь бабочки с бабой, Али-бабы с кондитерскою фабрикою Бабаева. Знаете кондитерскую фабрику Бабаева? Ну, еще бы, сказал я. Что до него, Двигубского, то он с детства путает ее с заводом имени Бадаева, знаете, есть такой? Еще бы не знать, сказал я, когда он здесь, за углом. Быть не может! воскликнул Двигубский. Я предложил ему пойти на

него посмотреть, то есть пойти просто-напросто погулять по набережной, где я часто гулял в ту пору один, предаваясь своим собственным картезианским размышлениям, поискам трансцендентального субъекта в себе, а на самом деле, если отвлечься от этого, с тех пор забытого мною, философского, или псевдофилософского, языка, попыткам продлить в себе некую ясность, увидеть, совпадая с собою, как бы дорастая до себя самого, яснее – и еще яснее, мокрые, скажем, или, наоборот, обведенные снегом ветки зимних деревьев, низкое небо, льдины в реке, с неровными, как будто обломанными краями, бездонно-черную воду между этими льдинами..., продлить, хоть на минуту, на полторы минуты, это блаженное усилие, присутствие в настоящем...; темы моей молодости (не только молодости), очень скоро сделавшиеся темой (одной из тем) романа («Макс»), уже задуманного мною в то время. Любопытствующих и отсылаю теперь к нему. Зато теперь, когда время это давно уже стало вечностью, я, в него всматриваясь, всего отчетливее вижу, в романе, конечно, не упомянутую (я стремился, в самом деле, к какой-то трансцендентальной, абстрактной ясности, решительно и упрямо избегая любых конкретных знаков места, знаков истории...), всего отчетливей, как ни странно, вижу я, теперь всматриваясь в этот день и это время, – Трехгорку, Трехгорную мануфактуру на другом берегу реки, две ее тонкие, высоченные, в низкое небо врастающие трубы, круглую башню с большими, но поделенными на мелкие прямоугольники окнами, ее длинный, желтый, с корабельными, числом семь, коротенькими трубами на крыше, основной корпус, вытянувшийся вдоль реки и всегда, еще в детстве, напоминавший мне огромный, в самом деле, корабль, океанский фантастический лайнер, почему-то оказавшийся на берегу и теперь пыхтящий, дымящий изо всех сил в надежде вновь отправиться в плаванье; Двигубский, никогда, как выяснилось, здесь не бывавший, смотрел на эти ломаные фабричные линии с тем же сосредоточенным и отстраненным вниманием, думаю я теперь, с каким я сам смотрел на льдины и воду, в поисках картезианского *cogito*; брови его, под меховой и мохнатой шапкой, которую он начал в ту пору носить (которую сам называл логическим продолжением шевелюры; шапкой рыжей, чуть ли не лисьей, какой-то даже слишком для него *пижонской* и дорогой...), не скрытые этой шапкой, брови его взлетали; сложив руки на груди, узкоплечий и долговязый, стоял он пару минут неподвижно; вдруг, расхохотавшись, объявил, что не хочет быть статуей и что мы можем идти дальше. Налево или направо? Он был в замечательном настроении в тот день; каком-то даже игривом; обычная печаль его в нем не чувствовалась. Если к пивному заводу, то налево, конечно. Пивной завод имени Бадаева, теперь, говорят,

закрытый, прятался, как всегда, за красностенной неразберихой заборов, за высокими железными воротами, в которые, как всегда, въезжал грязный, бурый месивом из-под колес брызгавший грузовик; пахло солодом; в реку, недалеко от завода, спешили влиться мутные, желто-пенные, пивоваренные струи (с тютчевским ударением на последнем слове). Затем начиналась автомобильная стоянка; заснувшие, засыпанные тающим снегом «Жигуленки» и «Запорожцы», мечтавшие о неведомых автострадах. Туда, куда струи спешат, куда поток несет, проговорил Двигубский, принимаясь вновь хохотать. Известно ли мне, что товарищ Бадаев, член, между прочим, думской фракции большевиков, чьим славным именем завод сей был назван при его жизни, в тридцатых каких-нибудь, вряд ли раньше, годах, что сей Бадаев не дурак был – что? не дурак был выпить, вот что, был даже, за пьянку опять-таки, изгнан, в конце концов, со всех своих высоких постов и назначен директором треста – хотите знать какого? Треста «Главпиво», вот какого, говорил, хохоча и махая руками, Двигубский, «Главпиво»! «Главпи-и-иво»! А Бабаев? О Бабаеве он ничего не знает. Тоже был, наверное, какой-нибудь пламенный революционер. Я сказал, что есть такая книжная серия – «Пламенные революционеры» – в издательстве, да простят меня Музы, «Политиздат», серия, между прочим, в которой подвизаются разные советские писатели с репутацией приличных и либеральных, продающие душу только по высшей ставке, за чистые денежки прямым из партийной кассы. Он сказал, что впервые об этом слышит. А вот если бы он был не он... Ежели бы я был не я, как говорит Пьер Безухов Наташе Ростовской. Ежели бы он был не он, а какой-то совсем другой человек, он написал бы повесть под названием «Бабаев и Бадаев». И это была бы повесть уморительнейшая, смею заверить вас, мил-государь, животик бы себе надорвали. Он заговорил теперь с интонацией Чехова в бунинских «Воспоминаниях». Да-с, мил-государь, животик бы надорвали себе. Бабаев и Бадаев, извольте видеть, очаровательнейшие люди, душевнейшие друзья, пример пионерам и восторг октябрят, строители советского парадиза, мифологические персонажи, проходящие сквозь всю нашу с вами, столь славную свершениями, историю. Все меняется, все рушится, все летит в пропасть и стремится в тартарары, а они все идут, вечные двое, все идут, все дальше, по кровавому снегу, сквозь пургу и взрывы, под кремлевскими звездами, и один все пьет свое пиво из темной бутылки, и когда пиво в бутылке заканчивается, бросает бутылку в снег, в пролетарской же, крепкой его руке вырастает немедленно новая, а другой поедает, шурша фольгой, конфеты, «Мишку на Севере», и «Петьку на Соловках», и «Счастливых школьников в Дубровлаге», и незабвенные шоколадки «Аленка, или

Оскорбленная невинность», и оставляет разноцветные фантики на снегу, на века; все идут и идут, как те двенадцать, под музыку революции; а Ленин между тем превращается в Сталина, а Троцкий обнимается с ледорубом, а Зиновьев целуется с Каменевым, а Хрущев сажает кукурузу на Красной площади, и стучит своим вечным ботинком по вечной, все стерпевшей трибуне, а они все идут, все идут, все говорят, и говорят, и никак не могут наговориться, и Бабаев все твердит шоколадными губами, что надо, надо строить в отдельной стране, а Бадаев, икая, говорит уже только о любви, о любви, о нежных изгибах, о таинственных глубинах коммунистической страсти. Я предложил ему, впадая в его интонацию, закончить повесть – бровями; тема, сказал я, вам близкая. Не мандельштамовскими ласточками круглых бровей, но бровями брежневскими, взлетающими в небо как ласточки, когда Брежнев умирает и эпоха заканчивается. Да, эпоха заканчивается, ответил на это Двигубский. И вот мы смотрим, как летят они в чистом небе, в безднах эфира, эти две ласточки, все, что осталось от анекдотического генсека, тихо-тихо, медленно-медленно исчезая в торжествующей над миром лазури... Дарю вам этот финал. Дарю вам этот сюжет, сказал он, я его, оставаясь собой, не использую. Я тоже не использую, сказал я, если останусь собою. Автомобильную стоянку давно мы уже прошли; вдалеке за излучиной появился железнодорожный мост, которым и заканчивалась здесь набережная; появились, на нашем берегу реки, крутым косогором уходившем вверх, желто-серые спины стоящих там, наверху, советско-имперских домов, торжественными, здесь и отсюда почти не вообразимыми фасадами обращенных к Кутузовскому проспекту; на другом берегу – какие-то бараки и склады; деревья, обведенные снегом, – повсюду; странное (как написал я потом в романе), как будто выпадающее, в свою очередь, из города, из сплетения улиц, проспектов, ни с чем не соотнесенное, ни к чему не причастное место... (конец цитаты), теперь, говорят, застроенное со всех сторон небоскребами. Я подумал, я помню, глядя сбоку и на ходу на Двигубского, что трансцендентальный субъект трансцендентальным субъектом, но что, на самом деле, мы все состоим из нескольких (многих), очень разных и друг с другом почти не связанных, может быть, персонажей, из которых только двум или трем, наверное, суждено всерьез воплотиться. По мосту, громяхая, шел бесконечный товарный поезд; смутное солнце проглянуло сквозь снежную завесь; стальным блеском засветилась, на мгновенье, река. У всякой дружбы есть, как мы знаем, свои слова и словечки, свои шутки и шуточки, не понятные непосвященным; Двигубский, впоследствии, в самых разных случаях и на самых неожиданных поворотах жизни поминал мне, сгибаясь от хохота, этого

трансцендентального субъекта, о котором, не удержавшись, я все-таки заговорил с ним в тот день, и мое решительное заявление, что кантовское первоначально-синтетическое единство апперцепции является, без всяких сомнений, важнейшей предпосылкой феноменологической редукции у Гуссерля. В еще более дальнем последствии, незадолго до конца и финала, когда я сам давным-давно уже и думать забыл о редукции с апперцепцией, он поразил меня, не у реки, но у моря... об этом, впрочем, еще рано пока говорить. Поразил он меня и в эту нашу давнюю встречу, вот о чем следует сказать непременно, своим, уже перед самым прощанием со мною, после того как, возвратившись с набережной, мы посидели еще с моей мамой, накормившей нас необыкновенно вкусным в тот день гороховым супом с корейкой, за время нашего отсутствия сваренным ею, на узкой кухне с видом на изыски сталинского барокко, венки, гербы и каменные колосья, с видом, за колосьями и гербами, на все ту же Трехгорку..., своим, еще раз, на узкой кухне, совершенно неожиданным для меня сообщением, что после защиты диссертации уезжает в Ленинград, навсегда. Как в Ленинград? как навсегда? Вот так, в Ленинград, после защиты диссертации, уезжает он, навсегда. Ему предложено место в архиве, где надеется он, укрывшись от Софьи Власьевны, заниматься тем, что ему интересно. И еще возможно преподавание, если не в университете, то уж точно в педагогическом институте. И вообще... Что? Вообще ему здесь надоело. Вот так вот. Прощайте, Макушинский, спасибо вам за этот день, столь очаровательно проведенный.

16.

Это *навсегда* обернулось примерно полутора годами. Но в Ленинград он, защитив диссертацию, в самом деле уехал; и было в этом отъезде что-то, меня удивившее. Вряд ли я думал об этом так же, как теперь думаю, теми же словами, теми же мыслями. Но удивление было, это я помню точно. Никто, как я теперь знаю, не покидает родной дом безнаказанно. И никто не покидает его беспричинно. Я не думал, конечно, что он проживет в том же доме, в той же квартире всю свою жизнь; я вообще обо *всей жизни*, своей или чужой, не задумывался; двадцатитрехлетним нам никогда не исполнится, конечно, ни пятьдесят лет, ни шестьдесят; так что и думать нечего обо *всей жизни*. Зато теперь, сравнивая разные, по-разному прожитые жизни друзей и знакомых, я нахожу среди них особую категорию счастливцев, или, наоборот, несчастливцев, никогда никуда не переезжавших, родившихся, выросших, ходивших в школу и теперь стареющих возле метро «Сокол», метро «Юго-Западная»; к таким-то несчастливцам-

счастливым, если выразить моими теперешними мыслями мое тогдашнее ощущение, и относился Двигубский, отчего его отъезд в Ленинград оказывался чем-то неправильным, как если бы, уехав, он убежал, или попытался убежать, от судьбы и взбунтовался против предложенной ему жизни. На роду, короче, было ему написано никуда не уезжать, а он взял, да уехал – вот было мое чувство, едва ли сознаваемое мною самим. Поэтому его возвращение, через полтора года, оказывалось в моих глазах, наоборот, как бы восстановлением естественного порядка вещей – вновь, впрочем, нарушенного, и уже навсегда, через почти десять лет, в совсем другую эпоху и моей, и его жизни, а заодно и в другую историческую эпоху, приближение которой он предчувствовал, а я нет, поскольку вообще об истории в ту пору не думал. Что мне самому на роду написано переезжать с места на место, из одной квартиры, одного города, одной страны в другую квартиру, страну, другой город, я как раз предчувствовал, даже, наверное, сознавал, хотя вовсе не рассматривал, разумеется, состоявшийся, наконец, в результате очень сложной, совершенно советской, с подкупом чиновников и содействием подпольных посредников, обменной операции переезд мой в Камергерский переулок, тогда проезд МХАТа, или проезд МХАТ, или Художественного театра, как первый в ряду бесконечных моих переездов, пролог будущей бездомности (каковым он, конечно же, и являлся), но рассматривал его как начало новой, взрослой, свободной жизни (каковым он тоже, конечно, был) – и как настоящее начало моей литературной авантюры, меня как писателя, поскольку, едва покинув родительский дом, переселившись в эту очень своеобразно спланированную квартиру, начал я (весной 1985 года) писать, наконец, уже довольно давно задуманный мною роман, который писал затем до 1994 года, закончив его уже в Германии, в Эйхштетте, и после довольно долгих мытарств опубликовав в 1998 году под не совсем, до сих пор, устраивающим меня названием «Макс», роман, как уже сказано выше, в котором темы моей молодости сделались темами литературными, нерешенности (неразрешимости) этой молодости, изрядно меня помучившие, превратились в предмет описания, элемент сюжета, часть фабулы, каковая возможность писать о них и оказалась, конечно, единственным доступным мне способом как-то справиться и совладать с ними, заменив их совсем другими, куда более радостными тревогами, поисками решений литературных, выходов из тех тупиков, в которые вновь и вновь забредали, конечно, мои фразы и фабульные ходы, как забредают в них все ходы и все фразы, успехами и неудачами моего сочинительства. Не потому, наверное, начал я всерьез писать после переезда в эту квартиру, что не мог писать в другом каком-нибудь

месте, а потому, еще раз, что этот переезд был как бы чертою, отделившей меня от уже кончавшейся юности, уже готовой, от меня в свою очередь отступая, превратиться в слова, предложения, периоды... Квартира же состояла из двух смежных, совершенно одинаковых, как левая и правая рука, комнат, выходивших окнами в проезд МХАТа и, под углом, на Тверскую, тогдашнюю улицу Горького, поднимавшуюся вверх, где замершие у светофора машины, как только включался зеленый свет, с остервенением устремлялись к Пушкинской площади, я же мог судить о привычках сего светофора по дребезжанию стекол в огромных, плохо закрывавшихся рамах, с полузамазанными краской шпингалетами, что придавало жизни некий ритм, который я теперь вряд ли бы сумел выдержать, и даже тогда выдерживал, я помню, с трудом, с еще большим трудом выдерживая, или вообще не выдерживая потрясающий звуковой фон в дни праздников, в дни народных торжеств и гуляний, например и в особенности – в кроваво-слякотные дни большевицкого переворота, когда на Центральном телеграфе устанавливалось светящееся табло, вспыхивавшее революционными гвоздичками, звездочками и через каждые восемнадцать минут (однажды я засек время) с железной настойчивостью сообщавшее мне и миру, что Ленин такой молодой и что юный Октябрь впереди – технические возможности Октября были, как все мы знаем, даже в старости весьма ограничены, но, увы, настойчивости хватило ему больше, чем на восемнадцать минут. Шумов и звуков вообще было много; одинаковые, как левая и правая рука, комнаты отделены были друг от друга пропускавшей все шепоты, шорохи перегородкой, как пропускали их и перегородки между самими квартирами, так что в левой комнате я мог каждую третью ночь, иногда три ночи подряд, слышать громкоголосогитарную пьянку разгульных соседей, а в правой крики полубезумного еврейского мальчика, непрерывными ночными скандалами с ума сводившего, то есть приближавшего, если угодно, к собственному состоянию, свою затурканную маму с усиками и бабушку, старую, уже почти по-буденновски усатую большевичку, которая, жалуясь на жизнь и ропща на судьбу, сказала мне как-то у лифта, что все думает, думает и, нет, все никак не может понять, за что ей послано такое наказание, она ведь уже пятьдесят лет в партии, у меня же, несмотря на всю перестройку, не достало-таки смелости, или наглости, ответить ей, что вот именно за это, *сударыня*. Кроме упомянутых комнат почти ничего, кстати, и не было в странной этой квартире; была крошечная безоконная ванная и еще более крошечная, тоже безоконная кухня, по своему происхождению обыкновенный чулан – кухонь в этом в конце двадцатых годов спланированном и в тридцатом, кажется, построенном доме поначалу не предполагалось вообще, но

предполагался совместный коммунистический быт, радостное питание шариков-винтиков в диетической столовой, смерть буржуйам, светлое будущее. Семь лет, там прожитые, были, наверное, самыми счастливыми в моей жизни.

17.

В Ленинграде, если память не изменяет мне, мы встречались с Двигубским два раза, зимой 1984-85 года и осенью 1985, незадолго до его возвращения в Москву; оба раза на Невском проспекте, у выхода из метро, где оба раза была, разумеется, серая толчея, под ногами, в первый приезд мой, снежное грязное месиво, склизкий снег в темнеющем воздухе. Он жил где-то на Петроградской стороне, у своей тетки, сестры отца, женщины, судя по всему, что я слышал о ней, замечательной; ни в первый, ни во второй мой приезд мне, увы, не удалось познакомиться с ней, и домой к ней – к себе – Двигубский не приглашал меня, почему – я не знаю, но совершенно так же, думаю я теперь, как он не приглашал меня впоследствии к себе домой в Дижоне, в Париже, причем само собой разумелось, конечно, что если бы мне негде было ночевать, я мог бы и там, и там переночевать у него, но ночевать всякий раз было где, а в гости просто так он не звал. Получается, что я только в Москве и бывал у него дома. В Москве и был дом, как сказано. В Ленинграде он оба раза посматривал на часы, болтавшиеся на его темном запястье, и, казалось, с трудом мог сосредоточиться на разговоре со мной, хотя явно был рад меня видеть. О своей работе в историческом архиве говорил он поначалу совсем неохотно, затем, как будто поневоле и с трудом оживляясь, начал, я помню, рассказывать, что занимается как раз фондом графа Валуева, председателя комитета министров при Александре Втором, одного из, как улыбнувшись он выразился, творцов великих реформ, замечательного, вообще, человека. Валуев – мой герой, сказал он, я помню. Вот как? Да, именно так. Он, П.Д., еще напишет о нем когда-нибудь книгу, да, большую книгу об эпохе Александра Второго, в центре которой будет стоять граф Петр Александрович Валуев, его герой, замечательный человек, создатель русского земства, блистательный публицист и никакой, конечно, писатель, один из умнейших и образованнейших людей своей особенной, нам, нынешним, слишком плохо понятной эпохи. Говорил он все это через силу, без всякого увлечения, посматривая на часы и думая, казалось мне, о чем-то другом, постороннем и неприятном. А известно ли мне, что Валуев был зятем Вяземского? Мне о Валуеве ровным счетом ничего не было в ту пору известно. Да, зятем Вяземского, и жил в его доме. А знаю ли я, что молодой Валуев не раз встречался и с Пушкиным? Нет, не знаю? А что в ранних рукописях

«Капитанской дочки» Гринев зовется Валуевым, я тоже, может быть, слышу впервые? Валуев не прототип Гринева, конечно, а все-таки Пушкин о нем, видимо, думал, думал, может быть, что изобразит вот такого молодого человека, каким в 1836 году был Валуев... На работу, как выяснилось, устроила П.Д., воспользовавшись своим именем и связями в университетских кругах, вышеупомянутая его тетка, Наталья Павловна Двигубская, старшая сестра Константина Павловича, вообще, как он рассказывал мне впоследствии, оказавшая такое влияние на всю его жизнь, какого никто другой, быть может, не оказал, в частности, как рассказывал он (много позже, в Провансе, в Париже) еще в детстве увлекшая его историей, историей, еще раз – в частности, Средних веков, и в особенной частности Средних веков поздних, французско-бургундских, которыми занималась она целую долгую, трудную и одинокую жизнь, так что, в 1994 году оказавшись в Дижоне, он, по его словам, чувствовал себя так, как будто приехал если не домой, то в издавна знакомое, в семейных преданиях почти такую же роль игравшее место, какую в жизни многих из нас, родившихся после войны, играет, например, Ташкент, место эвакуации, нищенства и спасения наших мам и теток, что не помешало ему, впрочем, очень скоро сбежать оттуда в Париж, куда, кстати, Наталья Павловна начала ездить в середине восьмидесятых по два-три раза в год, чуть ли не жить там у кого-то из их, как оказалось, весьма многочисленных, в перестройку выплывших из забвения родственников, каковое обстоятельство, говорил мне впоследствии Двигубский, отчасти определило и его собственное решение не задерживаться в бургундской провинции. Все это, зимой 1984-85, было еще, как говорят немцы, музыкой будущего, *Zukunftsmusik*, музыкой, которую мы уже, впрочем, слышали, уже могли расслышать, наверное, но еще совсем издалека, совсем смутно, сворачивая в тот день с Невского на Екатерининский канал (как называл его упорно Двигубский), спускаясь, по стертой лестнице, в ту полуподвальную пельменную, куда я довольно часто заходил в мои питерские приезды, где на полу зимой всегда была грязно-снежная жижа, вечно собираемая какой-нибудь сгорбленной злобной старухой, существом уже откровенно мифологическим, с помощью вонючей серой тряпки, намотанной на швабру, причем бранящаяся эринния всякий раз старалась погнать волну этой грязи прямо на посетителей, тебе и вот тебе прямо под ноги, пельмени же, со сметаной или с маслом и уксусом, всякий раз казались удивительно вкусными, чему объяснением служить может, полагаю я, только наша тогдашняя глупость, молодость, здоровый желудок; Париж (подхватывая повисшую тему) присутствовал, хотя и недостижимый, в нашей жизни с самого детства; те немногие родственники, к примеру, с которыми отец

и тетка П.Д. (отец очень тайно, тетка же ничего не боялась) поддерживали отношения и до начала конца Софьи Власьевны, присылали, в частности, вновь и вновь каких-нибудь своих собственных, более или менее случайно оказавшихся в Совдепии знакомых, с дарами и с просьбой этих знакомых пригреть, пригласить на чай, сводить в Эрмитаж, в Третьяковку, в пельменную. Вот в эту пельменную? Ну, конечно. Девушки были в восторге... Речь шла о двух студентках, я помню, с которыми мы должны были встретиться и действительно встретились в этот день, погуляв сначала вдвоем по Михайловскому парку, по Летнему саду, по ветреной набережной, причем я, в свою очередь, рассказывал ему, конечно, о своем наметившемся переезде в Камергерский переулок и, впервые, кажется, о своих литературных планах, о задуманном мною романе; Двигубский, поживавшийся, поправлявший свою мохнатую шапку (логическое развитие шевелюры...), болтавший плохо привинченными руками, слушал меня внимательно, но с вниманием, не скажу наигранным, скорей принужденным, вниманием, к которому он вновь и вновь принуждал себя, отвлекаемый, казалось мне, какими-то своими собственными, тревожными мыслями, какой-то внутренней своею заботой, отделявшей его, так мне казалось, и от всего того чудесного, всякий раз по-новому и вновь восхитительного, пускай наизусть нам знакомого, что возникало, как сбывшееся обещание, вокруг, от порфировой вазы у входа в Летний сад, возле которой я через двадцать лет, в 2005 году, должен был встретить А. и которая в январе 2008 году вдруг треснула и раскололась, не выдержав, в конце концов, русских медвежьих морозов, от деревянных ящиков, скрывающих статуи, от бледно-зеленого неба над высокими кронами, от Ростральных колонн за ледяной, в торосах, пустыней Невы. Из двух француженок, с которыми встретились мы у Эрмитажа, одна оказалась очень хорошенькой, бело-розовой, фламандско-рубенсовской, спокойно-веселой, вторая же являла собою, скорее, тип гадкого утенка, с большим мокрым ртом и отчетливыми складками кожи на шелушащемся лбу; впоследствии выяснилось, что вторая, тип гадкого утенка, происходила из знатнейшей, и сознанием своей знатности преисполненной до кончиков ногтей на ногах и последнего кресла в гостиной, французской семьи, что дед ее был сенатор, дядя министр, и что жила она в первом округе, на Сите, в двух шагах от Пон-Неф, где я и бывал у нее в гостях, впервые в 1988 году оказавшись в Париже, в устроенной для нее родителями в том, по сути дела, дворце, где все они обитали, отдельной, по-парижски все-таки очень маленькой квартирке с видом на Сену, по которой все время проходили, конечно, прогулочные катера, Bateaux Mouches, бросавшие свои разноцветные отсветы на стены и стулья; а

рубенсовская блондинка была дочерью провинциального адвоката, вполне, наверное, богатого, владевшего и акциями, небось, и недвижимостью, но непреодолимой пропастью отделенного все-таки от родителей дочерней подруги. В тот зимний, и совсем нехолодный, день в Ленинграде они обе предстали перед нами замотанными во все шарфы, которые, по-видимому, им удалось раздобыть, по четыре шарфа на каждую, так что, думаю я теперь, вечер мог бы быть описан как процесс постепенного разматывания и затем, вновь, заматывания всех этих шарфов, каковое за- и разматывание и составляло, в сущности, основное его содержание. Разговор был светский, с редкими поползновениями на литературность. Вы любите Пруста? Обожаю... *J'adore Proust, tout simplement.* Куда мы пошли от Эрмитажа, я уже не могу вспомнить теперь, помню только, что присоединился к нам вскорости, со своей невестой-англичанкой, совершенно невыразительной, какой-то, тоже напрочь забытый мною, не могу даже вспомнить его имени, питерский приятель Двигубского, и что, теперь уже вшестером, поехали мы к еще какому-то, очень питерскому, персонажу, длинноволосому некоему Диме, жившему в Парголово и занимавшемуся фотографией, а также игрой на японской флейте сякухати. Ехать к нему надо было с Финляндского вокзала на электричке; за окнами сразу сгустилась снежная ночь; огни пустились мелькать там и сям, под скрип и грохот состава; за две остановки до нашей в вагон вошло вдруг человек двадцать матросов в черных бушлатах с автоматами Калашникова в руках. Ни до, ни после, ни в одной электричке, ничего подобного я не видел. Они шумно расселись по деревянным лавкам, поставив автоматы между ног, и тут же, все как один, закрыли глаза. Куда и почему их, с этими автоматами, на обычной электричке перевозили, никто из нас, конечно, не знал и никогда уже не узнает. Мы постарались, как смогли, успокоить притихших француженок, побледневшую англичанку. Матросам явно хотелось только спать, спать и спать. Все равно было страшно.

18.

На вторую нашу встречу, осенью 1985 года, Двигубский явился с девушкой по имени Света, студенткой, в ту пору, медицинского института, впоследствии его женой, теперь вдовой, матерью его дочери Ольги, теперь парижанки, сотрудницы «Лионского кредита». Под ногами, на этот раз, был мокрый асфальт и мокрые листья; небо было рваное, питерское, со стальным блеском в прорезях облаков. Почему-то мы пошли по колоннаде Казанского собора; я подумал, я помню, что никаких Свет среди наших знакомых не было, и что нужно было очень постараться, чтобы найти девушку с таким

советским именем, не встречающимся в святцах. Девушка показалась мне смущенной и никакой, была она в ту пору довольно хорошенькая, круглолицая, не полная и не худенькая, в польском песочном плащике и трогательной цветастой косынке, в вишневого цвета туфельках и с вишневой же сумочкой, заглядывая в которую в поисках чего-то, чего никогда в ней не было, она старалась не щелкнуть блестящим замочком, но незаметно закрыть его, не привлекая к себе внимания, поэтому медленно, медленно, не доводя дело до рокового щелчка, сдавливала обеими руками уже прижатые друг к другу половины этой скромной маленькой сумочки, чуть оттопыривая при этом нижнюю губку, с непоколебимым тихим терпеньем. Самое поразительное было для меня то, что Двигубский взял ее с собою, не предупредив меня об этом заранее; ему, видно, очень важно было мне ее показать, меня, может быть, удивить. Обращался он с ней с какой-то умиленной предупредительностью. Еще я подумал, я помню, что он даже и не попытался, наверное, влюбить в себя одну из тех двух, к примеру, француженок, с которыми знакомил меня в мой прошлый приезд, как на его месте попыталось бы сделать большинство наших общих приятелей, считавших, что брак не роскошь, а средство передвижения, и что мне это очень, конечно, нравится. Он предложил съездить в Царское. В Пушкин, переспросила Светлана. Да, в Царское, ответил Двигубский. Им предстояло прожить вместе двадцать два года. Это я теперь научился разговаривать с незнакомыми людьми, расспрашивая их об их жизни; почти любой человек говорит о себе охотно. Тогда я сам был смущен и не знал, что сказать. Двигубский тоже не старался поддержать разговор. Почти молча доехали мы до вокзала, когда-то Царкосельского, теперь Витебского, входя в который я всякий раз думал, и до сих пор, входя в него, думаю, разумеется, об Анненском; имя, Светой в тот день услышанное впервые. Ахматову и Блока она, конечно, читала. В кассовом окошечке сидела специально для нас подобранная, из всех кассовых злыден самая злющая, остроносая крашеная блондинка. Три билета – куда? Так и говорите, что в Пушкин, молодой человек... В глазах ее читалось одно-единственное, зато заветнейшее, желание – чтобы мы вот сейчас, сию минуту, все трое, в мученьях подошли. Вот вам и поедем в Царское Село... И улыбнемся мы сквозь слезы... И мне, и ему ничего не стоило, конечно, заполнить весь перегон до Царского блаженной россыпью любимых цитат; Царское и есть, собственно, одна большая цитата. Его мысль двигалась явно в другую сторону; понизив голос, заговорил он, снова, о Гражданской войне, о революции, о гибели царской семьи, о страшной гибели великого князя Михаила Александровича, содержавшегося, впрочем и в отличие от Николая

Второго, не в Царском, но в Гатчине, затем перевезенного в Пермь и в июне восемнадцатого года убитого там. Между прочим, недавно читал он потрясающие воспоминания графа Валентина Платоновича Зубова, создателя знаменитого Зубовского Института Искусств на Исаакиевской площади и прямого потомка екатерининского позднего фаворита. Воспоминания эти вышли в Мюнхене, в начале шестидесятых годов; сам Зубов, между прочим, скончался только в 1969 году, уже при нашей с вами жизни, Макушинский, а вот мы сидим в электричке, и – что? И ничего. Просто странно все это... Граф Зубов, как бы то ни было, хорошо знавший великого князя, рассказывает в этих воспоминаниях, ссылаясь, впрочем, на Сергея Мельгунова, знаменитого историка, книгу которого о красном терроре (тут он еще сильнее понизил свой и так низкий голос) вы, конечно, читали (я, разумеется, не читал), что Михаила Александровича, более или менее свободно жившего в Перми в гостинице, какие-то местные бойкие большевички в один непрекрасный день просто выкрали, вместе с его секретарем англичанином Джонсоном, выдав себя за переодетых белых, разыграв, следовательно, перед великим князем сцену освобождения, а перед всем миром сцену побега, так что, скажем, граф Зубов, еще некоторое время верил, что Михаил, действительно, бежал из Перми и находится, как сказано в тексте воспоминаний, в гостях у Сиамского короля. У какого Сиамского короля? А вот он, Двигубский, как раз и не знает, у какого Сиамского короля, но есть в этом, согласитесь, какая-то великолепная и трагическая нота абсурда, вообще свойственная всей русской истории... На самом же деле великого князя и Джонсона просто отвезли в соседний лесок и там расстреляли. Я, конечно, не вспомнил, сидя в той электричке, наш разговор на Тверском бульваре, четыре с половиною года тому назад. У Светы, при ближайшем рассмотрении, глаза оказались очень зеленые, очень кошачьи; смотрели они на него в тот день с каким-то восхищенным изумлением, как если бы она, Света, все пыталась и вот все никак не могла понять, откуда взялся в ее жизни такой человек, как вообще может быть такой человек, способный о таком и так говорить... В вагоне, на сей раз, ни бушлатов, ни бескозырок не было; через проход от нас сидели, конечно, как сидят они всегда и во всех электричках, пухло-понурые тетки с авоськами, занимавшие все шесть, друг к другу повернутых мест, внучки и правнучки тех других, революционных матросов. Каким образом попали к нему в руки упомянутые им воспоминания графа Зубова («Страдные годы России»), я, разумеется, не спросил у Двигубского; он сам рассказал мне, что познакомился здесь, в Питере, с совершенно замечательным человеком, морским офицером, капитаном какого-то, второго, что ли, ранга, у которого

они со Светой (влюбленным взглядом подтвердившей истинность его слов) были позавчера в гостях, на улице Пестеля, во время какого-то визита ему и удалось у капитана выпросить оные воспоминания на пару дней почитать. Его откровенность меня поразила, я помню; на мой недоуменно-вопросительный, в Светину сторону, взгляд, ответил он успокоительным кивком, быстрым взлетом и медленным, со счастливой улыбкой, опусканием ресниц. Что до его нового замечательного знакомого (кавторанга? не удержался я от иронических скобок...), вот именно: кавторанга, то кавторанг этот работает в каком-то закрытом, таинственном, военно-морском институте, так называемом «ящике», где советская власть производит, на страх врагам, то ли субмарины, то ли торпеды, - и бесконечно страдает от этой своей деятельности, свободное же время посвящает прежде всего генеалогии, генеалогии, прежде всего, русских, хотя и не только русских дворянских фамилий, и, вообще, истории, прежде всего, опять-таки, русской, в которой его, кавторанга, что ему, Двигубскому, более чем понятно, интересуют не общие схемы и выводы, черт бы их все побрал, а только живые лица, подлинные события, анекдоты минувших дней в лучшем, пушкинском значении этого слова... Что же до самой нашей поездки, то она сливается теперь, разумеется, с другими какими-то, в разные годы и с разными людьми, поездками в Царское, в Павловск, в Павловск и в Царское, в Царское и, наоборот, потом в Павловск; от этой, со Светланой и Двигубским, на всю жизнь остались в памяти, в нашей общей, в бессмертном идиотизме своем, плакаты, развешанные какой-то остроумной пожарной частью в глубине любимого парка, приюта Муз, за всеми прудами, предлагавшие сознательным гражданам самой счастливой страны остерегаться адского пламени, не играть с огнем и геенной, соблюдать, да простят меня Аониды, правила противопожарной, да простит меня Аполлон, безопасности. На одном из этих плакатов изображен был хмельной малый с перекошенной счастливою мордой, красным носом картошкой, с бутылкою водки в одной и зажженной спичкой в другой корявой руке; надпись под ним гласила: «В хмелю веселый был Назар – пока не сделал он пожар!». На соседнем плакате имелась надпись, не менее замечательная: «Вспомнил ночью лишь Овечкин, что в гараже оставил свечку». Каковой Овечкин изображен был в виде кувшиннорылого мужика в полосатой пижаме, приподнявшегося, вращая выпученными зрачками, на смятой постели, рядом с мирно спящей женою; за окном уже полыхало пламя мировой катастрофы. Двигубский, как было сказано, имел способность хохотать сгибаясь, на грани слома нескладной его фигуры. Вот вам, говорил он, давась хохотом, вот вам и поэзия Царского Села... Здесь столько лир,

заметил я в свою очередь, повешено на ветки... Но и моей, и моей, хохотал сгибаясь Двигубский, как будто, как будто... Другого места не нашли, сказала (увы, всерьез) Света. Через полгода Двигубский возвратился в Москву, еще через месяц состоялось, у них дома, на Академической, некое подобие свадьбы, на которую его тетка из Питера, выбор его не одобрявшая, отказалась приехать, так что я, увы, и в этот раз не познакомился с ней, Светина же сторона была представлена хмурым дедушкой в орденах, не запомнившимся отцом и мамой, районным врачом, доброй и миловидной, искренне готовой полюбить своего ученого долговязого зятя, но все-таки с непреодолимым изумлением смотревшей на всю эту компанию диссидентов и отщепенцев, не способных даже крикнуть «горько!», как следует.

19.

С 1980 по 1992 я ездил каждое лето, за исключением одного, иногда и зимою, в маленькую, теперь, говорят, разросшуюся, деревню в Латвии, одно из лучших мест на этой земле, в которое, начав сочинять роман, я поселил своего рассказчика, чтобы он там, значит, жил, и зимою, и летом, и оттуда, из этого как бы абстрактного места у моря (море всегда абстрактно...), всматриваясь в некое прошлое, казавшееся ему и мне очень длинным, теперь до смешного сократившееся и все сокращающееся по мере превращения в прошлое тогдашнего будущего, описывал некую жизнь в некоем городе, городе, который я назвал все же Москвою, но – в своем стремлении к трансцендентальной ясности страшась конкретного, знаков времени и знаков судьбы – не оставил в нем ни одного названия – ни одной улицы, ни одного переулка – точно так же, как безымянной оставил я, на тех страницах, и саму эту маленькую, за дюной, как я писал тогда, притаившуюся деревушку, почему, после некоторых колебаний, я оставляю ее безымянной и здесь, на этих, хотя географическое положение этой теперь вовсе уже не затерянной, по слухам, между дюнами и лесами, но давным-давно освоенной дачниками, застроенной виллами, по выходным дням вообще, говорят, переполненной крикливыми пляжниками деревни определить чрезвычайно легко – не знаю, как добираются до нее теперь, в мое время надо было доехать на электричке до станции Слока и там, на так называемом автовокзале, впихнуться в безнадежно набитый автобус, и ехать вдоль моря – или сесть на автобус в Риге, автобус дальний и хороший, идущий в места неведомые, потому что тогда еще пограничные, простым советским гражданам, вроде меня, не доступные, с пленительными названиями – Роя, Колка, Мазирбе, Мерсрагс, не доезжая до них сойти, оказаться, когда звук автобуса

стихнет за поворотом, в тишине, на песчаной обочине, на обозначенной лишь скамейкой и столбиком остановке. Где и оказался однажды, всего однажды, Двигубский, приехавший ко мне летом 1987 года, на один день. Он был, как выяснилось, в Риге, с отцом. Куда приехали они, потому что неожиданно скончалась его рижская двоюродная тетка... сколько же у вас теток? спросил я по дороге от автобусной остановке к тому дому, в котором снимал тогда комнату. У него много теток и много дядей, двоюродных и троюродных, в разных странах и городах. Это его двоюродная тетка по отцу, двоюродная сестра Константина Павловича, передававшего мне привет и сожалевшего, что он не смог тоже приехать. Ей было уже много лет, этой тетке, она гораздо старше его отца. А вот сейчас он собирается рассказать мне кое-что... поразительное; поразительное; вы не поверите. Я обратил его внимание на аиста, одиноко и неподвижно стоявшего в своем круглом, мохнатом, с торчащими в разные стороны соломинами, гнезде, со всех сторон охваченном бледной балтийскою синевой. День был июльский, не жаркий. На краю неба, над дальним лесом, собирались и, собираясь, сияли изо всех сил, во всю отпущенную им белизну, пухлые, но не рыхлые, наоборот – какие-то на вид очень твердые, уверенные в себе облака. Эта тетка была единственным в их семье человеком вполне советским, идейным, партийным, за что он, Павел, ее с детства терпеть не мог, разумеется. De mortibus только bene, как все мы знаем, но все-таки ее приезды в Москву были для него мучением. А между тем, она выросла в эмиграции, здесь, в Латвии, в Риге. Ее вывезли в восемнадцатом году из России, ребенком. И она не нашла здесь ничего лучшего, чем сделаться коммунисткой. И помогала, *sit venia verba*, устанавливая в Прибалтике советскую власть. Потом вышла замуж за партийного товарища, присланного откуда-то из-под Саратова, чтобы здесь, значит, расправляться с пережитками буржуазного прошлого, и сделала вместе с ним умеренно-удачную, марксистско-ленинскую карьеру. На старости лет читала лекции каким-то, чтобы черти разорвали их, комсомольцам. И вот мы вчера разбираем ее вещи, говорил Двигубский в необычном для него возбуждении, разбираем, знаете ли, ее вещи, в ее рижской квартире, за Даугавой, и... что же? И вот видим, что платяной шкаф какой-то уж очень глубокий, стучим по задней фанерной стенке, понимаем, что за ней что-то есть, отрываем фанеру, и... Золото и бриллианты? спросил я. Нет, друг мой, не золото и даже не бриллианты, а книги, вот что! но какие книги? эмигрантские книги, вот какие, русские книги, изданные в эмиграции. Четыре номера «Современных записок», журнал «Путь», затем Алданов в огромном количестве, Бунин, Ремизов, даже «Очерки русской смуты» Деникина. То есть все это, изданное до

сорокового года и здесь, в Риге, как вы понимаете, до сорокового же года свободно и продававшееся, она не выкинула, ни в сороковом году, когда пришли красные, ни в сорок четвертом, когда они возвратились, ни потом, ни в сорок девятом, когда за такие книги ее отправили бы прямиком в Магадан, никогда. Вы можете это объяснить, или не можете? Я честно ответил, что не могу. То есть, сказал Двигубский, еще раз: вот эта женщина, преклонявшаяся перед Сталиным и презиравшая Хрущева; страшно сказать, но кого-то, может быть, и сама выславшая в Сибирь, если не в сороковом году, то сразу после войны; эта советская тетя, всерьез пытавшаяся обсуждать со мной решения очередного съезда и постановления очередного пленума; говорившая несусветные глупости на тему о том, что вот *они* были энтузиасты, идеалисты, а мы, *молодежь*, все такие циники, ни во что не верим, раболепствуем перед Западом и слушаем ко всему прочему еще каких-то патлатых *Битлов* (меня всегда особенно умиляла, кстати, эта любовь к идеализму и призыв к вере в устах убежденных материалистов, знатоков политэкономии, читателей «Анти-Дюринга»...); вот эта моя дурацкая тетка, приезжавшая к нам раз в два года, всех учившая жить, на *grande-mère* и на маму смотревшая, вытаращив глаза, как на завзятых антисоветчиц, и, чего уж ей никак невозможно было простить, крикливо болевшая за советскую команду, когда по телевизору показывали хоккей (а я, как вы догадываетесь, готов был чем угодно пожертвовать, чтобы канадцы уже выиграли, наконец, и чтобы Фишер съел всех ферзей Спасского вместе с самим Спасским и с шахматною доскою...); вот, значит, эта женщина, говорил Двигубский, все более возбуждаясь, хранит у себя целую долгую жизнь, в платяном шкафу за фанеркой, чистые, как слюда, образчики чудесной, прекрасной, обожаемой до слез белоэмигрантской литературы. А! Можете вы это понять или нет? Вы не можете этого понять, говорил Двигубский с какой-то уже почти торжествующей интонацией, не можете, и никто не может, и я не могу. В память о ком-то? предположил я. В память о родителях, в память о прошлом? В память о прошлом она хранила письма и фотографии, ответил Двигубский; кстати, интереснейшие; мы их тоже нашли. И собрание каких-то трогательных фарфоровых кособоких игрушек... И еще какие-то брошки, которых, кажется мне, сама не носила... Но книги! Книги по всем законам истмата ей полагалось выкинуть, сжечь, бросить в Двину... А для меня это подарок, сказал он с той смущенной интонацией, которая бывала ему свойственна, когда речь шла о важных для него вещах. Для меня это просто неожиданный и необыкновенный подарок, сказал он, не знаю уж, кем посланный мне и откуда... Мы дошли до той комнаты, той, точнее, мансарды, которую в то лето снимал я; пошли к

моря, конечно. Какое счастье все-таки идти по этому горячему на солнце, в тени прохладному песку босиком, как нежно покалывают сосновые иглы на той тропинке, с ее наизусть заученными корнями, по которой мы поднимаемся все наверх и наверх, чтобы вдруг увидеть его, за соснами – море, тоже как будто уходящее вверх, к горизонту, или, наоборот, спускающееся оттуда, от горизонта, к нам, смертным, к полоске пляжа, окаймленной прибоем, всем своим слепящим сиянием. Мне было двадцать семь лет тогда, ему двадцать девять. Я был здесь на своей территории; я показывал ему, на своей территории, изгибы этих тропинок, перебегающих через дюны; колкую, острую, почти стального отлива, траву между дюнами и собственно пляжем; дальний мыс слева; и справа – еще более дальний; крошечные домики в соседней, за дюнами почему-то не спрятавшейся, или не целиком спрятавшейся деревушке километрах в пяти от нашей – домики, которые в ясный день видны были так отчетливо, с их плоскими крышами, каждый в отдельности, как если бы кто-то нарисовал их в прозрачном воздухе, на волшебной бумаге, не в пространстве только, но во времени тоже, для меня теперешнего, глядящего на них из невообразимого тогда будущего; колышки, наконец, оставшиеся от разрушенного когда-то, в доисторическую эпоху, причала, далеко ушедшие в море, каждый колышек со своими водорослями, тоже какими-то доисторическими, колышущимися, как борода чародея, и каждый со своим отражением, вновь и вновь разрушаемым волнами, вновь и вновь, в промежутке между двумя накатами прибоя, обретающим прежние очертания...; приметы и вехи моего заколдованного пейзажа. Еще, я помню, несколько раз заговаривал он, все в том же возбуждении, о книгах, доставшихся ему от коммунистической тетки, о потрясающих, в частности и как он выразился, «Картинах октябрьской революции» Алданова, которые читал он всю ночь, отчего ужасно, конечно, не выспался, среди каких картин есть, кстати, замечательный, легкой и уверенной кистью набросанный портрет неизвестного вам батьки Махно – Махно, говорил Двигубский, снимая, в свою очередь, ботинки, городские и не очень какие-то летние, стаскивая, соответственно, и носки, белыми, плоскими и неуверенными ступнями пробуя прохладную воду, – Махно, говорил он, которого Алданов рисует как бы на грозном и все же слегка комическом фоне сложившихся вокруг него легенд, представляющих его прямым потомком былинных русских разбойников, Емелек и Стенек, так что в этих легендах о Махно не обошлось, понятное дело, и без персидской княжны – какой-то, с характерной поправкой на время действия, роковой еврейки Сони, бывшей, по одним сведениям, злым, по другим же, совсем наоборот, добрым гением батьки, то ли

толкавшим его на добавочные зверства, то ли как раз удерживавшим от зверств... Наконец, он успокоился; посмотрел, как будто с удивлением, вокруг себя, на сосны, и дюны, и колышки; на дальний мыс слева, и справа – еще более дальний; сказал вдруг: как хорошо здесь. Чайка, по своим делам летевшая мимо колышков, в сторону левого мыса, взмахнула крыльями с той отчетливой плавностью, с той легкой замедленностью, которая свойственна всем совершенным и простым движениям в природе, с той же, с какой взлетали, бывало, его, двигубские, брови, с какой и взлетели они, конечно, когда он сказал, глядя на море: как хорошо здесь, – и как если бы его чуть вытянутые, египетские глаза были его собственным, тайным морем, или отражением моря, над которым, следовательно, эти незабвенные брови и взлетали, и вновь опускались, и опять взлетали, целую жизнь. Еще двадцать лет оставалось ему на земле. В мансарде, куда мы вернулись, он попросил меня, к некоторому моему удивлению, прочитать ему что-нибудь из написанного мною за лето; из моей тогдашней, отрешенной, как море, прозы; что я и сделал (возвращаясь к теперешней), после того как подкрепились мы местной копченой рыбешкой, местным тминным сыром и местным перцовым печением – чудесными созданиями латышского гастрономического гения, в те скудные годы все-таки иногда продававшимися в придорожном, плоском и пустом магазинчике. Я познакомил его со своими друзьями, как и я сам, приезжавшими каждое лето в благословенную *нашу* деревню; надеюсь, они вспомнят его, если будут читать эти строки. Вечером, в тех долгих северных сумерках, которые как будто и не собираются заканчиваться, так что и поверить невозможно, что все-таки наступит когда-нибудь – ночь, в этих бесконечных северных сумерках, которые все длятся и тянутся, размывая очертания предметов, деревьев, людей и мыслей, розовой, и красной, и фиолетовой, и затем уже только сизой сужающейся чертою медля на западе, над дальним, уже черным лесом, из-за которого, смутно серая, выбегало шоссе и должен был выехать, но упорно не выезжал потерявшийся, очевидно, в этих сумерках последний автобус, – вечером, теряясь в этих сумерках тоже, мы снова стояли на обозначенной скамейкой и столбиком остановке, и он сказал мне, я помню, что прекрасно меня понимает и что если бы я нашел подходящее жилье, он и сам приехал бы сюда следующим летом, вместе со Светой и Оленькой, на месяц, почему бы и нет, и я сказал, что конечно же поищу для них комнату или две, уже знаю, у кого спросить и как действовать, и – конечно же – он не приехал ни на другой год, ни через два года; и когда автобус, выплывший из уже почти темноты, в темноту же и удалился, его задние красные фары, еще долго различимые среди ночи, казались последними, уже самыми последними

отсветами уже погасшего, почти погасшего, совсем погасшего, над дальним лесом, заката. Все это теперь для меня цитаты – из другого текста, из другой жизни.

20.

После его возвращения из Ленинграда, женитьбы, рождения дочери мы стали реже с ним видеться, реже звонить друг другу; таких проведенных вместе дней, какие бывали в начале восьмидесятых годов, и бывали, конечно, потом, в эмиграции, в конце девяностых и начале двухтысячных, в Гейдельберге или в Дижоне, таких дней в конце восьмидесятых годов я (за одним, во всяком случае, исключением, о котором чуть ниже) не помню; просматривая теперь мои дневники того времени, почти не нахожу в них упоминаний о встречах с Двигубским, из чего не следует, разумеется, что этих встреч не было, но следует, что я не считал нужным упоминать о них. А впрочем, я очень мало значения придавал в ту пору внешней жизни, как я называл ее, происходящему вокруг меня, до некоторой степени даже и происходящему со мною самим; мне важна была только моя внутренняя, подлинная, как мне казалось, несомненно моя и настоящая жизнь, все решительнее сводившаяся к писательству, к успеху или неудаче этого писательства, как будто отменявшего все прочие тревоги и обстоятельства, и не только тревоги и обстоятельства внешние, но до некоторой степени, как сказано, даже и внутренние, замененные тревогами сочинительства, возможностью, или невозможностью, дописать до конца вот эту фразу, вот эту страницу. Были благословенные дни в конце августа 1986 года, в балтийской моей деревне, уже покинутой друзьями и дачниками, когда осень вдруг словно распахнула пространство, раскрыла округу, желтыми, красными флажками и указателями разметила превращенный в ландкарту ландшафт, и в моих фразах тоже вдруг что-то распахнулось, раскрылось, в прозрачном воздухе, в солнечной тишине, шаги по листьям слышались в них, шорох листьев между запятой и тире, шепот осени между точкой и точкой, и далеко-далеко стало видно с до той поры не ведомых мне холмов. Где-то (irgendwo) есть застарелая вражда между жизнью и большой работой, сказано у Рильке. Тот, кто живет не работает, говорит Томас Манн, писатель, в сущности, должен как бы уже умереть, чтобы вполне быть творцом (um ganz ein Schaffender zu sein...). Нужно выбирать между совершенством жизни и совершенством в работе (perfection of the life, or of the work), пишет Йейтс. Максимы нашей молодости, от которых мы не отказываемся... Так называемой перестройки я постарался вообще не заметить. В конце концов, говорил я смеявшемуся в ответ Двигубскому, я никого не просил возвращать

меня обратно в историю, мне было и без истории хорошо. Мне это вневременное существование даже, если хотите знать, нравилось. Ведь это же была почти вечность. Никакого времени, только пространство. В котором у каждого из нас был свой угол. Сиди в своем углу и тихо занимайся, чем хочешь. Нет, придумали перестройку, не дают роман дописать... Смешно и даже немного стыдно признаваться теперь, но вся эта, действительно, перестройка, и вся эта, даже, гласность, не говорю уж об ускорении, эти какие-то съезды каких-то советов и депутатов, эта закулисная борьба между светлыми силами реформаторов и ненавистными силами реакции, все эти Лигачевы, Слюньковы и Чебриковы, и даже эти публикации в «Огоньке» и «Московских новостях», эти разоблачения сталинизма, про который мне все было и так понятно уже в детском саду, эти первые робкие попытки замахнуться на Ленина, которого я ненавидел с пеленок, – все это было для меня какой-то внешней, случайной, назойливой чепухой, никак, ни в малейшей мере не затрагивавшей *моей внутренней*, меня самого. У меня был план в жизни, сводившийся к простой формуле: написать роман и уехать. Напечатать его в Совдепии не представлялось мне, конечно, возможным, но написать его следовало все же в России, в покое привычной, хотя и убогой жизни – чтобы затем уже выйти в широкий мир и начать жизнь, действительно, новую, которая, полагал я, могла, особенно поначалу, и не оставить мне времени на писательство. Собственно, этот план, с поправкой на разные случайности, все-таки не позволившие мне закончить мой упорно разраставшийся опус в России, и привел меня впоследствии в эмиграцию, как если бы жизнь получила некое направление, которое уже не могла, как и я не мог, изменить, уже пошла по определенному пути, не в силах сойти с него, взяла разгон и приготовилась прыгнуть, или, воспользуемся другим сравнением, бежала уже по инерции, не глядя по сторонам, не обращая внимания на то, что совершалось слева от нее, что творилось справа. Потому открывшаяся вдруг возможность поехать, например, за границу – и вернуться, просто съездить в Париж – и вернуться, воспринималась мною, смешно и стыдно вспомнить, опять-таки, чуть ли не как некое досадное недоразумение, сбой моих замыслов, нарушение той чистой схемы, по которой я жил, что, впрочем, не помешало мне (все мы сотканы из противоречий, как все мы уже и заметили...) тут же, едва лишь первые дыры образовались в проржавевшем железном занавесе, отправиться (осенью 1988 года) в большое, первое и, конечно, самое лучшее, в такой первозданной свежести уже никогда не повторившееся путешествие по Франции и Германии. Двигубский в это время участвовал в создании «Мемориала» и публиковал статьи о русской истории в тех же «Московских новостях», в «Новом

мире» и «Знамени», в ленинградской «Звезде» и в рижском журнале «Родник». Конечно, сказал он мне как-то, вы, житель очарованного острова, с Калибаном и Ариэлем... кто Калибан, кто Ариэль? вставил я... конечно вы, продолжал он, на вашем очарованном острове видите все по-другому, смотрите издалека. А я живу здесь, на материке, в этом месте и в это время, и то, что здесь происходит, напрямую меня касается... В статьях своих он писал о неудаче либеральных реформ, Александровской и Столыпинской, о том, что в русской истории постоянно взаимодействуют, вернее – борются друг с другом, две, как выражался он, парадигмы, парадигма, скажем так, европейская, восходящая прежде всего к Великому Новгороду, и парадигма ориентальная, роковое наследие Золотой Орды, передавшей свой злосчастный тип государственности Московскому великому княжеству, затем царству, затем Петербургской, с некоторыми оговорками, империи, затем дальше... читатель прекрасно понимал, куда дальше, точнее, что дальше некуда...; писал, развивая свою мысль, что примерно два раза в столетие Россия имеет шанс из этой ориентальной, татаро-монгольской, подавляющей человека парадигмы, наконец, выскочить, от гипертрофированной государственности уйти к гражданскому обществу, но всякий раз останавливается, к несчастью, на полдороге, задумывается, оглядывается, колеблется, начинает, вновь и вновь, мечтать о своем особом пути, противопоставлять себя разлагающемуся якобы Западу, вообще чудить и куражиться – и в конце концов, поворачивает обратно, к будто бы сияющим, на самом деле зловещую тень бросающим на всю нашу жизнь куполам и вершинам исторического псевдовеличия. Если мы не уйдем от них на этот раз, то следующего шанса может уже и не быть... На письменном столе у Двигубского лежала теперь не одна какая-нибудь советская газетенка, но все выроставшая, с каждым из нечастых моих посещений, начинавшая уже крениться и расползаться кипа перестроечных публикаций, соревновавшаяся в силе и росте со стопкой книг на дальнем, у окна, конце этого к стене по-прежнему (с портретом Ключевского) приставленного стола, книг, среди которых выделялись, и мне запомнились, пожелтевшие тома «Архива русской революции» (1921 – 1937), не помню, доставшиеся ли от пресловутой рижской тетки (скорее всего...), или привезенные им, с бесстыдным пренебрежением к таможене (книгами в ту пору уже, впрочем, переставшей интересоваться, но интересовавшейся исключительно предметами возможной спекуляции, синтезаторами фирмы Yamaha и магнитофонами фирмы Sharp) из его собственного первого заграничного путешествия (в Англию, в 1989 году); «Архива русской революции», говорил он, без которого, занимаясь сей страшной

эпохой, обойтись вообще невозможно, он же, Двигубский, говорил он, отвечая на мой вопрос, не только продолжает заниматься ею для себя, что бы сие ни значило, но и пишет, вот как раз сейчас и сегодня, большую статью о белом движении и причинах поражения оногo, каковыe причины перечислить, конечно, нетрудно, будь то причины социальные, национальные или чисто военные, но говоря о которых, вот в этой, к примеру, для «Вопросов истории» предназначенной статье, он, Двигубский, старается и все-таки по-настоящему не может увидеть еще нечто... самое важное, может быть... что же? А вот просто увидеть, как это было, сказал он, взмахнув своими бровями, взлетевшими в очередной раз над морем, отраженным в его глазах. Вот причины войны, вот причины поражения... Цели воюющих сторон и так далее... Все это, конечно, так, но всего этого ему недостаточно. Что-то самое главное пропадает. Как это было? как пахло? говорил он, передавая мне один из широких томов «Архива», заложенный, если память меня не подводит, на вот этом месте из воспоминаний генерала А.С. Лукомского (сверяю теперь, понятное дело, по тексту), относящемся к большому наступлению на Москву 1919 года: «В октябре был занят Орел. Но, наряду с успехами на фронте, из тыловых районов армии все чаще и чаще стали поступать сведения о возрастающем недовольствии среди крестьян и рабочих. Неудовольствия и возмущения крестьян происходили вследствие участвовавших случаев бесплатных реквизиций, грабежей и поддержки войсками помещиков, вымещавших на крестьянах свои потери и убытки. Недовольство рабочих объяснялось главным образом тем, что приход Добровольческой Армии не улучшал условия их жизни, которые становились все более и более трудными». Все это только слова, а как это выглядело?.. А вот, сказал П.Д., отбирая у меня книгу, вот, в том же томе, «Доклад Центрального Комитета Российского Красного Креста о деятельности Чрезвычайной Комиссии в Киеве», составленный, разумеется, после освобождения Киева от большевиков Доброй Армией со слов сестер милосердия, все-таки еще допускавших в то время в чекистские тюрьмы, вот, попробуйте себе это представить, сказал он, цитируя, если, опять-таки, память меня не подводит, вот это место (и его я сверяю теперь, понятное дело, по тексту): «Как и большинство сотрудников Ч.К., Терехов не мог жить без кокаина. Кокаинистом был и комендант Михайлов. Тоже молодой, стройный, с усиками, холеный и франтоватый. Одетый по моде нарядного красного офицера. На груди у него красовалась красная звезда и другие знаки отличия советской армии. Все отличной ювелирной работы. Михайлов был комендантом Губернской Ч.К., которая помещалась в Генерал-Губернаторском доме. В лунные, ясные, летние ночи он выгонял арестованных голыми

в сад и с револьвером в руках охотился за ними». Советую вам когда-нибудь почитать сей «Доклад», Макушинский, говорил он, перелистывая этот, теперь я знаю, что – шестой, том «Архива» своими длинными пальцами. Почитайте, полюбуйтесь на замечательные типы палачей, здесь выведенные. Это «когда-нибудь» наступило только сейчас; «Архив», как выяснилось, весь целиком есть в нашей университетской библиотеке. Не могу удержаться, чтобы не выписать хотя бы еще два места: «Авдохин был среднего роста, толстый, приземистый, коренастый, почти атлет, с большой четырехугольной головой. У него было отекавшее лицо, нависшие брови, спускающиеся на маленькие, бегающие глаза, не смотревшие на собеседника. Его глаза бегали, бегали, точно выскивали. С невольной тревогой следили арестованные за этими глазами. Вот, вот они остановятся и обожгут намеченную жертву. Авдохин всегда находился в состоянии непрерывного жестокого и сладострастного возбуждения. Как и другие коменданты, Авдохин любил франтить. Каждый день он появлялся в новом туалете, иногда в матросском, иногда в штатском. Все на нем было с иголочки, новенькое. На коротких толстых пальцах горели драгоценные камни. Трость была украшена серебряным набалдашником. Авдохин был и пьяница, и кокаинист. Окруженный женщинами, нарядными, в перьях, с браслетами и цепочками, катался он по городу, устраивал вместе с другими в домах в Липском переулке, где жили комиссары, буйные празднества. Этого развратного, преступного матроса, для которого в мире не было ничего святого, его товарищи комиссары считали даже добрым. На самом деле это был разбойник, пугачевец, в котором стихийное, зверское начало чудовищно переплеталось с социалистическим налетом. Ему было приятно быть щедрым. Увидел, что у санитаря нет сапог – велел дать. Товарищи не без гордости говорили: Мишка – он у нас добрый. А Мишка в ту же ночь опять расстреливал заключенных». А вот потрясающая история двух братьев Асмоловых, один из которых «был высокий матрос с бритым лицом, похожий на англичанина, одетый то в щегольскую матроску и рубаху, то в штатское, тоже щегольское. Всегда спокойный, он творил свое дело с холодной уверенностью. Эта уверенность красных палачей, отсутствие в них даже тени нравственного отвращения к преступлению больше всего терроризировала заключенных». Брат же его как раз и был заключенным. «Живой, всегда веселый, ко всем внимательный и ласковый, арестант Асмолов был любимцем тюрьмы, которая ценила в нем прирожденное благородство. Он всегда был чем-нибудь занят, плел какие-то колечки, раздавал их своим товарищам. Танцевал, пел. В самые тяжелые минуты умел поддержать, подбодрить, даже примирить осужденных со смертью. Он был большевик.

Сестра так и не поняла, в чем его обвиняла советская власть. Раз сестра его спросила: Неужели ваш брат не мог похлопотать за вас?.. Молодой человек вздрогнул, выпрямился и с негодованием сказал: С братом у меня нет ничего общего. Он палач. – Асмолова расстреляли. В тюрьме говорили, что он умер героем». Так-то, говорил, в свою очередь, Двигубский, откладывая, наконец, книгу, глядя в окно, где высокие кленовые кроны колебались в бледном и чистом небе, и детские крики долетали сквозь открытую форточку, мешаясь с испуганным гульканьем голубей, стуком футбольного мяча о невидимую какую-то стенку, дальним, с улицы, шумом машин и тем общим гулом, которым город всегда сообщает о своем присутствии за углом наших разговоров, за краем мыслей. Оставляя Двигубского писать эту ли, другую статью, уходил я, почти в каждое из моих посещений, к Константину Павловичу, с которым в эти годы у меня окончательно сложились свои, отдельные от П.Д., отношения. Именно ему, не П.Д., вот что удивительно теперь для меня, читал я время от времени куски моей понемногу складывавшейся и находившей себя прозы (в которой ни о каких Авдохиных, ни о каких Асмоловых еще и речи не было, не могло быть...); пару раз, я помню, приезжал к нему с рукописью, один раз даже в отсутствие его старшего сына, улетевшего на конференцию в Штаты; замечания его были для меня драгоценны. Света, как и Елена Сергеевна, как и в 1986 году появившаяся на свет Оленька, все они присутствовали при этом где-то на заднем плане, в дальней комнате, в глубине коридора; и что-то было трогательно-патриархальное в этом укладе их дома, в этой незримости женщин, неизвестно чем занимавшихся в своем *гинекее*, появлявшихся, когда Константин Павлович объявлял, наконец, что пришла пора ужинать, после ужина опять исчезавших. Света, потолстевшая после родов, ходила тихо, тихо улыбалась чему-то, поглощена была дочкой, изредка, поднимая голову, бросала на мужа то восхищенные по-прежнему, то какие-то загадочные, кошачьи, не понятные ни мне, ни, наверное, ему самому взгляды, те непроницаемые женские взгляды, в которых мужчине всегда видится какое-то смутное и ничем, конечно, не оправданное сознание женщиной своего превосходства над ним, надуманного превосходства цельности над раздвоенностью и природы над мыслью. В редких семейных спорах, которым я был свидетелем, всегда становилась она на сторону Елены Сергеевны. Марина к тому времени уже вышла, кажется, замуж. Сережа, уже взрослый, закончивший физико-математический факультет университета, без всякого, впрочем, интереса к математике или физике, был, как и раньше, угрюм, думал о чем-то своем, смотрел презрительно, готовился к будущему богатству.

21.

В Париже осенью 1988 года я встретился с моей тогдашней немецкой подругой, Марией, с тех пор и уже давным-давно переселившейся в Калифорнию; когда она уехала обратно в свой Фрейбург, я решил, что мне тоже туда надо, потому что надо к ней и надо в Германию, и получивши визу в немецком консульстве где-то возле Елисейских полей (тогда еще нужна была, разумеется, виза), отправился, поскольку намеренные в России, хотя и намеренные еще по советскому, то есть фиктивному, то есть необыкновенно выгодному для меня курсу, деньги уже все-таки неотвратимо заканчивались, а железнодорожный билет стоил дорого, на заранее найденной попутной машине (как это в Германии очень, во Франции же не очень принято, так что фирма, подыскивающая попутные машины для бедных путешественников и, соответственно, попутчиков для небогатых водителей, желающих возместить хотя бы часть бензиновых расходов, оказалась маленькой, насквозь прокуренной комнатой в глубине очень длинного, темного, продымленного пассажа где-то в районе Восточного вокзала, Gare de l'Est, пассажа, который с тех пор ни разу, ни в один из моих последующих приездов в Париж, не попадался мне, или, вернее, в который ни разу больше не попадал я сам; мне, впрочем, там и нечего было делать) – на попутной этой машине, крошечном старом «Рено», принадлежавшем французской, немолодой, грустно-интеллигентной художнице, в сопровождении своего симпатично-неразговорчивого мужа ехавшей во Фрейбург устраивать выставку, – отправился, значит, во Фрейбург – слово, которое немцы, и некоторые немцы тоже, произносят, конечно, как Фрайбург, но писать его через «а» я отказываюсь, как отказываюсь и писать Хайдельберг вместо Гейдельберга, потому что есть, в конце концов, какие-то дорогие сердцу традиции, которые нельзя просто так отдавать на растерзание современному варварству, современному всемству, о чем, я помню, мы среди прочего и говорили дорогой, из Парижа, следовательно, во Фрейбург (через е, через е...), причем спутники мои Фрейбург называли, конечно, Фрибуром, предлагая не путать его с Фрибуром швейцарским, Гейдельберг же превращали во что-то вроде Эйдельбера, и ничего плохого во всем этом, решили мы, нет, так что пускай Хайнрих Хайне остается в России Генрихом Гейне, а во Франции превращается в Анри Энь, и больше я почти ничего из нашего разговора не запомнил, запомнил только туман, сопровождавший нас почти всю дорогу, все время, так что той Европы, которую я так надеялся по дороге увидеть, я не увидел, увидел, от всей Европы, только мокрые ветки деревьев, время от

времени возникавшие из тумана, и какие-то грустные, с трудом прорезавшиеся из тумана холмы, и мерцание тумана в низинах, его смутное, сумрачное свечение, и в городе, кажется, Селеста, в Эльзасе, мы выпили кофе на главной, заброшенной площади, в еще типично французском кафе, одном из тех, где местные, наизусть друг друга знающие мужчины пьют кофе у стойки, где в обед можно съесть классический бифштекс с картошкой фри, а в остальное время в лучшем случае запеченный сэндвич с сыром и ветчиной, называемый почему-то *stocque-messieur*, каковое название кажется мне самым лучшим в этом нелучшем создании французской кухни – замечание, вдруг вызвавшее приступ хохота у моего до сих пор неразговорчивого спутника, так что он долго тряс своим округлым, каким-то скромным, как часто бывает у немолодых французов, животиком, и весь остаток пути, перегнувшись ко мне с переднего сиденья (машину вела она), продолжая посмеиваться, расспрашивал меня о моих, в ту пору еще совершенно неопределившихся планах на будущее, и когда мы приехали, наконец, во Фрейбург, там был первый в том году снег, первые пятна снега, лежавшие на холмах, и какой-то другой, зимний воздух, и высаженный моими под конец пути уже как бы окончательно полюбившими меня спутниками у вокзала, я долго, я помню, не мог справиться с немецким, новым для меня телефоном-автоматом в желтой будке, и когда, наконец, справился, долго боролся с автоматической камерой хранения на вокзале, менял деньги в газетном киоске, добывая монету, которую надо было опустить в щель свободного ящика, чтобы, положив туда вещи, вынуть длинный, черный ключ с приделанной к нему помятой, желтой биркою номера – справившись, наконец, со всем этим, пошел в город, навстречу Марии, то и дело поднимая голову, чтобы посмотреть на снежные пятна среди темных сосен на отовсюду, за разными поворотами, открывавшихся мне холмах, и тут же голову опуская, удивляясь воде, бегущей, журчащей вдоль всех тротуаров, по нешироким каналам – канавам? – ледяной и чистой на вид, не городской, но горной, как будто откуда-то издалека, из Шварцвальда, если не Вогезов, сюда притекшей, здесь и оставшейся, и дойдя до собора, готической своею громадой вставшего в снежно-темное небо, вдруг, не знаю уж, какому наитию повинуюсь, взял и позвонил из очередной желтой будки – в Москву, за баснословные деньги по тем временам, сначала маме, не дозвонившись ей – Двигубскому, которому ни разу не звонил из Парижа, сообщив ему, что – вот, стою сейчас во Фрейбурге, глядя на собор из окошка телефонной будки, что здесь всюду течет вода, воздух горный и чистый и что я бы очень хотел, чтобы он, Двигубский, все это когда-нибудь тоже увидел; он сказал, я помню, в ответ, по голосу – нисколько не удивившись, что наитие

мое правильное, очень правильное наитие, Макушинский, поскольку его дедушка, отец Константина Павловича, во Фрейбурге когда-то учился, году, кажется, в одиннадцатом или двенадцатом, затем, сделавшись советским ученым и романтиком индустриализации, несколько раз бывал в Германии, и в частности во Фрейбурге, в двадцатые годы, о чем он мог бы, если бы я захотел, рассказать мне подробнее, о чем он сейчас рассказывать, конечно, не будет, чтобы не тратить мои драгоценные марки и пфенниги; как бы то ни было, о бегущей вдоль улиц воде он слышал еще в детстве от своего отца, передававшего ему, как бы в наследство, дедушкины рассказы. Мой второй звонок Двигубскому я тоже помню отчетливо. Уезжая из Фрейбурга вместе с Марией и тоже на попутных машинах в Мюнхен, я позвонил ему, сам не знаю, опять-таки, почему и какому наитию повинуюсь, из того же автомата, той же будки возле собора. На этот раз он сообщил мне о землетрясении в Армении, случившемся в тот день утром, о том, что подробности пока не известны, но что счет жертв идет уже, похоже, на тысячи; затем, помолчав в трубку, добавил, что после Чернобыля и трех лет еще не прошло и что жизнь вообще состоит, очевидно, из сплошных бессмысленных катастроф.

22.

Мы теперь опишем день встреч (как впоследствии назвал его П.Д.), случившийся, если память не изменяет мне, вскоре после моего возвращения из этого первого путешествия, в самом конце 88-го, или, скорее, в самом начале 89-го года; зимний, следовательно, пред-, или, скорее, посленовогодний, совсем не холодный, наоборот, весь текущий, капающий и тающий день, начавшийся с нашей собственной встречи в метро, на станции, помню точно, но не помню почему именно, Кропоткинская, этой всегда, по московским меркам, безлюдной, *египетской* станции, перевернутым, следовательно, *пустячком пирамид*, как выразился Двигубский (всегда, в общем, смотревший вокруг и думавший о том, что видел, в отличие от меня, метро, например, в ту пору просто не замечавшего, и даже старавшегося не замечать, как и все прочие советские, архитектурные, в частности, реалии; я, повторюсь, жил тогда в совсем другом, совсем своем мире) – и вряд ли, Макушинский, вы станете отрицать символический смысл того обстоятельства, что в египетском стиле построена именно эта станция, первоначально призванная служить вестибюлем так называемому Дворцу Советов, главной пирамиде коммунизма, почему сама станция до 1957 года так – Дворец Советов – и называлась, и лишь когда стало ясно, что главную пирамиду, с

гигантской статуей Ильича, исчезающей в облаках, на месте храма Христа Спасителя возвести не удастся, была почему-то переименована в честь знаменитого, никем не читанного анархиста, Ильичем отправленного на старости лет в город Дмитров, где он вскоре и умер. Тут я вынужден был признаться, что в проектировании пресловутого бассейна «Москва», испускавшего пар свой и скрытого им как облаком на месте взорванного храма и не построенной башни, участвовала моя родная тетя, к тому времени уже покойная, сестра моего отца...; ответная его реплика (навсегда) потонула в восклицаниях «Паша, Паша!», щебетаниях и объятиях («куда же ты пропал? почему никогда не звонишь?») двух, как мне показалось, очень хороших, одна другой краше, девиц, оказавшихся сокурсницами Двигубского по историческому факультету – одна из них, как он выразился, когда они сели в свой поезд и щебетанья закончились, комсомольская сволочь, а другая ничего, просто девушка из провинции, не из Дмитрова, а, если не путает он, из Рыбинска. В которую из них вы были влюблены? Ни в ту, и ни в другую, сказал он. В третью, он улыбнулся, их подругу. Которой, увы, с ними не было. Которая вышла замуж за швейцарца и живет в Лозанне; пойдете. На Гоголевском бульваре, куда вышли мы из раковины метро, первый, кто встретился нам, был Ика, художник Ика, уже, как выяснилось, ни Двигубским, ни мною, несколько лет не виданный, мною, может быть, года с 82-го или 83-го, персонаж нашей юности, такой же арапообразный, с оттопыренными губами и неожиданной сединой, пробивавшейся в его курчавых и густых по-прежнему волосах, не прикрытых шапкой, как если бы эта зима с черными сучьями деревьев и легким, над ветками, небом, была не в Москве, а в Париже, куда, как он сообщил нам, скользя по снегу, он намерен скоро отбыть, опять отбыть, как жаль, что мы с ним не встретились там. У него будет выставка, завтра вернисаж, он надеется нас там видеть. Да, завтра, в четыре. В клубе фабрики «Металлург», доедете до метро «Электрозаводская», оттуда на автобусе, пять остановок. Далековато от Парижа, заметил Двигубский. Ика расхохотался. Причуды нашей жизни, сказал он. А вы что подельваете? Что мы подельваем, явно не интересовало его, он спешил, перепрыгнув через бульварную решетку, исчез он в Сивцевом Вражке. Из моих же рассказов о Париже и прочем Двигубского, хорошо это помню, почему-то больше всего заинтересовал эпизод с *автостопом*, туманная поездка из Парижа во Фрейбург, о которой я сам вспоминаю теперь, как о чем-то не со мною, не совсем со мною случившемся, или как о чем-то, случившемся со мною во сне, в полусне, в туманной и полуснежной дремоте. Петр Федоров возник перед нами на Арбатской площади возле «Праги», на спуске в подземный переход, напротив метро и

кинотеатра «Художественный»; и его тоже я пару лет перед тем не видал; Двигубский сообщил мне потом, что и он, в свою очередь, после возвращения из Ленинграда, стал гораздо реже с ним видаться, хотя и перезванивается с ним с известной регулярностью. Петр Федоров смотрел, как всегда, молодцом, одет был во что-то очень дутое, очень американское, на ногах имел модные тогда, тоже дутые, тоже американские, огромные сапоги, так называемые *монтаны*, или *муны*, напоминавшие, в самом деле, те, в которых Нил Армстронг высаживался на Луну; что Двигубский тут же ему и заметил. На это Петр Федоров, спускаясь вместе с нами в подземный переход, рассказал от кого-то слышанную им историю о посещении Армстронгом, вскоре после его лунной экскурсии, советского поселка для космонавтов, так называемого, *soггу*, Звездного городка, где ему, Армстронгу, с большой помпой показывали разные достижения социализма вроде теплоцентрали, детского садика и новой столовой, он же, Армстронг, все это вежливо осматривал, ходил-ходил, слушал-слушал, наконец, возвел очи горе и проговорил со страданием в голосе: *But I have been on the Moon!* Способность Двигубского хохотать и сгибаться была, на весь длинный, двоившийся, тогда еще безларечный подземный переход, продемонстрирована. Было так или не было, говорил Петр Федоров, он не знает, что до него самого, то он уезжает на полгода в Америку, конкретно в Гарвард, вот так-то, получил там стипендию для стажировки, и если будет защищать докторскую, вернувшись, то лишь затем, чтобы немедленно превратить ее в Ph.D. Поведай нам, Ph.D, что у нас впереди, не удержался я от экспромта. *Vperedee*, сказал Петр Федоров, у нас концерт Ростроповича в Большом зале консерватории. На этом мы с ним расстались. Следующим номером была Люда-холера, выплывшая из небытия посередине Суворовского бульвара, между Арбатскими и Никитскими воротами, следовательно. Становится все интереснее, шепнул мне Двигубский. Люда-холера в долгие разговоры пускаться не стала, но тут же попросила в долг пять рублей, лучше десять, до завтра. До какого завтра? спросил Двигубский. До такого завтра, бя, которое не наступит. Ну хоть трешку-то дайте, мать вашу. Трешку мы ей дали, конечно. Выглядела она страшно, одета была во что-то рваное, как бы еще *хиповое*, но уже на полпути к лохмотьям просто, к обычной, подземно-переходной беде; глаза были мутные, обкуренные, совершенно несчастные. Кто следующий? Следующий долго не появлялся. По Тверскому бульвару бежали какие-то особенно звонкоголосые дети, кричали вороны, откуда-то, к изумлению нашему, послышалось вдруг фортепьяно, как оно слышится, бывает, в каком-нибудь переулке, заставляя нас замирать и вздрагивать, обрывая привычный бег разбросанных мыслей, но никогда, потому что неоткуда, не

слышится на бульваре, конечно. Наверное, радио, сказал Двигубский, наверное, Моцарт... Я вспомнил, я помню, то место в начале первой Дуинской элегии, где не фортепьяно, но скрипка, из открытого окна, *gibt sich hin*, как перевести это? не отдается же, в самом деле. Он любил Рильке и цитату узнал не задумываясь. *Das alles war Auftrag. Aber bewältigtest du's?* проговорил он; брови его, под мохнатой шапкой, взлетели. А все это и есть задание, сказал я, переходя на свою территорию, и эта неизвестно откуда звучащая музыка, и это легкое небо, эти редкие сизые облака, это сплетение черных веток, даже эти лужи, сказал я, этот хлопкий снег с отражениями облаков, все это есть задание, с которым мы не справляемся, задача, которую не можем мы выполнить, призыв, на который мы не в силах ответить. И я все время об этом думаю, об этом пишу... А я знаю, ответил он, улыбнувшись, по тем немногим кускам, которые вы мне читали. Боюсь, что справиться с заданием и вправду невозможно; никто не справляется; жизнь есть принятое поражение, *une défaite acceptée*... Это откуда? Это из Юрсенар, сказал он; затем, быстрый взгляд бросив на ту, теперь мокрую, скамейку, где он когда-то рассказывал мне о своем предсонном видении, вспомнив или не вспомнив о нем, я не знаю, заговорил о вычитанной им в каких-то очередных эмигрантских воспоминаниях, изданных в Таллинне и доставшихся ему от пресловутой рижской двоюродной тетки, истории царя Ивана Гордиенко. Кого?! Ивана Гордиенко, «царя Глинского и всея правобережной Ворсклы», да, да, представьте себе, был такой. На берегах реки Ворсклы, где я не бывал, и вы, наверное, не бывали, а побывать бы стоило, поскольку река эта, протекающая через Полтаву, была как-никак свидетельницей величайшего сражения в русской истории, той самой битвы на Ворскле 1399 года, в которой войска Золотой Орды, возглавляемые знаменитым темником Едигеем, ее, Орды, фактическим главою, разбили наголову литовского Великого князя Витовта, союзных с ним русских князей – «ни Чингисхан, ни Батый не одерживали победы совершеннейшей», замечает в своей «Истории» Карамзин, – а заодно и перебежавшего к литовцам Тохтамыш, впоследствии убитого Едигеем, которого, в свою очередь и в дальнейшем последствии, убил один из сыновей Тохтамыш... После этой битвы, скажу вам по большому секрету, у Литвы уже не было шансов объединить Русь, злосчастное наше историческое развитие окончательно свернуло на роковую московскую дорожку, прямо из Орды в коммунизм... с Петербургским интермеццо, конечно. Мы же сами вышли тем временем на ту широкую открытую площадку, которой заканчивается бульвар, перед самой Тверской, тогдашней улицей Горького; напротив, у «Московских новостей» чернела, как обычно, толпа, читающая

вывешенный за стеклом последний номер подрывного еженедельника. Оттуда-то, прочитав очередную, разрушающую его привычные представления статью, и шел, как выяснилось, средних лет, небольшого роста, в зимней куртке с меховым капюшоном и откровенно обыкновенным, озабоченно напряженным, как почти все советские лица, лицом, человек, которого Двигубский, оборвав свой рассказ, искоса взглянув на меня из-под своей косматой шапки и взлетевших бровей, как бы призывая меня в свидетели, что, мол, я говорил, но и призывая меня вместе с ним изумиться, окликнул: Юрий, кажется, Алексаныч. Ах, Павел, это ты? сказал тот. Как поживаешь? Да ничего, сказал Двигубский, да, хорошо. Не женился? спросил тот. Женился. Дочке уже три года. А вы-то как? А что я? сказал тот. Вот, хочу Сашины стихи издать, наконец. Где? Не знаю, может, ты знаешь? Носил в журналы, никто не берет... В руках у него был квадратный твердый портфель, так называемый «дипломат», с какими еще многие ходили в ту пору; он постучал по нему указательным пальцем сжимавшей ручку, бесперчаточной и покрасневшей руки. Ну, прощай, Павел, бывай. Мы шли молча по улице Горького, толкливой и грохочущей, как всегда, с мокрым месивом под ногами. Это отец моего школьного приятеля, сказал Двигубский, погибшего в десятом классе. Погибшего? Погибшего, покончившего с собой. Или убитого. Так никто до сих пор и не знает... Историю царя Глинского, впоследствии, спустя вечность, пересказанную мною в память о Двигубском в моем отчете об Елецком путешествии 2007 года, он несколько раз, я помню, в тот день принимался рассказывать, на Тверском бульваре, на улице Горького, в том, наконец, кооперативном, как это называлось тогда, кафе возле гостиницы «Метрополь», куда мы зашли пообедать; на реке Ворскле, следовательно, в 1919 году жил, в селе Глинске, некий зажиточный, как сообщают источники, хуторянин по имени Иван Гордиенко. Теперь вопрос, какой это Глинск, сказал Двигубский, бросив быстрый взгляд в сторону магазина «Академкнига», куда, конечно, и он, и я всегда заходили, если оказывались рядом; в этот раз не зашли. Я смотрел на всех картах, какие у меня есть, говорил он, и никакого Глинска на реке Ворскле не обнаружил. Есть Глинск западнее, на реке Суле, и если это тот Глинск, то это вообще поразительно, потому что это тот самый Глинск, из которого – Глинские, и среди них, понятное дело, Елена Глинская, мать Ивана Грозного, вторая, как вы прекрасно помните, жена Василия Третьего, взятая им, сказал Двигубский, своей длинной и не очень хорошо привинченной рукою указывая куда-то влево, через улицу Горького, в сторону Богородице-Рождественского монастыря, в ту пору еще остававшегося развалинами, сараями и помойками, после развода с Соломонией Сабуровой, матерью

мифического Кудеяра, любезного нашему сердцу. С этим Кудеяром я вас прямо какие-то личные отношения, сказал я. Вот в этом-то, значит, Глинске, или все же в каком-то другом и соседнем, жил очередной Кудеяр, по имени Иван Гордиенко. Глинск же, ясное дело, переходил из рук в руки, от одной банды к другой. К весне 1919 года зажиточному хуторянину Ивану Гордиенко все это, наконец, надоело. Что же он сделал? А взял и собрал свою собственную банду, так-то, и всех прочих прогнал к чертовой бабушке. Освободил и еще пару сел, среди них некое село Опошня, в самом деле лежащее на реке Ворскле, объявил себя, прошу заметить, *верховным комиссаром* и начал, значит, освобожденными своими землями править, навел, похоже, даже нечто вроде порядка, хотя порядка на Руси, как известно, не водится. Недолго, однако, пробыл Иван Гордиенко *верховным комиссаром*, а решил *венчаться на царство*. Здесь, в сущности, следовало бы уже перейти на стихи, но я продолжу, если вы не возражаете, прозой. Заявился со своими молодцами в опошненскую церковь, приставил наган к виску местного священника и потребовал, чтобы тот короновал его. Каковая коронация и совершилась при огромном стечении народа, под перезвон всех имевшихся в наличии колоколов... Тут я начал, понятное дело, смеяться, Двигубский тоже. Затем, сказал он смеясь, происходит самое трогательное. Царь Иван решает, что жена его, простая крестьянка, не отвечает более царскому его достоинству. Все того же священника, угрожая все тем же наганом, заставляет он себя с женой развести и обвенчать – с кем? – а с местной учительницей, вы перестанете хохотать или нет? да-с, с местной учительницей, воплощавшей, я так полагаю, высшее начало в системе его мироздания. Учительницу, скорее всего, никто и не спросил, желает ли она становиться царицей. Отныне царствуют они вместе. По царству своему разъезжают, как в моем источнике сказано, в коляске, запряженной четвериком, вместо корон украшенные свадебными венцами, взятыми из церкви. При этом своими ногами они уже не ходили, в церковь, например, их вносили в бархатных креслах. И слава, конечно! Слава о нем гремит на всю округу. Диканька, та самая Диканька, между прочим, возле которой на хуторе – известные вам вечера, бьет ему челом и признает его власть, еще какие-то местечки и даже, как сказано в моем источнике, сама Котельва. Вы только подумайте, Макушинский, *сама Котельва!* А? каково? Сама Котельва *бьет ему челом* и присылает дары. И так он несколько месяцев царствует, между прочим. Затем все кончается. Приближается фронт, причем красный, и царь Иван – что же? Бежит, скрывается, исчезает. А учительница? Учительницу он, кажется, бросил, а может быть, и не бросил. Никто ничего не знает. Следов его нет. Он скрывается, как там сказано, в приворсклых

лесах. И это правильно, такой человек не может просто погибнуть, он должен скрыться, исчезнуть... Чтобы опять появиться когда-нибудь... из мглы приворсклых лесов. Вот какие бывают истории, Макушинский, а вы говорите, Томас Манн, Томас Манн... Он, разумеется, любил Томаса Манна не меньше, чем я любил его; перечитывал его постоянно. Последняя наша встреча в этот день встреч произошла возле Центрального телеграфа, где, как всегда, в растоптанном и разъезженном снежном месиве у тротуара стояло, переминаясь, человек десять, пытавшихся поймать такси, и на ступеньках у главного входа не стояли, но именно переминались, курили, поглядывали на прохожих какие-то темные личности, фарцовщики не фарцовщики, филеры не филеры, те загадочные персонажи, которыми вообще пронизана была, как все мы помним, советская жизнь. Откуда появился вдруг грузноватый, в роскошном синем двубортном пальто с попугайно-желтым шарфом, без шапки и в таких при этом блестящих кожаных сапожках, каких в Совдепии вообще никто никогда не видывал, еще молодой человек, я не знал и не знаю. Хе, Макушинский! сказал он. Вик? сказал я. Вот быть не может!

23.

Этот Вик был приятелем моей самой разгульной эпохи, моих восемнадцати-девятнадцати лет, эпохи, которая ко времени моего знакомства с Двигубским *на чердаке* как раз заканчивалась; почти десять лет, следовательно, не видал я этого Вика к тому дню, дню встреч, когда он окликнул меня у Центрального телеграфа, неизвестно откуда возникнув. Макушинский, сказал он, ты ли это? Я вдруг почувствовал себя очень взрослым, давным-давно, далеко позади, оставившим все те не совсем невинные приключения, в которые, в Виковом обществе, когда-то пускался; но и он, к этому времени, наверное, двадцатипяти-двадцатилетний, уже вовсе не был тем тонким порочным мальчиком, каким был в эпоху нашей с ним дружбы. А вся суть его, тогда когда-то, была в этом облике мальчика с восточной миндальной миниатюры, сочетавшемся с откровенно чудовищной, беспардонно наглой манерой вести себя и обходиться с другими. Этот Вик прославился, в самом деле, среди знакомых своих родителей, и знакомых этих знакомых, и друзей, соответственно, тех, или, как я теперь сказал бы моим студентам, не вполне готовым поверить в эти рассказы из жизни марсиан, в среде московской интеллигенции, *Moskauer Intelligenz*, тем, что в четвертом, кажется, классе, на каком-то, пионерском, что ли, собрании, заявил, к визжащему восторгу всей школы, правоверному ужасу учителей и предынфарктному ужасу завуча, что он, Вик, срать хотел на вашего лысого, и не потому, что тот устроил нам всю эту

советскую власть, в том смысле, значит, что это он, Вик, еще мог бы ему простить, но потому что у него хуй, отчетливо и со вкусом, хуй не стоял. Из школы его, разумеется, выгнали; из последующих выгоняли, время от времени, тоже; бывало, впрочем, что и принимали обратно, притом что Вик уроков не делал принципиально, над учителями с наслаждением издевался, курил, очарованным однокашникам давал листать на переменах заветные, затрепанные экземпляры Playboy'a, словом, вел себя так, как нам всем, скажем честно, в те веселые времена хотелось себя вести, как никто из нас вести себя не решался. Вот из-за этого-то, как я теперь думаю, я и сблизился с ним впоследствии, из-за этого безоглядного, и в сущности беспощадного, *что хочу то и делаю* – примитивная форма свободы в стране всеобщего рабства. Несмотря на которое ему все каким-то таинственным образом сходило с рук: то ли потому, что он, Вик, чем дальше шло время, тем решительнее превращался, годам к пятнадцати окончательно превратился не в красавца, но, скорее, в красавчика, с миндальными бесстыднейшими глазами под сенью девических, длинейших ресниц, с почти девическим же овалом всегда смуглого, как будто он только что приехал из Крыма, лица, упругой мягкостью томных движений, с ума сводившей молодых, и не совсем молодых, и совсем не молодых женщин – включая, следовательно, и советскую власть, Софью Власьевну, время от времени его, конечно, журившую, но, очевидно, все-таки не находившую в себе сил по-настоящему наказать *такого хорошенького*; то ли в силу сомнительных связей его отца, журналиста, большую часть года проводившего за границей (что в высшей степени благоприятно отражалось, конечно, на Виковом гардеробе, вызывавшем законную зависть окружающих) – сомнительных настолько, что мой собственный отец, узнав о (как писывали в старину) новом знакомстве сына, попросил меня однажды зайти к нему в кабинет (золотые корешки Брокгауза и Ефрона вспыхивают в пробивающемся сквозь невозвратимость, сквозь все, что мы не успели сказать друг другу, луче) и усадив в деревянное, с широкими подлокотниками, под углом к столу стоявшее кресло, заявил, со свойственной ему решительностью и даже суровостью в нахмуренном взгляде из-под золотого энциклопедического сияния, что я могу, конечно, дружить с кем хочу, но что он все-таки считает нужным предостеречь меня от этого знакомства, и от знакомства с Мурашевым-старшим особенно, человеком, по его сведениям, *нерукопожатным*. Этого нерукопожатного человека я видел раза два или три, в эти два-три раза почувствовав в нем, в самом деле, некий губительный гебейный душок, который, значит, уже тогда, при этих первых опытах самостоятельной жизни, я распознавал если не так же быстро и безошибочно, как

распознают его бывшие зэки, то все же с большой долей уверенности – способность, выходит, врожденная, вошедшая в кровь и в гены. Это был грузноватый, лет, наверное, под пятьдесят, господин, с подчеркнуто-черными, не без претензии на мохнатость, бровями, весь замшевый, с чуть ли не перстнем, но здесь память, может быть, все-таки обманывает меня, на волосатом, коротком пальце, с лубянской ласковостью в округлых, мягких движеньях, в густом, каком-то грибном (как грибной суп – густом) голосе; нелегальная литература, не самая, впрочем, опасная, не Авторханов, с подозрительной откровенностью разбросана была по квартире, вперемешку с пачками Мальборо, бутылками джина и желтенькими, почему-то казавшимися особенно заграничными, баночками, соответственно, тоника, атрибутами позднесоветского, из «Березки», благополучия. Благополучие с тех пор не уменьшилось; Вик, встреченный у Центрального телеграфа спустя десять лет, одет был, в общем, карикатурным бизнесменом из журнала «Крокодил», почти какой-то пародией на дядю Сэма с сигарой. Сигара была, в самом деле, причем какая-то совершенно особенная сигара, каких, опять-таки, я ни разу не видывал в жизни, сужавшаяся у концов и толстая посредине, очень вонючая, даже на улице. Улица при виде Вика, конечно же, замирала. Прохожие останавливались, машины едва не наезжали друг на дружку. Москву в то время еще можно было удивить; скоро это прошло. Он не выглядел еще *дядькой*, но уже явно двигался в сторону оного. Лицо его погрубело, заматерело. Обозначился второй подбородок. Макушинский, Алексей! закричал он, пыхая мне сигарой в лицо. Рад тебя видеть, старичок, в натуре, рад тебя видеть! Вчера приехал, добавил он как бы в скобках. Откуда? Из Гондураса. Откуда? Ты что, оглох? Из Гондураса, откуда же? Я гондурасский гражданин, мать твою... Не кисло, заметил Двигубский. А ты, повернулся к нему Вик, ты, сказал и повторил он, намеренно, конечно же, *тыкая*, ты чем зарабатываешь свои доллары? Я и рублей-то не могу заработать, ответил Двигубский. Ну, понятно, сказал Вик, оглядывая его с головы до ног, с мохнатой шапки до зимних стертых и забрызганных грязью ботинок. Понятно – интеллигент, проговорил он чуть ли не по слогам. Все вы интеллигенты, мудаки несчастные. Пойдем к блядам, хочешь? хлопнул он меня по плечу. К каким блядам, что ты? Каким? закричал он вдруг так громко, что все филеры-фарцовщики у телеграфа на нас оглянулись, каким, каким? да вот здесь, в Метрополе. Не хочешь? Олигофрен... *Олигофрен* было словечко нашей ранней молодости, вдруг выплывшее, вместе с Виком, из небытия. Ты, значит, пишешь? вновь начал он. Что ты пишешь? роман? молодец. Дай почитать! Что, не дашь? Не готово? Быстрее надо писать. Ну, дай почитать! Я

люблю почитать чего-нибудь... эдакого. Я постарался переменить тему. Но ты-то, Вик, ты-то чем занимаешься... в своем Гондурасе? В Гондурасе, в Гондурасе, передразнил он. Гондурас – это наш плацдарм. Я думал, Никарагуа, вставил Двигубский. Ты что, охуел? уставился на него Вик. Никарагуа! Гондурас наш плацдарм. У меня, между прочим, компромат на вас на всех, мудаков, заговорил он вдруг заговорщицким шепотом. Я самого Горбача захочу, могу скинуть... В глазах его появилось безумие, как если бы то плывущее, масляное, что всегда было у него во взгляде, нарастая, перешло черту, за которой начинается уже расплывчатость бреда, смешение и смещение всех понятий, бездны и фурии сумасшествия... Прощайте, придурки. А ты будешь в Гондурасе, звони, сказал он, протягивая мне визитную карточку, которую, чего не могу простить себе, я за прошедшие с тех пор годы, разумеется, потерял и на которой, в самом деле, значился телефон и адрес в Тегусигальпе (в Тегусигальпе!) и под Виковой фамилией (Murashov jr.) стояло лаконичное, загадочное Consultor... Кто сей Ноздрев? спросил Двигубский. Мы пошли по подземному переходу на другую сторону улицы Горького, затем под арку, ко мне. Это не Ноздрев, это хуже. Я вспомнил, конечно, как и сейчас вспоминаю, немногие – не до конца, следовательно, съеденные забвением эпизод Виковой разгульной эпохи, ужасную бессонную ночь в шальной квартире, пустой и грязной одновременно, с матрасами на полу и выставкой бутылок у голой стены, в новостройке где-то за Самотекой, где мы с Виком ночевали однажды у как раз целиком и полностью, со всеми их именами, словами, глазами и губами, съеденных забвением девок, ночь, начавшуюся походом за водкой в какие-то, уже давным-давно, то есть вскорости после этой ночи исчезнувшие навсегда переулки, совершенно старомосковские, с деревянными заборами и деревянными же домами, наличниками на окнах, сараями, сугробами, тишиной, скрипом снега... Все это дальше теперь от меня, чем тысяча девятьсот тринадцатый год. И был там какой-то парень с охотничьей ряской, какой-то чуть ли не Федя, который эту водку и должен был нам то ли продать, то ли купить для нас еще у кого-то, и вот, спустя вечность, вижу, не только не затопленные Летой, но с блаженной ясностью, в глубине перспективы, эти допетровские дворы и сараи, и как мы идем, все трое, по мертвому переулку, по стрелецкому снегу, и глядя на Вика маленькими, сальными, смеющимися глазками, толстогубый, курносый, вихрастый Федя, неужели, действительно, Федя? говорит, что нет, нету водки, и тайком от Вика показывает мне подмигивая бутылку, и затем говорит, гнусая, что он сам с нами выпьет, давно баб не видел, вчера только *вышел*, и Вик говорит, не ври, бля, вон какие вихры отрастил, в тюрьме их, что ли, отращивал, и

тот, гнусавя и мне подмигивая по-прежнему, отвечает, что не-е, ты чё, нас не бреют, мы не таковские, и затем, куда-то в темноту тыча пальцем, вон, говорит он, вон, в том доме сам Юрик жил, и это *сам* словно падает в снег под тяжестью уголовного уваженья, и кто такой Юрик, остается, навсегда, неизвестным, и все, разумеется, гаснет, все исчезает, и выплывает из Леты другая ночь, тоже ночь, поездка, опять ночная, вместе с Виком куда-то, к каким-то еще приятелям, соучастникам попоек и походов; ночь, поездка, поземка; ловля и невозможность поймать такси; черная «Волга» с голубой мигалкой на крыше, скрипящая тормозами – и как Вик говорит водителю: включи мигалку за червонец; и водитель отвечает ему: не шали, паря, тоже мне выдумал; а Вик ему, с миндальнейшей, ласковой, обаятельнейшей улыбкой: за червонец, значит, не включишь? ну, а за четвертной-то включишь; и водитель, почти не раздумывая: за четвертной включу, не дурак; и Вик в сторону, мне, но так, чтоб водитель слышал: продажные твари; и вот мы мчимся по этим пустынным улицам, безбрежным проспектам, по этому городу, о котором я почти уже разучился и думать, на мгновение, на пять минут становясь хозяевами его, тайной властью, уносящейся в никуда, сквозь синие блики, летящие вместе с нами. Хорошенькая была у вас юность, сказал Двигубский, глядя в окно на уже пустынную улицу Горького, оранжевый отблеск фонарей на мокром асфальте. У меня была не такая, сказал он, я помню. У меня была грустная. И герои в ней были совсем другие, уж скажем прямо. Ее главным героем был Саша Морозов, Мороз, сын вот Юрия Александровича, которого сегодня мы встретили. Когда-нибудь я расскажу вам. Расскажите сейчас. Да, пожалуй... Но он все-таки не рассказал мне в тот раз о Саше Морозове, он, я помню, еще долго стоял у окна, глядя, сквозь разведенные шторы, на оранжевые отблески улицы Горького, вновь, показалось мне, охваченный, как будто окутанный той печалью, которая была ему так свойственна в юности, не в юности только. Все довольно бессмысленно, вам не кажется? Нет, вам не кажется. Вы роман пишете, вам все нипочем. А по мне так все совершенно бессмысленно, и как-то, сказал он, как-то все беспросветно.

24.

Из этого окна я наблюдал за историческими событиями, нараставшими с приближением к путчу 1991 года, как водный грохот нарастает, наверное, по мере приближения к Ниагаре. В то лето я вернулся из Латвии раньше обычного, не помню уже, с какой стати; помню только, что накануне, семнадцатого августа, у моих соседей по дому, живших непосредственно надо мной, прорвало очередную трубу, что в этом

доме с замечательными коммуникациями 1930 года вообще случалось нередко, но на сей раз приняло характер, действительно, ниагарский, так что, восемнадцатого августа возвратившись в столицу еще не распавшейся, но уже по швам трещавшей империи, я, открыв дверь квартиры, едва не вступил в огромный, ржавой водою наполненный алюминиевый таз, стоявший посреди прихожей, меня приветствуя, затем увидел мокрые простыни, наскоро наброшенные моей мамой, по счастью оставшейся в городе, на диван, и книжные полки, и прочую мебель, свисавшие с этой мебели наподобие античных тог или торжественных одеяний с великолепными складками, какие видим мы в Эрмитаже на мифологических громадных полотнах, затем проинспектировал затопленную ванную комнату и замер, наконец, перед темными подтеками на потолке и на стенах, достойными тех разводов и пятен, которыми, чего я тогда не знал, любуемся мы на стенах римских церквей и развалин, обломках древних цивилизаций, останках погибших эпох. Утром девятнадцатого должен был прийти, наконец, какой-то самый главный слесарь отключить какой-то самый главный *стояк*, да простят мне Музы изящное сие выражение. Утром девятнадцатого разбудил меня безапельсиновый телефонный звонок. Спишь? спросил меня звонивший с дачи отец. Вставай. Переворот. Я подумал о Катилине, о Цицероне, о Гае Саллюстии Криспе, о гражданских бурях, о временах, когда могилы выпускают мертвецов и на тучах бьются огненные люди. Доколе же будешь, Катилина, злоупотреблять терпением нашим? Еще я подумал, что – не успел, что роман не дописал и вовремя не уехал; дурак. В телевизоре, как все мы помним, наложницы и рабыни танцевали «Лебединое озеро». Работали не только телефон с телевизором, но работал, как ни в чем не бывало, то есть именно так, как он привык работать, и – ЖЭК (да простят меня Музы...); главный слесарь, которого прождал я весь день, явился, впрочем – относительно трезвый, в конце рабочего дня; *стояк* отключил и действия путчистов одобрил; вечером я смог, наконец, выйти на мокрую улицу, чтобы встретиться с одной знакомой француженкой, как и я, приехавшей в Москву накануне и оказавшейся в ловушке, из которой ей было все-таки проще выбраться, чем нам, местным жителям, заложникам злосчастной истории; в метро, когда я ехал обратно, уже появились первые ельцинские листовки, расклеенные на колоннах и стенах подземных дворцов, совсем не к тому предназначавшихся Сарданапалом. Двигубский, как я узнал после, уже этим вечером девятнадцатого был возле Белого дома, решающую ночь с двадцатого на двадцать первое провел там же, под зонтиком, в толпе счастливых и продрогших борцов за свободу. Двадцать второго, может быть – третьего, я увидел его в телевизоре, в

программе то ли «Взгляд», то ли нечто, теперь мне уже не вспомнить; помню лишь, что он давал оценку событиям как историк и как непосредственный их участник; лицо его дышало бессонницей и вдохновением; рудинская шевелюра вздымалась; сросшиеся брови взлетали; он сам казался на взлете, на взводе; ему было тридцать три года; нужно действовать, говорил он, немедленно; нужен Нюрнбергский процесс и закон о люстрации; главное – закон о люстрации; исторический шанс может не повториться. Возражал ему другой какой-то, советский, историк, гладкий дядька в сером костюмчике, рассуждавший, как все они после путча, о национальном, черт бы их побрал, примирении, о том, что нельзя допустить охоты на ведьм, что мы все вместе все сможем, возьмемся за руки, друзья, давайте, вообще, жить дружно и смотреть с надеждою в будущее. Двигубский отвечал презрительно и спокойно, с холодной яростью в сузившихся глазах. Руки я вам не подам, болтовней о примирении вы мне зубы не заговаривайте, будущее обойдется без вас. Был великолепен в эту минуту. Не знал еще, что будущее – без нас обойдется. Еще через несколько дней я заехал к нему домой – визит, который вспоминается мне теперь как последний, хотя последним он, наверное, не был. За чаем в пресловутой столовой, в отсутствие, я помню, Сережи, в присутствии Светы и Елены Сергеевны, говорили мы, конечно, о путче и еще раз о путче; Константин Павлович показался мне в тот день постаревшим и каким-то печальным; случилось бы все это лет на тридцать раньше, сказал он... Его старший сын не спросил меня, разумеется, почему я, собственно, не участвовал в защите Белого дома, вообще никак не участвовал в происходящем; невысказанный вопрос в его словах и взглядах все-таки чувствовался; бывают исторические мгновения, сказал он вдруг, когда нельзя оставаться в стороне и смотреть на мир из глубины своего благополучного безразличия. Это был, кажется, единственный наш с ним спор за всю жизнь. Я ответил, я помню, в полном согласии с истиной, что совершенно сознательно, трезво и холодно принял двадцатого августа вечером решение остаться дома, почитать Рильке или послушать Малера, сказав себе, что я не готов подвергнуть свою жизнь опасности, в тот вечер казавшейся огромной и очевидной, ради какого бы то ни было политического общего дела, пусть даже самого распрекрасного и величественного. Можете считать это оправданием трусости, мне все равно. Но если положить на одну чашу весов так называемое будущее России, сколь угодно радостное и светлое, хотя мне оно представляется довольно туманным, но не в этом дело, сказал я, пусть будет светлое, пусть будет радостное, а на другую – мою собственную маленькую жизнь, со всех сторон окруженную сном, или, уж простите, мой все еще недописанный роман,

который никому, может быть, не интересен, не нужен, не важен, но который важен и нужен мне и который мне бесконечно жаль было бы не дописать до конца, то эта вторая чаша, можете осуждать меня сколько хотите, решительно перевешивает для меня первую. Если все так будут думать, сказал Двигубский, мы никогда не выберемся из болота. Все так не думают, сказал я. Ну, конечно, проговорил он, складывая руки на груди и начиная, очевидным образом, злиться, конечно, все – это быдло, пушечное мясо, которое для того ведь и создано, чтобы идти под танки, жалкий плебс, который пускай себе гибнет, а мы, такие замечательные, такие возвышенные, мы выговариваем себе право... Я тоже начал злиться, я помню. Я всего лишь выговариваю себе право принимать собственные решения, сказал я, и не повиноваться чужим категорическим императивам. В конце концов, *они* ведь только и делали, что говорили: ты должен! Ты должен, сволочь ты этакая, участвовать в строительстве электростанции и светлого будущего... Ни вы и никто другой не вправе требовать от меня, чтобы я принес себя в жертву. *Они* же все время требовали от нас жертв. Советский человек при всяком удобном случае закрывал своим стальным телом амбразуру дзота... Как вы можете сравнивать одно с другим, сказал, почти – воскликнул Двигубский, мы же с *ними* и боремся, за то и боремся, чтобы никто никому не указывал, как жить и что делать. С *ними* боретесь, а сами же и указываете, ответил я, не вижу никакой разницы, все то же самое. Портреты на стенах следили за нашим спором внимательными темными глазами; окно было открыто; вершины кленов колебались в уже осеннем, блеклом, но чистом небе; солнце лежало на скатерти; свет дробился в граненой вазочке с песочным печеньем. Константин Павлович, вмешавшийся, наконец, в разговор, встал на мою сторону – и встал, я помню, из-за стола; руки его, лежавшие на спинке стула, освещенные солнцем, еще прекрасные, покрыты были густой россыпью старческих крапин. Жертв, сказал он, всегда требуют во имя чего-то возвышенного, спасения человечества или уж, по самому скромному счету, народа и фатерлянда; еще не случилось, кажется, чтобы кто-нибудь от кого-нибудь потребовал жертв во имя чего-нибудь нехорошего, ГУЛАГа или Освенцима. Поэтому, Паша, как только мы начинаем делить жертвы на оправданные и не очень оправданные, мы неизбежно кончаем ГУЛАГом. Ради коммунизма требовать жертв нельзя, а ради демократии, значит, можно? Ни одна жертва не оправданна, все вопиют к небу. А русская так называемая интеллигенция разве не во имя высоких идеалов готовила революцию? Как же, народ страдает, а вы тут пишете стишки о цветочках? Нет, пойдите и пострадайте... Ему, Константину Павловичу, бесконечно жаль этих трех мальчишек, погибших под

танками, просто жаль их и все. Паша, может быть, думает, что их жертвы не напрасны, что декабристы разбудили Герцена и что из искры возгорится пламя. Он, Константин Павлович, не думает так. Он думает, что все жертвы напрасны, все без исключения бессмысленны. В этой бессмысленности и заключается, может быть, их сокровенный смысл. И совершенно неважно, как называется очередной хрустальный дворец, ради которого требуют очередной крови. Он не стоит этой крови никогда; никогда. Двигубский выслушал эту отповедь молча, по-видимому соглашаясь с ней, соглашаясь с ней в самом деле, по существу и в глубине своего существа; свет играл тем временем рудинской склоненной его шевелюрой. Сдаюсь, стыжусь, умолкаю... Признаю за каждым из нас право участвовать или не участвовать в чем бы то ни было по собственному желанию и разумению. Я хочу сказать лишь, что бывают обстоятельства, когда я оставаться в стороне не могу. Не потому что этого кто-то требует от меня, или кто-то считает, или даже я сам считаю, что это мой гражданский долг и так далее, и так далее. А просто не могу – и все. Просто должен быть там, быть при этом, участвовать в этом. А вы как хотите... Это другое дело, сказал Константин Павлович, снова садясь, хотя мы предпочли бы, чтобы ты поменьше геройствовал и побольше думал о нас с твоей мамой, о жене и о дочке. Если бы ты погиб там, я бы, наверное, умерла, сказала Елена Сергеевна. И я бы умерла, сказала Света. Двигубский вдруг рассмеялся. Вот так, сказал он, делаешь доброе дело, болеешь, можно сказать, за судьбы родины, а что получаешь? Одни попреки. Больше, сказал он, продолжая смеяться, ничего для вас делать не буду, живите как знаете, разбирайтесь сами с вашей дурацкой страной. Не делай, Пашенька, не делай, ответила Елена Сергеевна, тоже, что ей было скорее несвойственно, рассмеявшись – и в этом смехе впервые, вдруг, явившись мне каким-то другим человеком, такой, может быть, какой была она лет тридцать тому назад, вскоре после Пашенькина рожденья. Не делай, пиши лучше книжки... Прежде чем возвратиться домой в тот вечер, я доехал, я помню, до еще, кажется, не переименованной обратно в Лубянскую, площади Дзержинского, чтобы посмотреть на постамент, оставшийся от памятника железному Феликсу; у выхода из метро толпились, как они повсюду толпились в те дни в Москве, темные кучки советских граждан, бурно обсуждавших события; кровавая громада на другой стороне площади, не тронутая, не сожженная, не взятая штурмом, смотрела на меня и на них всевидящими черными окнами.

Осенью 1992 года я получил стипендию в Католическом университете города Эйхштетт, единственном, кстати, католическом университете во всей Германии и вообще во всех немецкоязычных странах; никакого отношения к римско-католической церкви и престолу святого Петра ни я сам, ни тема моей предполагаемой диссертации, разумеется, не имели; диссертацию я поначалу и писать-то не собирался; в конце концов все-таки вынужден был написать ее, что, впоследствии, обеспечивало и до сих пор обеспечивает меня работой и, соответственно, заработком. Аннетта, моя давняя немецкая приятельница, в этом же университете писавшая тогда докторскую о политических взглядах Льва Толстого, которого сравнивала она, понятное дело, с Ганди и огромный, в полстены, портрет которого с грозно наставленными бровями висел у нее в кабинете, встретила меня на только что в ту пору построенном, еще новехоньком, теперь состарившемся, мюнхенском аэродроме имени Франца-Йозефа Штрауса, в обществе серенького, в серенькой же курточке, остролицего человека, оказавшегося, к ужасу моему, полковником какой-то советской военно-политической академии, вскорости после путча переименованной (в насмешку над кем?) в академию гуманитарную, учреждения, иными словами, десятилетиями готовившего политкомиссаров, ныне, значит, ударившихся в гуманизм. Лишь чувство юмора помогает нам справиться с абсурдом жизни. Единственный в Германии католический университет затеял тогда, как выяснилось, по инициативе все той же, Толстым и Ганди увлеченной Аннетты, некую как бы даже *программу* по перевоспитанию бывших политруков в духе демократии, либерализма, пацифизма и, опять-таки, пардон, гуманизма, приглашая их по двое, по трое в идиллический Эйхштетт, чтобы они там соответствующие книжки читали и соответствующим духом проникались; а уж с каким заданием присылали их в Баварию домашние гуманисты, этого не знает, конечно, и никогда не узнает никто. Полковник в штатском, лет десять прослуживший некогда в Ге-де-эрии, говорил по-немецки с шипучим саксонским акцентом и смотрел на меня, поверх бездны, разделявшей нас, с не меньшим, показалось мне, удивлением, чем я на него. *Программа* эта вскорости, кстати, закончилась; перевоспитание, похоже, не удалось. Чувство, еще раз, юмора только и помогает нам справиться с абсурдом происходящего; я, впрочем, все-таки не сказал ему (а как хотел сказать...) что я, собственно, от него-то и уезжаю на Запад, вот лично и конкретно от вас, *мон колонель*, уж простите. *Колонель*, взятый Аннеттой просто так, за компанию и чтобы не ехать одной по автостраде, уселся на заднем сиденье и всю дорогу молчал, очевидно сочиняя в уме отчет ответственным товарищам и письмо в соответствующие инстанции. На

стареньком, дергающемся и дрыгающемся «Пежо» дотащились мы, обгоняемые грузовиками, первым делом до Ингольштадта, города, славного тем, что там изготавливают машины «Ауди», родственницы знаменитого «Хорьха» («Ауди», как поведала колонелю и мне Аннетта, пытаясь справиться с управлением своего дрыгающегося «Пежо», и означает, собственно, «хорьх», то есть «слушай!», переведенное на латынь; создатель фирмы Август Хорьх еще в 1910 году, поссорившись с компаньонами и покинув им же самим основанную компанию, для новой фирмы просто-напросто перевел на латынь собственную фамилию; что, впрочем, не помешало этим двум фирмам впоследствии снова слиться и в дальнейшем последствии опять разойтись; для меня, о чем я и сообщил, конечно, попутчикам, слово «Хорьх» навсегда связалось в памяти с теми трофейными *хорьками*, на которых, по рассказам моей мамы, ее бывшие одноклассники, майоры и капитаны, все как один красавцы, с орденами на груди и с верой в лучшую жизнь в душе, возвращались с войны в кощеево царство, где им сразу же и показали, кто в доме хозяин и где раки зимуют...; колонель оставался безмолвен); а также тем славного, что там, в этом Ингольштадте с его высокими белыми башнями и воспоминаниями об университете, перенесенном в 1800 году в Ландсхут и оттуда вскорости в Мюнхен, происходит, верней – начинается, действие «Франкенштейна», знаменитой повести Мэри Шелли, которую все мы читали в школьные наши годы, чтобы затем уже забыть ее, как казалось нам, навсегда. Там есть «Анатомическая улица», Anatomiestraße, в этом Ингольштадте, в остальном довольно безликом; всякий раз, проходя по ней впоследствии, вспоминал я, конечно, несчастного швейцарца, приехавшего сюда учиться, создавшего здесь свое чудище, в экстазе взвихренной воли, плод трагического самоутверждения, романтический вызов порядкам земным и небесным. Каковое чудище, как рассказывает нам Мэри Шелли, сбежав от своего создателя, скрывалось где-то рядом с городом у крестьян, то есть вот где-то здесь, в этой столь хорошо впоследствии знакомой мне местности, по которой я ехал в тот день с Аннеттой и колонелем впервые и которая вдруг далеко увиделась мне, как будто вся раскрылась передо мной, когда, проехав, наконец, неинтересный город, мы свернули с главной дороги направо – и как-то сразу все кончилось, кончились бензоколонки, рекламные щиты, супермаркеты, серые сараи предместья, развилки и светофоры, остались только поля, далекий очерк синеющего и падающего за край зримости леса, облачные громады над разбегающейся равниной. Эта равнина, если я правильно понял объяснения местных геологов-любителей (каковых в этой местности, богатой окаменевшими

ракушками, весьма много), есть часть огромного плоскогорья, возникшего в так называемый юрский период естественной, то есть еще до-человеческой, нечеловеческой, безразличной к человеку истории, отчего местные – не только геологи имеют привычку называть его просто юрским плоскогорьем (Jurahochebene), что, конечно, можно считать своего рода узурпацией позаимствованного у французов и швейцарцев названия. Скалистые узкие долины пересекают это юрское плоскогорье, среди них – долина реки Альтмюль (Altmühl), на которой (реке) и в которой (долине) лежит город (городишко, собственно... тринадцать тысяч жителей, не считая приезжих студентов) Эйхштэтт (Eichstätt), куда, следовательно, и забросила меня ироническая судьба. Город в долине... Нет, конечно, я не подумал о Двигубском и его давних, когда-то рассказанных мне и к тому времени напрочь забытых мною предсонных видениях, и не подумал даже – подумать о них, когда он открылся мне сверху, и открылся мне тоже весь, сразу весь целиком, этот маленький город, город в долине, с его красными крышами, красными и желтыми кронами, белыми башнями, зелеными куполами, город, к которому бесконечно долго, я помню, не в силах обогнать неизвестно откуда образовавшийся перед нами грузовичок, спускались мы по отчасти серпантинной дороге, как будто стремившейся по-прустовски показать его нам в разных ракурсах, передвигавшей, все не находя для них окончательных мест, эти купола, эти башни, серые скалы на другой стороне долины. Мне было тридцать два года в тот теперь уже бесконечно далекий, осенний, чудный, дымчато-солнечный день. Я еще чувствовал себя молодым, еще чувствовал себя в начале жизни, в преддверии будущего. Все утраты были еще впереди.

26.

В ту пору в Германии существовала государственная монополия на телефонную связь; никаких частных телефонных компаний еще не было и в помине; звонить в Москву было дорого и дозвониться довольно трудно; по полчаса, бывало, приходилось просиживать перед телефоном, тыкая в кнопку повтора и слушая короткие насмешливые гудки. Я почти никому и не звонил поначалу, кроме самых близких, конечно; писать письма тоже особенно не хотелось. Прошлое, довольно быстро, начало отступать от меня; предшествующая жизнь, уже через несколько месяцев, приобрела те воздушные, облачные очертания, которые свойственны сновидениям, свойственны бывают и немецким долинам, немецким холмам в какой-нибудь, еще раз, осенний, туманно-солнечный день. Мне казалось, я никогда не вернусь, никогда никого не

увидю; затеряюсь в мире, как проданный в Египет Иосиф. Мы не зря все же так много читали Томаса Манна в патетической нашей юности. Иосиф не подавал о себе вестей... Действительность не вполне соответствует, разумеется, мифу, но миф проступает и просвечивает сквозь нее. Это только потом оказалось, что ничего никогда не кончается. До прихода братьев нужно еще дожить... Двигубскому в первое время писал я тоже не часто, написал, кажется, всего два или три письма, из них одно довольно, я помню, подробное, с подробным описанием Эйхштетта, царства мертвых, моего Мицраима, этого крошечного, хотя и со своим университетом, тоже довольно крошечным (три тысячи студентов учились в нем тогда, теперь, кажется, три с половиной), баварского городишки, спрятанного в долине, в расщелине плоскогорья, притворяющегося, когда смотришь на него снизу, холмами, – городишки (писал я Двигубскому, понимая, что это заинтересует его), который еще совсем недавно (по историческим меркам), до 1806, кажется, года, был, кстати, самостоятельным государством, причем государством теократическим, так называемым княжеством-епископством; местный епископ, иными словами, был одновременно владетельным князем, правившим, не без помощи министров и бургомистров, все как полагается, «как у больших», своей совсем не большой, но все же с соответствующими угодьям, полями, лесами, лугами и пашками, страной, к которой принадлежала еще парочка, уже совершенно заштатных городишек, сколько-то, соответственно, деревень. Наполеон с его «медиатизацией» и упразднением Священной Римской империи подчинил эту область вновь созданному Баварскому королевству; внутренне, духом своим, она так никогда и не подчинилась ему, пожалуй; настоящей заправской Баварией так никогда и не сделалась; навсегда осталась в себе замкнутым, крошечным, как будто выпавшим из времени, из большого мира, мирком, в котором природным его жителям дышится легко и привольно, в котором (писал я Двигубскому) я не уверен, что долго смогу дышать. Епископство же было основано, в невообразимом восьмом веке, главным местным святым, Виллибальдом, мощи коего хранятся, ясное дело, в соборе, одном из стариннейших и славнейших соборов Европы, впрочем – скорее скромном, темном, романско-готическом, с чудным, тихим (писал я) внутренним двориком, выложенным надгробными плитами местных каноников и баронов, куда я захожу иногда просто так (писал я), по дороге в университет, на пару минут. Этот святой Виллибальд, первый эйхштеттский епископ, был, как и брат его Вунибальд, тоже святой, как и сестра их Вальбурга, или Вальпурга, та самая святая Вальпурга, кстати, день канонизации которой отмечался в Средние века первого мая, отчего и ночь, ему предшествующая, получила название Вальпургиевой (никакого

отношения к Брокену, к гетевским и не-гетевским ведьмам она сама, разумеется, не имела) – святой, следовательно, Виллибальд сей (писал я) был родом из Англии, откуда, в 721, что ли, году, отправился он, с отцом и братом, в паломничество в Рим. Отец умер в Лукке, в той (но этого я не писал) чарующей Лукке, где впоследствии, в 2001 году, мы провели день вместе с моим адресатом, по дороге в Прованс; святые братья же отправились дальше, Вунибальд остался в Вечном городе, а Виллибальд, отплыв из Сицилии, добрался до Иерусалима, пробыв там три года, перебрался в Константинополь, возвратился затем в Италию, в знаменитый монастырь на Монте Кассино, к тому времени пришедший в запустение, почему он, Виллибальд, и занялся восстановлением его, покуда папа Григорий Третий не отправил его в Германию, где в 748 году и было основано эйхштеттское епископство, после чего и Вунибальд перебрался в недалекий Гейденгейм, или, в ныне принятой пошлой транскрипции, Хайденхайм, совсем заштатный уже городишко (куда впоследствии, когда у меня появилась машина, я любил возить своих редких русских гостей – Двигубского в числе их не было – на экскурсию), где сделался настоятелем мужского, а призванную из Англии Вальпургу сделал настоятельницей женского монастыря. Мы, конечно, совершенно неправильно представляем себе это раннее Средневековье. То есть Вы-то, наверное, представляете его себе как-то иначе, писал я Двигубскому, а нам, неучам, видятся редкие дымные деревни в непролазных лесах, из которых никто никогда не выбирался. На самом деле, это был мир, не так уж сильно отличающийся от нашего, если я смею судить, та же Европа, с ее торговыми путями, ее родственными и духовными связями – Рим, короче, не многим дальше был от Лондиниума тогда, чем теперь; России, правда, еще не было вовсе. Зато глубокой, дремотной древностью отзываются все *имена*, и Вунибальд, и Вальпурга, или, скажем, имена следующих за Виллибальдом эйхштеттских епископов, каковыми были: Геро, Аган, Адалунг, Альтвин, Отгар, Готшалк, Эрханбальд, Одальфрид, Старханд, Регинольд, Мегингауд, Гундекар Первый и затем Гундекар Второй, ночь истории, в которую так сладостно нам погружаться. Сам же святой Виллибальд прожил по тем временам мафусаиловы 87 лет, незадолго до смерти продиктовав своей тоже, якобы, родственнице, монахине с не менее дремотным именем Хугебурк, свою «виту», *Vita Willibaldi episcopi Eichstetensis*, где поведал, среди прочего, о странствиях своих по дальним и дивным землям, что в сущности, и наверное, только это, волшебным образом меня с ним сближает (писал я), поскольку, еще немного пожив здесь и закончив роман, вам известный, и я, наверное, примусь за свой собственный скромный, в меру слабых сил моих, и да помогут мне

Музы, отчет о странствиях по землям неведомым, несуществующим, невозможным... (замысел, так и не обретший с тех пор плоти и голоса); знаменитая, в 16 веке, то есть уже в эпоху, соответственно, Ренессанса, на месте его, Виллибальда, вернемся к нему, захоронения в соборе поставленная статуя, изображает его стариком, с епископским жезлом в левой руке и раскрытой книгой на коленях, придерживаемой, чтобы не завернулась страница, правой, как и левая, облаченной в какую-то как будто железную, не пастырскую, но рыцарскую перчатку рукою, с чуть косящим взглядом и, в сущности, с совершенно узнаваемым, если отвлечься от митры и прочих аксессуаров, хмуро-добрым, о трудах и тяготах жизни знающим больше нашего, одновременно значительным и обычным лицом, нет, не одним из тех лиц, но все же похожим на те лица, которые и поныне встречаются нам в наших блужданиях по долине Альтмюля, по этому Эйхштетту, из которого (не писал я, конечно, Двигубскому, зато пишу теперь здесь), случайно заброшенные туда, мы очень скоро начинаем думать как бы сбежать, не сознавая, что когда убежим из него в самом деле, он тоже сделается частью нашей личной истории, нашего тайного путешествия по нами же и придуманным странам.

27.

О побеге я начал думать не сразу. Поначалу, после Москвы, мне даже нравилась эта идиллическая глушь, глубь времен, это одиночество – всегда очень острое в этой глуши и долине, одиночество, казалось мне и кажется мне до сих пор, которое в этой долине и этой глуши еще меньше, чем где-нибудь, способны были смягчить (сгладить, скрыть, заслонить собой...) знакомства и отношения, даже дружбы, старые или новые, вся та европейская университетская жизнь, жизнь «кампуса», тоже, конечно, новая для меня, которой я тогда жил и которая, поначалу, носила характер отчасти даже студенческий, с долгими сидениями в (стеклянной, насквозь прозрачной, очень красивой) библиотеке возле тихо текущей мимо книг и знаний реки, с еще более долгими перерывами в этих сидениях, перекурами, посиделками, соответственно в студенческой кафетерии за чашкой плохого, но дешевого кофе, за разговорами ни о чем, обо всем с такими же, как и я, бездельниками, с прохладцей писавшими свои магистерские работы или докторские (в русских терминах – кандидатские) диссертации, изредка посещавшими какие-нибудь семинары, какие-нибудь лекции, о чем-нибудь, и тоже иногда ни о чем, беседовавшими, как и я, со своими научными (в русских терминах) руководителями (понятие, передаваемое по-немецки замечательным словом *Doktorvater*, доктор-отец, отец будущего доктора, родитель его ученой степени и научной карьеры...); все это,

вся эта жизнь проходила и протекала (казалось и кажется мне до сих пор) на каком-то странно и откровенно пустом фоне, лучше: на фоне какой-то всеобъемлющей пустоты, более отчетливой здесь, чем где бы то ни было: как если бы она, жизнь, истончаясь, почти исчезая, показывала, вновь и вновь, всем, кто желает видеть, свою истинную страшноватую подоплеку, пустой холст, на котором она нарисована. Как остро чувствовал я это истончение жизни – в каких-нибудь зимних сумерках, например, когда шел, один, по быстро пустеющим улицам (а в шесть часов здесь все закрывалось, к семи замирало, к восьми вымирало...; «тротуары подняты», по чудесному, опять же, немецкому выражению), и в мясной лавке краснорукая продавщица еще терла тряпкой плаху прилавка, и колбасы за ней свисали как сталактиты утробной пещеры, а толстая кондитерша мыла пол в своей ярко освещенной кондитерской, обратив непомерный, уже какой-то нечеловеческий зад к отсутствующим, увы, перед витриною зрителям, и затем уже не было никого, ничего, лишь мои собственные шаги гулко отскакивали от белых, желтых, барочных, с обведенными коричневою краской оконницами, фасадов, и редкие пятна снега смутно синели на холмах среди сосен, и одновременно величественными и легкими казались там, наверху, подсвеченные снизу и обведенные снегом очертания замка...; истончение жизни, исчезновение бытия. Что до замка, то замок, конечно, – был. Собор и замок, действительно, – два атрибута порядочного германского города. Замок – был, и назывался, а как иначе, по имени все того же святого Виллибальда, Willibaldsburg; двухбашенная громада замка (он же – крепость) над городом. Река Альтмюль и, соответственно, долина, по которой течет она, делает здесь поворот – и еще один поворот, выходит – излучина, или, скажем, петля, отчего образуется как бы узкий язык того плоскогорья, которое, как уже сказано, окружает город со всех сторон, вытянутый кряж, и в самом деле, воспринимающийся как горный хребет, как крутой и продолговатый холм, поскольку долина оказывается и справа, и слева от него, и, если угодно, спереди; вот здесь-то, спереди, на краю кряжа, господствуя над долиной, и стоит, разумеется, замок, огромный, мощностенный, очень старинный, очень величественный. Кто-то рассказывал мне, что в самом конце последней войны некие безымянные нацисты вывезли из Мюнхена и спрятали здесь, в замке, большие части партийного архива НСДАП; найти их, якобы, так до сих пор никто не сумел. Полагаю, что это легенда. Между тем, большие части баварского государственного архива действительно здесь хранятся, отчего легенда, наверное, и возникла – и каких еще тайн, думал я иногда, не скрывают в себе эти стены, эти бойницы, ходы и лазы, этот «глубокий колодец», как его называют, уходящий, в самом

деле, напрямиком в подземное царство? Мне нравилось бродить среди его, замка, за основную стену вынесенных бастионов, глядя на него вблизи и снизу, на эту каменную средневековую мощь; кафковский замок напоминал он, конечно; напоминал и ту крепость над ничтожным, погрязшим в пошлости городком, в которой содержат несчастного, непрозрачного для окружающих его пародий Цинцинната Ц., как и сам Эйхштетт напоминал, разумеется, тот безымянный, роковой городишко. Тамариных садов в нем не было, но чудесный был маленький парк возле университета, с тритонами, плескавшими прохладной водою, с ротондой и несколькими сероватыми статуями, охваченными внезапным ветром, налетающим ниоткуда. И была одна из самых прекрасных площадей, на какие вообще случалось мне выходить в этой жизни, полукруглая, как бы загибавшаяся площадь, с колонною и фонтаном, с изящно-уверенной линией загибавшихся тоже, с кариатидами, напротив дворца, фасадов – и самим, соответственно, дворцом, бывшим епископско-княжеским, вход в который охраняли две каменные, пустые будки, с каменными касками, на них водруженными, так что очень легко было представить себе каких-нибудь караульных гвардейцев из местного кукольного войска, в таких же точно касках с перьями марширующих возле этих будок, укрывающихся в них от дождя – но никакого караула, никаких гвардейцев разумеется, не было, были только будки, всегда пустые, разве что какие-нибудь заезжие дети, валяя дурака на радость фотографирующим родителям, становились в них – оболочка истории, форма без содержания. Был, наконец, вокзал, совсем не торжественный, зеленый, начала века, на который приходил, чтобы, чуть-чуть постояв, уйти обратно, малюсенький, из двух вагонов, поезд, один из тех поездов, какие почему-то в России называют *кукушками*, поезд, курсировавший между городом и другим, уже как бы настоящим, но все-таки необыкновенным, единственным в своем роде, посреди ничего, холмов, полей, в соседстве с каменоломней, расположенным вокзалом, где останавливались, и, надо полагать, до сих пор останавливаются настоящие, большие, в Нюрнберг или Мюнхен стремящиеся поезда, так что путешественник, прибывающий в этот реальный, действительно существующий, и все же не совсем реальный, отчасти призрачный Эйхштетт по железной дороге, оказывается прежде всего, прежде чем обнаружит *кукушку* на соседнем пути, выброшенным в полнейшую, со всех сторон обступающую его неизвестность.

28.

Я, впрочем, редко приезжал туда, уезжал оттуда на поезде. С покупкой первой машины

началась для меня совсем другая жизнь – стоявшая под знаком открытия новых мест, овладения автомобильной ездой и как бы репетиций уже задуманного мною побега из предложенной мне судьбою идиллии; вновь и вновь, иными словами, при всяком удобном случае, начал я из этого чудесного Эйхштетта уезжать, в соседние ли, не менее, или чуть менее захолустные городишки, Вейсенбург, Нейбург-на-Дунае (замечательный, кстати, тем, что именно там придумал Декарт свое «мыслю, следовательно существую», *cogito, ergo sum*, начало, как учили мы в детском саду, всей новой европейской философии; в «Рассуждении о методе» рассказывает он сам, как участвуя в Тридцатилетней войне, возвращался он, в ту пору двадцатитрехлетний, бесстрашный и чуть-чуть бесшабашный, судя по всему, что мы о нем знаем, с коронации императора в армию, был, однако, застигнут зимою и остановился на зимней квартире – он не говорит где именно, но большинство биографов предполагает теперь, что именно в этом Нейбурге, с его, тоже, замком, огромным, очень торжественным, но скорее уже не военным, барочным и ренессансным, в стенных росписях и с чудным гротом из ракушек, – и, поскольку делать ему там было нечего, разговаривать не с кем и никакие заботы, никакие страсти не отвлекали его, сидел целыми днями в теплой комнате с печкой – *dans un r eale*, как он пишет, то есть буквально «в печке» – предаваясь своим последовательным сомнениям, *de omnibus dubitandum est*, покуда не добрался до несомненного в себе, до вот этого *cogito*, дальше которого идти некуда, потому что всегда есть тот, кто сомневается, как бы сильно ни сомневался он во всем остальном, тот, кто мыслит, о чем бы ни мыслил он, из какового *cogito* и вырос впоследствии, как учили мы в яслях, пресловутый трансцендентальный субъект, до которого мне, в общем, в мои тридцать с чем-то лет уже не было дела... Было ли не было, а я все-таки не без тайного волнения, в память о философических восторгах молодости, оказывался всякий раз в этом Нейбурге, отделенном от Эйхштетта всего двадцатью с чем-то, выющимися среди полей километрами, но все-таки совсем на него не похожем, как не похожи были ни на него, ни друг на друга прочие городки, города, цели моих поездок, побегов... здесь скобки сами собой закрываются), в Нейбург, следовательно, в более далекий Нёрдлинген, где полностью сохранилась крепостная стена, по которой город можно было обойти целиком, заглядывая в навеки средневековую жизнь его обитателей, в не менее средневековый Динкельсбюль (одно название уже переносит нас прямоком в пятнадцатый век); или (оставляя всю эту глушь и глубь...) – в Мюнхен, куда очень скоро начал стремиться вообще переехать, куда смог переехать, увы, только в 2007 году, в другой жизни, и то

лишь на два с половиною года; или, но уже, конечно, с ночевкой или ночевками, уже надолго, к друзьям и знакомым, на север, на запад, через Нюрнберг и Вюрцбург, через Франкфурт, к примеру, мимо громадных сверкающих его башен, видных с дороги, возникающих, всякий раз, внезапным видением, и дальше, через Рейн, во Францию, в Бельгию, к морю, меловым прибором своим омывающему карту Европу... Поначалу, все-таки, без большого сожаления возвращался я в эйхштеттское одиночество; ставил машину на парковке возле реки; затаскивал сумку в ту, еще как бы студенческую комнату, в которой прожил первые полтора года. В этой комнате тоже была экзотика, поначалу меня не смущавшая. Располагалась она над булочной, точнее – над пекарней, где в неправдоподобную рань начинали выпекать, действительно, хлеб, причем какой-то поразительно невкусный, не знаю уж, как это им удавалось, самый невкусный в городе, так что эта булочная получила, среди студентов, прозвище гэдээровской, DDR-Bäckerei; память о прелестях социализма была еще в ту пору жива. С тех пор она, похоже, исчезла, и булочная исчезла тоже, закрылась после смерти тихого, не очень еще старого, постоянно курившего и шутившегося от сигаретного дыма хозяина, все время как будто уходившего в тень и в сторону, очевидно тушуясь, воспользуемся достоевским словечком, перед говорливой, болтливой, крикливой хозяйкой, продававшей его убогую продукцию в булочной с почти каким-то деревенским, напоминавшим мне поселковые магазины моего детства, прилавком, каковая булочная, в отличие от пекарни, пряталась в глубине старинно-сводчатого, в восемнадцатом веке, по сведениям хозяйки, построенного, с тех пор, впрочем, перестраивавшегося и как бы все усложнявшегося дома, выходила, понятное дело, на булыжную улицу. В глубине же дома, за многими коридорами, порогами, перепадами высоты, располагалась и та комната, которую снял я после довольно долгих и даже мучительных поисков (городок в ту пору не справлялся с наплывом студентов, и, по крайней мере – дешевого, жилья в нем почти не было; затем построили несколько общежитий, и положение улучшилось), комната, точнее: комнатенка, единственным окном своим выходившая в запущенный, заброшенный садик, спускавшийся к невидимой за деревьями, криком и токованием речных птиц оповещавшей мир о своем существовании реке, садик, белой стеною отделенный от соседнего смутного двора, в который вела с улицы бесконечно-длинная, сводчатая и с затхлым запахом арка, похожая на ход или лаз. Всегда виден замок был из окна, далеко, наверху, над городом, в чистом или, наоборот, нахмуренном небе. Мне очень странно думать теперь, конечно, что именно в этом совершенно случайном месте, в марте 1994 года, закончил я мой уже

много раз упоминавшийся выше роман, в котором ничего похожего на этот городок, этот замок еще не могло и быть, но была только Москва, «самый странный на свете город», и та «маленькая, за дюной притаившаяся деревушка» в Латвии, куда, как сказано и рассказано, я ездил в юности почти каждое лето, иногда и зимою. Так времена и эпохи нашей жизни накладываются, наплывают друг на друга, то, что уже закончилось, еще, по-другому, длится, еще отзывается посреди уже начавшейся новой, на старую совсем не похожей жизни. Закончив, кстати, роман, я почти сразу же и съехал оттуда, перебравшись во все же чуть более цивилизованную и менее экзотическую квартиру на одном из окружающих Эйхштетт (ненастоящих) холмов, языков и отрогов юрского плоскогорья.

29.

Закончив, в самом деле, в марте 1994 года роман, я послал, я помню, Двигубскому открытку с видом эйхштеттской крепости и с сообщением о том, что вот-де, *окончен мой труд многолетний*; в ответ пришло длинное письмо от руки, в котором, поздравив меня с завершением работы и пожелав не поддаваться обычной в таких случаях *непонятной грусти* (пожелание, как вскорости выяснилось, отнюдь и отнюдь не лишнее), он, в свою очередь, сообщал мне, что и в его жизни намечаются некоторые существенные перемены, он, П.Д., получил неожиданное предложение провести семестр в Дижонском университете с перспективой, как он выразился, продления еще, по крайней мере, на год; предложение, которым он, Двигубский, по-видимому, не сможет не воспользоваться, так буквально и написал он, поскольку выживать в Москве становится все труднее, от работы на четырех работах и мотания с лекции на лекцию у него не только не остается ни сил, ни времени на что-нибудь другое, но он все чаще спрашивает себя, зачем все это вообще нужно и когда кончится; к тому же и Света, упорно и на удивление успешно занимающаяся французским, так искренне надеется на лучшую жизнь для них для всех и в первую очередь, конечно, для Оленьки, что путей к отступлению у него, похоже, уже нет. Да он и сам всегда хотел попасть в Бургундское герцогство... Следующее письмо пришло уже из Дижона; если, писал он, вы, Макушинский, в Бургундском герцогстве еще не бывали, то, от имени Филиппа Доброго, Карла Смелого, а также, разумеется, Иоанна Бесстрашного, приглашаю вас поскорее приехать, мало видел я городов примечательнее и страннее сей заброшенной, но ничего не забывшей столицы... Что же до него самого, то, увы, как и предполагал он, академическая его деятельность отмечена той роковой расплывчатостью и

высокопарной необязательностью, которая, если он смеет судить, все более и более овладевает гуманитарными дисциплинами, о чем нам с ним следовало бы как-нибудь поговорить подробнее, при встрече, например, у него в Дижоне. Он, Двигубский, как бы то ни было, получил здесь стипендию под, как ныне принято выражаться, проект, посвященный русско-французским связям и дипломатическим отношениям при Наполеоне Третьем и Александре Втором, что само по себе вовсе даже неплохо и давно уже интересует его, поскольку, если я помню (я не помнил, конечно), он еще в ранней молодости занимался внешнеполитической позицией русских реформаторов, как то: Милютин, Самарина и Валуева, так что написать на эту тему работу, хотя бы и по-французски, а именно такой работой должно закончиться, в научном смысле, его пребывание здесь, для него не составит большого труда, загвоздка лишь в том, и даже никакая не загвоздка, но тоска и мерзость, прямо скажу вам, что этот его, с позволения сказать, проект, представляет собою лишь крошечную и ничтожную часть некоего огромного общего проекта, если угодно – суперпроекта, в котором задействованы десятки, а то и сотни бездельников, вроде него самого, и на который французское министерство образования отвалило немыслимую, по его сведениям, какую-то запредельную сумму денег, чистых, чуждых, хрустящих франков, достойных лучшего применения, проект же этот, то есть суперпроект, посвящен, excusez-moi и понимайте, как хотите, Порядку и Беспорядку вообще, *Ordre et Désordre* во всех сферах бытия и проявлениях жизни, почему и он вынужден вставлять в свой анализ вполне конкретных и вполне интересных явлений, отношений, высказываний и связей idiotские абстрактные рассуждения о вообще Порядке и вообще Беспорядке, и я сам могу, конечно, представить себе, какое удовольствие доставляет ему эта навязчивая постмодернистская чепуха, тем более что, как все мы знаем, страна у нас богата, а порядка в ней нет. О, конечно, первоначально-синтетическое единство апперцепции является самой важной предпосылкой феноменологической редукции, и в хмелю веселый был Назар, но зачем же стулья ломать? Коллеги, увы, разговаривают цитатами из Фуко, так что он, П.Д., предпочитает тихо сидеть в библиотеке и читать что-нибудь для себя. Здесь книги есть замечательные... Тем не менее и несмотря на, кажется, сложившуюся у него репутацию нелюдимого чудака, невежи, русского медведя и варвара, у него, П.Д., есть вполне реальный шанс получить здесь полную преподавательскую ставку на целых три года, что было бы, как вы сами понимаете, великолепно, хотя Дижон, прямо скажем, при всей его восхитительной странности и чарующих воспоминаниях о Бургундском герцогстве, этой великой

неосуществившейся возможности, неудачной попытке, проигранной партии..., Дижон, при всем при этом, место не самое подходящее для жизни, глухая, в сущности, провинция, не глуше, наверное, вашей баварской, но провинция все же достаточно глухая и глупая, как все они, так что Света, с не перестающим удивлять его упорством устраивающая все как-то по-своему, даже и не ищет для себя работы здесь, в Дижоне, но ищет ее сразу в Париже, с тем чтобы жить на два города, как это делают, что мне, конечно, известно, по всей Европе университетские наши братья, родственники, товарищи по несчастью... Засим прощаюсь с вами, дорогой Макушинский; если вы не приедете ко мне в столицу Бургундского герцогства, придется мне первому отправиться к вам в столицу Эйхштеттского епископства-княжества, куда я при всех обстоятельствах к вам приеду, до или после вашего визита ко мне, все равно, и не только, сударь мой, чтобы насладиться очаровательной беседою вашей, но и чтобы увидеть надгробия святых Виллибальда, Вунибальда и Вальпурги, столь проникновенно и обстоятельно описанных вами, главное же – чтобы взглянуть на дворец князя-епископа, резиденцию, между прочим, Евгения Богарнэ, пасынка Наполеона, не Третьего, разумеется, коим вынужден я заниматься, но настоящего, Первого, поскольку сей Евгений Богарнэ, сын незабываемой Жозефины, женат был, с титулом герцога Лейхтенбергского, на дочери баварского короля Максимилиана и в 1817 году, то есть уже после низложения великого императора, своего отчима, получил во владение ваш Эйхштетт, утративший, за примерно одиннадцать лет до того, в 1806 году, в результате, как нетрудно догадаться, падения Священной Римской империи Германской нации, самостоятельность и сделавшийся частью Баварского королевства. Впрочем, все эти пленительные подробности вам наверняка известны гораздо лучше, чем мне, так что на сей раз я и вправду заканчиваю мою столь неприлично затянувшуюся эпистола. Света вам кланяется, Оля вас помнит.

30.

Все эти пленительные подробности известны мне, разумеется, не были. С тех пор узнал я, что Евгений Богарнэ, пасынок Наполеона и сын Жозефины, так и не поселился в пожалованном ему городишке (как я его понимаю...), лишь изредка приезжал поохотиться в окрестных лесах, в остальное же время спокойно жил в Мюнхене (и это понятно мне), в построенном для него на Одеонсплатц, в самом начале Людвигштрассе, архитектором Лео Кленце дворце, где ныне располагается баварское министерство финансов, а также в своей загородной резиденции в Исманинге (куда я ездил,

впрочем не часто, гулять впоследствии, в мои мюнхенские, хорошие годы). От брака же его с баварской принцессой произошло семеро детей; младший сын его, между прочим, все в том же 1817 году и родившийся, в честь дедушки названный тоже Максимилианом, в 1837 году женился на дочери Николая Первого, великой княжне Марии Николаевне; потомки их получили титул князей Романовских. И это единственная связь Эйхштетта с Россией, которую мне удалось обнаружить... Примечательна была судьба и других детей Евгения Богарнэ; старшая дочь его, Жозефина Максимилиана Евгения Наполеоне, выйдя замуж за Оскара Первого Бернадота, второго короля династии Бернадотов, то есть сына наполеоновского маршала, сделалась королевой Швеции и Норвегии; старший сын, Август Шарль Эжен Наполеон, женат был на Марии Второй да Глория де Браганса, в 1834 году, за пару месяцев до смерти этого самого Августа Шарля Эжена, сделавшейся королевой Португалии; третья дочь, наконец, Амелия Августа Евгения Наполеоне, замужем была за Педру Первым, императором Бразилии, отцом, между прочим, упомянутой только что Марии Второй да Глория де Браганса, рожденной им в первом браке с эрцгерцогиней австрийской Марией Леопольдиной. С одной очаровательной представительницей рода Браганса, после португальской революции 1910 года престола своего, к несчастью, лишившегося, встречался я однажды в Париже... Все это в высшей степени любопытно, конечно, говорил мне Двигубский, и причем говорил мне это вовсе не в Эйхштетте, до которого почему-то так никогда и не доехал, почему я не знаю, и Света не знает тоже, как не доехал он и до Ельца, куда впоследствии (в мюнхенские хорошие годы) съездил я за него, но говорил мне это, отлично помню, в нашу первую встречу в Дижоне, до которого я сам, наконец, доехал (на том огромном, бензинопожигающем, к тому времени уже воспринимавшемся как пережиток прошлого, динозавр восьмидесятых, за смехотворную сумму в две с половиной тысячи марок купленном мною «Опеле Коммодоре», на котором я ездил тогда по Европе) только осенью 1996 года, к каковому времени Двигубский уже год, если не больше, работал, в самом деле, на упомянутой выше полной ставке, преподавая, как выяснилось, в основном историю двадцатого века и проводя в Дижоне, во время семестра, четыре, как правило, дня, на выходные и, разумеется, на каникулы уезжая в Париж, где Светлана устроилась, действительно, на тяжелейшую, как я понял по ее позднейшим рассказам, работу, в приют для больных стариков, не врачом, хотя, конечно, и не просто сиделкой...; все это (возвратимся к началу фразы) в высшей степени любопытно, кто ж спорит, говорил мне Двигубский в Дижоне, но его-то в

первую очередь интересует все же именно русская линия герцогов Лейхтенбергских, отличавшихся, судя по всему, немалыми способностями к естественным наукам; первый из них, Максимилиан, муж Марии Николаевны, состоял, как сообщает энциклопедия Брокгауза и Эфрона, говорил Двигубский, не цитируя, конечно, по памяти, такой памяти и у него не было, но пересказывая эту лучшую из энциклопедий (стоявшую у моего отца в кабинете, так что всякий раз, когда я произношу, или вот пишу, эти имена, Эфрон и Брокгауз, этот отцовский кабинет, вместе с шумом летнего сада за окнами, wpłyвает в мою память и прозу...), это я теперь по своему обыкновению сверил цитаты, «президентом императорской академии художеств, главнoзаведующим горным институтом, неременным членом ученого комитета корпуса горных инженеров. Производил изыскания в области гальванопластики, ... учредил в СПб. гальванопластический завод, принимал горячее участие в постройке первых железных дорог, способствовал постройке паровозов в России»; а сын его, князь Николай Максимилианович Романовский герцог Лейхтенбергский (1843-1890), генерал от кавалерии, генерал-адъютант, «с особой любовью занимался минералогией, собрал замечательную коллекцию минералов, ... с 1865 г. был президентом минералогического общества. По его мысли и на средства, им исходатайствованные, минералогическое общество с целью составления подробной геологической карты России предприняло ряд систематических геологических экскурсий, результаты которых печатаются в "Материалах для геологии России", выходящих с 1869 г.». Женат был этот Николай Максимилианович, говорил Двигубский, морганатическим браком на Надежде Сергеевне Анненковой, по первому браку Акинфьевой, от какового союза произошло двое детей, Георгий Николаевич и Николай Николаевич Лейхтенбергские, оба участники Белого движения, и вот если вы откроете, например, «Архив русской революции», том 8, страница какая не помню, такой памяти и у меня нет, то сразу обнаружите там воспоминания «герцога Г. Лейхтенбергского» под названием «Как началась „Южная Армия“», каковая «Южная Армия», созданная в Киеве летом 1918 года при поддержке немцев, была довольно безалаберной, если я смею судить, попыткой организовать чисто монархическую армию, в противовес Добровольческой, вожди которой держались, как известно, в стороне от политики, как это вообще свойственно военным, полагая, очевидно, что надо сначала изгнать бесов-большевиков, а потом уже собраться и решить («всем миром», «Земским собором», «Учредительным собранием»...), как жить дальше. Что, конечно, было их роковой ошибкой – так можно справиться с врагом внешним, с врагом внутренним не справишься так, у врага этого

ясные лозунги, земля – крестьянам и фабрики – рабочим, лозунги демагогические, лживые, подлые, но, увы, понятные «массам». О чем я своим студентам и рассказываю каждый семестр по несколько раз. Когда обманутые «массы» победили, герцог Георгий Лейхтенбергский бежал, ясное дело, в Баварию, на родину предков, где в 1929 году и скончался и где теперь живут, насколько я знаю, его немалочисленные потомки. Да, сказал он, отвечая на мой вопрос, он продолжает заниматься Гражданской войной, весьма и весьма усердно, это связано с преподаванием, но и не только с ним, нет, не только. Книга о русской истории, о которой он говорил мне в Коломенском? Что-то он такого разговора не помнит. Сейчас у него другие, более важные замыслы. И вот сейчас мы повернем налево, выйдем к собору... Я сказал ему, что он совершенно не изменился. Он ответил, что судить об этом не может. А все-таки ему кажется, что он как раз изменился за эти последние годы, и даже изменился так сильно, как не менялся никогда в жизни. Внешне, во всяком случае, он был еще такой же, каким я оставил его уезжая. Внешние изменения начались позже, года через два, через три. Ему было тридцать восемь лет в ту дижонскую нашу встречу. Я спросил его, как ему здесь живется. Ему здесь не живется никак, потому что он не живет здесь. Он живет в Париже, сюда же просто приезжает работать. А вечерами? А вечерами здесь довольно тошно, сказал он.

31.

Дижон в этот первый приезд мой поразил меня, как и во все последующие, своей сухость, строгостью, безводной, каменной, костяной. Жизнь ушла отсюда вместе с Бургундскими герцогами, сказал мне Двигубский, эти улицы как будто все еще ждут их, все надеются, что Карл Смелый когда-нибудь возвратится... Я снял в гостинице «Ибис» комнату с видом на широкую, несколько улиц вбирившую в себя площадь с торжественными, из того серо-желтого камня, из которого вообще построена Франция, фасадами официальных, как показалось мне, нежилых и каких-то заброшенных зданий, неожиданных вкраплений Belle Époque в узкий, тесный, средневековый Дижон. Двигубский заходил ко мне пару раз, я же, отказавшись от его предложения ночевать на матрасе в той полустуденческой, как выразился он, комнатенке, которую снимал он возле университета, в кампусе, говоря академическим языком, всюду тем же, так и не побывав у него, не видел и сам дижонский («Бургундский») университет (Université de Bourgogne), очередной, по двигубскому, опять-таки, выражению, шедевр современной архитектуры с вывернутыми наружу внутренностями (костями, кишками...); прогулки наши ограничивались старым городом, который на второй, тем более на третий день я,

казалось мне, знал уже наизусть, по которому кружили мы, кругами приближаясь к чему-то, от герцогского дворца к собору и от собора обратно к дворцу, на полукруглую площадь за этим дворцом и по узким улицам обратно к собору, к его химерам, на которые всякий раз смотрели подолгу, задирая головы к небу, которые, нависая над нами, вновь и вновь предлагали нам в них поверить, от светской власти к власти церковной, от земной к небесной и обратно к земной, заходя в музей, с гробницами бургундских герцогов, каждая из которых являет собою как бы скорбящий мир в миниатюре, заходя в кафе на полукруглой парадной площади перед герцогским дворцом, заходя в какой-нибудь ресторан пообедать или поужинать, в марокканский, я помню, ресторан, в переулке недалеко все от той же дворцовой площади, где кус-кус подавали в медных, с чеканкой, тарелках и мятный чай в разрисованных стаканчиках прямо из Шахерезады, продолжая свое кружение по этим окостеневшим в ожидании улицам из серо-желтого камня, мимо решеток, колонн со львами, лестниц, арок и башен...; в истории, говорил Двигубский, бывает великие неудачи, необыкновенные неосуществившиеся возможности; так, Бургундское герцогство, говорил Двигубский, есть великая неосуществившаяся возможность третьей большой европейской срединной нации, между Францией и Германией, нации, и, соответственно, государства, в которое влились бы нынешние Голландия, Бельгия, Люксембург, Лотарингия и Эльзас, собственно Бургундия, быть может Шампань и Пикардия, или какие-то части их, возможно даже Пфальц, вообще левобережные Рейнские земли от Базеля до Северного моря, государства, которое и на юг могло бы, наверное, вытянуться, дотянуться до Лиона, до Марселя, до Ниццы... Все это так, исторические мечтания, сослагательное наклонение прошедшего времени. А что осталось от всего этого? Ничего не осталось. Раздробленные маленькие страны, области, переходящие из рук в руки, от французов к немцам, от немцев к французам. Осталось, конечно, предание, легенды и гробницы, сказал он. Осталась живопись, сказал я, Рогир ван дер Вейден, ван Эйк и как их всех звали... Мы сошлись с ним в ту нашу встречу на любви к Рогиру и ван Эйку; открытку с репродукцией рогировского портрета Карла Смелого, висящего в Берлинском музее, я обнаружил потом, в 2004 году, в его, Двигубского, им присланных мне бумагах... Той полустуденческой жизни, которая была у меня в Эйхштетте, в Дижоне у него не было, понял я с его слов. Небольшая, но все-таки разница в возрасте сыграла здесь свою роковую роль. Мне было тридцать два, когда я приехал в Эйхштетт, ему, когда он оказался в Дижоне, все-таки уже тридцать шесть. И он был уже отец семейства, молодой ученый, затем преподаватель, уже навсегда,

конечно, отделенный от беззаботной студенческой среды прозрачной, но непреодолимой преградой, стеклянной, непробиваемой стеной положения и возраста. Коллеги? Коллеги иногда приглашают в гости, два раза в год. Причем каждое приглашение поступает месяца за два и долго, нудно обсуждается в течение этих двух месяцев, как если бы этот ужин у профессора такого-то, или, тем более, вечеринка у профессора эакого-то была чем-то вроде полета на Луну, к которому следовало готовиться, напрягая все силы, не щадя живота своего... Все это мне еще предстояло узнать, и очень хорошо узнать, в моей собственной немецкой университетской жизни. А вот, между прочим, упомянутая выше Надежда Сергеевна Анненкова, сказал он вдруг, по первому браку Акинфьева, вторым браком замужем за герцогом Николаем Максимилиановичем Лейхтенбергским, эта Надежда Сергеевна Анненкова была, между прочим, сестрою, сказал вдруг Двигубский, не знаю только, младшей или старшей сестрою, некоей Марии Сергеевны Анненковой, о которой довольно подробно рассказывает в известном своем дневнике Анна Федоровна Тютчева, дочь нашего с вами любимого поэта, той самой Марии Сергеевны Анненковой, которой, в состоянии, как в ту эпоху выражались, сомнамбулизма являлась не кто-нибудь, но сама Мария-Антуанетта, извольте видеть, да-с, Мария-Антуанетта, гильотинированная королева французская. Мы сидели, в очередной раз, в кафе на полукруглой площади, возле герцогского дворца; у Двигубского, как и у многих очень худых людей, бывали приступы неутолимого, неутомимого голода, бывали и приступы, как выражался он сам, сладкоедства; съев первый эклер, с ванильным кремом, заказал он тут же пирожное, похожее на русскую «картошку», затем второй, с кофейным кремом, эклер. Но самое лучшее пирожное в своей жизни, заметил он со вздохом и в скобках, ел он все же в городе Маастрихт... Она была фрейлиной великой княгини Александры Иосифовны, жены великого князя Константина Николаевича, эта m-lle Анненкова, как язвительно именуется ее Анна Федоровна, которую он, Двигубский, сейчас как раз (в который раз? вставил я) перечитывает; великая княгиня и магнетизировала ее. Мария же Антуанетта, явившись ей в трансе, сообщила маленькой негоднице, как называет ее опять-таки А.Ф.Т., что она вовсе не дочь своего отца, разорившегося развратника, но дочь принца Ангулемского и какой-то датской принцессы и что доказательством может служить какой-то образ, на котором будто бы написано, что он принадлежит Марии Бурбон. Такой образ у отца обманщицы, конечно, нашелся, как же иначе. Все это очень смешно, но еще смешнее то, какое значение придавали всему этому при дворе, то есть, прошу заметить, императрица не выкидывала ее многочисленных писем, написанных,

якобы, все в том же трансе от имени Марии-Антуанетты, требовавшей, чтобы и m-Ле Анненковой как дочери принца Ангулемского оказывали соответствующие почести и назначили соответствующее содержание, а внимательнейшим образом их прочитывала и обсуждала с придворными, а сам государь, возвращаясь ни много ни мало с Крымской войны, заехал в Курск, где она тогда находилась, чтобы встретиться с авантюристкой, но все-таки, кажется, не поверил ее сказкам. Ее услали, в конце концов, за границу вместе с некоей госпожой Берг, каммерфрау все той же великой княгини Александры Иосифовны, каковая госпожа Берг то ли полностью ей подчинилась, то ли решила и сама участвовать в обмане, поверила в частности, или сделала вид, что поверила, что ее собственный, госпожи Берг, муж – скончался, и принялась носить по нем траур. Бедный муж все писал ей письма, стараясь убедить ее, что жив и здоров... Я вспомнил, не сразу, может быть, но затем – вдруг, в мгновенной вспышке печали и узнавания, ту весеннюю ночь 1980 года, когда мы пытались заниматься спиритизмом у меня на узкой кухне, под руководством художника Ики и в скептическом присутствии Феба, ночь, которую П.Д., прикончивший свой третий эклер и подозревавший официантку, чтобы с ней, наконец, расплатиться, не мог как раз вспомнить. Он помнил, что был какой-то спиритический сеанс, но нет, не мог вспомнить подробностей. Прошло шестнадцать лет с тех пор, кусок вечности. Нет, он ничего не знает о художнике по имени Ика, он в последний раз видел его в середине или конце восьмидесятых, не вместе со мной ли? на Гоголевском бульваре. А прочие персонажи «чердака»? Кое-что кое о ком он знает; немного. А хорошее было место, *чердак*, он иногда вспоминает о нем теперь, как о чем-то уже совсем неправдоподобном. Самое лучшее было, конечно, окно. Какое окно? спросил я. Что значит, какое окно? спросил он. Знаменитое окно на всю Москву. Знаменитое на всю Москву окно на всю Москву, поправил он сам себя, очевидно радуясь каламбуру. Впервые слышу, сказал я. Как ни старался я убедить его, я помню, что никакого не знаю окна на всю Москву, он, Двигубский, упорно отказывался в это верить, почти как госпожа Берг – письмам своего мужа, упрямо повторяя, что главной достопримечательностью *чердака* было именно это, в глубине, за перегородкой и стропилами спрятанное угловое окно, из которого открывался невероятный, единственный в своем роде вид на весь город, включая Кремль, и здание университета, и здание на Котельнической набережной, и здание гостиницы «Украина», столь хорошо мне известное, и прочие причуды Навуходносора, так что всех, впервые на чердак попадавших, неизбежно подводили в этому окошку, небольшому и круглому, и оставляли там ахать и восхищаться, он же,

Двигубский, простаивал там, бывало, подолгу, не в силах справиться с той печалью, которая была ему в молодости так свойственна, отзвуки которой он чувствует до сих пор. Я спросил его, откуда, по его мнению, идет в нем эта печаль. Он ответил, что не знает откуда, что все идет, наверно, из детства, но что, во всяком случае, в молодости он доходил, бывало, до каких-то очень сильных степеней этой печали, не той, кстати, яростной тоски, которая, если он смеет судить, была скорее свойственна мне, Макушинскому, и за которой, как ему кажется, скрывается все же некая надежда, порыв к иному и стремление изменить свою жизнь, но печали безнадежной, заранее сдающей позиции, не верящей ни в какое будущее, печали, более близкой, пожалуй, к отчаянию, чем любая тоска..., так глубоко, бывало, проваливался в эту печаль, что единственным для него выходом было заставить себя одеться, собраться и пойти куда-нибудь по заснеженным улицам, пойти же не всегда ему было куда, отчего, кстати, его знакомство с хозяином *чердака*, пожилым и вечно курящим художником, имени которого я, во время нашего дижонского разговора по-прежнему не знал и не помнил, он же знал и помнил, конечно, знал кое-что и о его дальнейшей жизни, то ли в Тель-Авиве, то ли в Хайфе, не помню, – отчего, говорил Двигубский, знакомство это, произошедшее совсем незадолго, месяца, наверно, за три или четыре до нашего с ним знакомства, возле театра «Современник», в пурге и поземке, и, следовательно, вдруг открывшаяся ему возможность всегда, чуть ли не в любое время суток, куда-то пойти, поскольку на *чердаке*, в самом деле, всегда, в любое время суток, кто-нибудь был и что-нибудь происходило, – эта возможность и знакомство это были для него, Двигубского, говорил он, чуть ли не избавлением, спасением, позволившим ему перебраться через самый, может быть, высокий в его жизни, так он выразился, это я помню точно, перевал отчаяния, перепрыгнуть через самую до сих пор глубокую пропасть печали... Так мы начали с ним говорить о прошлом, о котором никогда, мне кажется, не говорили в России.

32.

Не в этот, однако, но во второй мой приезд к нему, не в Дижон на сей раз, в Париж, тоже осенью, но уже 1997 года, он, перебирая обстоятельства этого прошлого, как будто обрубленного эмиграцией, напомнил мне ту первую нашу совместную прогулку весной 1981 года, когда я работал на киностудии, а он, Двигубский, как раз закончил университет и занимался древнегреческим языком – занятия, которые вскорости он оставил, затем, о чем я не подозревал до тех пор, попытался, уже в аспирантуре,

возобновить, ходил даже, в течение одного семестра, на классическое отделение филологического факультета, где, между прочим, признался он мне в Люксембургском саду, он, Двигубский, влюбился в некую девушку, чуть ли не первокурсницу, имени я не запомнил, и она, как ему, по крайней мере, казалось, осталась к нему не равнодушна, и хотя ничего между ними не было, кроме прогулок по Воробьевым горам, все-таки он довольно сильно, по его выражению, страдал и мучился, когда они, каким-то необъяснимым образом, без всякой видимой причины, как это бывает в юности, и наверное только в юности, с нею расстались, каковое, до сих пор необъяснимое для него самого расставание кажется ему теперь одной из причин его, вскоре вслед за тем последовавшего, переезда в Ленинград; все это было совершенной новостью для меня. Во второй, следовательно и начнем еще раз, приезд мой к нему, не в Дижон, но в Париж, он, Двигубский, напомнил мне ту прогулку и тот свой полусон, не-совсем-еще-сон, о котором он рассказывал мне на Тверском бульваре, в другой жизни, шестнадцать лет тому назад, на грязно-белой, из тонких реек, русской скамейке, и о котором я сам, к 1997 году, успел, конечно, напрочь забыть. Таких скамеек здесь не бывает, сказал он, показывая на зеленые железные стулья Люксембургского сада, по-своему тоже прелестные, и он бы дорого дал, чтобы посидеть сейчас там. За чем же дело стало, сказал я, поезжайте и посидите. Я сам никаких ностальгических чувств не испытывал, они пришли ко мне позже. Смешно сказать, но он не может съездить туда из-за паспорта, у него паспорт какой-то старый, с советским гербом на обложке, и если он въедет с ним в Россию, то уже не выедет по нему, и значит, придется там делать новый и там же ставить французскую визу, что, конечно, осуществимо, но может затянуться на неведомо долгий срок, а здесь в русском консульстве ему новый паспорт не выдают, хотя он несколько раз туда обращался. Езжайте, говорят, в Москву, там и меняйте. А после посещения русского консульства желание ехать в Москву пропадает надолго... У Светы, кстати, правильный паспорт, она уже пару раз летала к родителям в Петербург. Людей было очень много в Люксембургском саду, солнце светило жарко, болела голова и как-то было мне неуютно... Я чувствовал себя, я помню, как часто чувствую себя в Париже, прежде всего – уставшим, от метро, конечно, утомительнее которого, как мы знаем, нет ничего на свете, от целого дня блужданий по городу накануне. Двигубский, предложив мне, как некогда на Тверском на скамейке, посидеть на, как выразился он, раскоряках у поблескивавшего на солнце пруда с тонкоструйным фонтаном, снова заговорил вдруг о том давнем полусне, нет, не сне, и о том, что полусон этот не покидает его все эти годы, да, вот вы не поверите, Макушинский, прошло уже сколько

лет? уже шестнадцать лет, Боже мой, а он все снова и снова возвращается к этому видению... сюжету... этому, он сам не знает чему. Странное дело, он так ясно видит все это, этот маленький город, город в долине, откуда-то сверху видит его, с его крышами, куполами, кронами деревьев, блеском рельсов возле вокзала..., и какую-то площадь видит он в этом городе, какую-то огромную, всегда пустынную площадь, и вот, видит – кого-то, героя этого не-сна, полусна, на площади, булыжной гладью расстилающейся перед ним. Я снова, через шестнадцать лет, уже давным-давно расставшись, конечно, со своими кинематографическими мечтаниями, сказал ему, что из этого можно было бы сделать фильм; замечание это снова ему не понравилось. Фильм? Нет, фильм он не знает, как из этого сделать, и к кинематографу он никакого отношения не имеет, и вообще причем здесь фильм, и вообще непонятно, зачем делать из этого что бы то ни было, это просто есть в нем и все тут, но уж если делать что-нибудь, то можно было бы написать повесть, да, повесть, «Город в долине», и он уже чувствует, что. Что – что? Что ему придется, сказал Двигубский, закидывая одну длинную ногу за другую и обхватывая острое колено руками, что ему придется эту повесть написать, вот и все, что никуда он от этого замысла не убежит, да и бежать некуда, да в общем и незачем. Добро пожаловать в задорный цех, сказал я. Он начал раскачиваться на своем зеленом стуле, поскрипывая гравием. Сейчас свалитесь, сказал я ему. Мы сидели, вот вспомнил, не у самой воды, но – на возвышении, вполоборота к дворцу; за деревьями слева видна была Эйфелева, еще дальше налево, за, опять же, деревьями, едва начинавшими желтеть, Монпарнасская черная башня (как если бы время поворачивалось вместе с нами, от прошлого к будущему, но против часовой стрелки). Двое белокурых мальчишек в синих футбольных майках, с неизбежной надписью Zidane на одной, Djorkaeff на другой, перебрасывали друг другу мяч от нас справа, ни малейшего внимания не обращая на проходивших сквозь их игру японцев, американцев, на сидевших на стульях и на скамейках старушек, студенток, на святую Женевьеву, на Марию Стюарт, на Маргариту Анжуйскую с прижавшимся к ней ребенком и змеевидной короной на голове, но все подбрасывая и подбрасывая этот белый, кожаный, настоящий, в черных шашечках, мяч, перекидывая его с ноги на ногу, останавливая ногой или корпусом, пропуская между ног, чтобы тут же отбить его пяткой, ни о чем, конечно, не думая, никуда вовек не спеша, подобно зверькам или насекомым, вот этим тонким осам, бесконечно вьющимся над вонючей, переполненной туристическими отбросами урною, вне мира, вне времени. Что же, это будет исторический роман, или... Нет, он тут же перебил меня, не роман, а повесть, и,

конечно, никакая не историческая. Неужели я думал, что он опустится до столь примитивного рода литературы? Нет, ему видится что-то простое и строгое, что-то на старый лад, в духе, если угодно, той сухой французской прозы, которую так любит его отец. Привет от которого он забыл передать мне. Привет мой которому он, разумеется, передаст. Только действие, страсть и страдание. Без долгих рассуждений, даже без диалогов. Почти без. Но это действие будет все же происходить в какую-то определенную эпоху, спросил я, в каком-то месте, в какое-то время? Конечно. Конечно, да. Конечно, нет. Да и нет, нет и да. Конечно, действие должно происходить в некое определенное время, даже очень определенное, он точно знает какое, а с другой стороны... с другой стороны, есть во всем этом что-то, лежащее вне всякого времени, за пределы времени отсылающее. Сам сон, не-сон, был вне времени, был – никогда, был – всегда... В пределах времени действие должно происходить в конце лета, в начале осени 1919 года, в пору большого деникинского наступления на Москву, сказал он – с интонацией почти деловитой, как бы на что-то решившись. Герой, вместе с Добровольческой армией, вступает в тот город, маленький город, город в долине, в котором, или, может быть, возле которого прошло его детство, в котором он несколько лет не бывал, года, допустим, с шестнадцатого, когда его забрали в армию и отправили, после школы прапорщиков, на Юго-Западный фронт. Все это он представляет себе очень ясно; он других вещей пока не понимает, не видит. А как его зовут? Кого – героя? Его зовут... нет, он не может сказать мне этого. Вы сами знаете, Макушинский, имя – это что-то такое заветное, тайное. Выдать имя – разоблачить, власть над именем – власть над самим человеком... А я вообще не знаю, стоило ли мне заговаривать с вами обо всем этом. Может быть, не стоило, но, видно, хотелось. Как вы догадываетесь, вы первый, с кем я об этом заговорил. И, как вы тоже, конечно, догадываетесь, я потому и занимался историей Гражданской войны, все эти годы; теперь и здесь заниматься ею одно удовольствие, все материалы доступны. Там происходит революция в миниатюре, в этом маленьком городе, вот что, там, в тылу у белых, возникает республика, эфемерная республика, подобная той Елецкой, если она была, о которой я вам когда-то рассказывал, если помните, подобная тем призрачным государствам, которые возникали, например, в 1919 году, вдоль Транссиба, почему, собственно, говорил Двигубский, придуманная им... нет, не придуманная, им увиденная история скорее могла бы происходить именно в Сибири, но пускай уж происходит на Юге, в Сибири он никогда не бывал, а русский юг все-таки представляет себе, так что придется ему, пардон, историку, поступиться историческим

правдоподобием, впрочем, в весьма незначительной степени, поскольку и в европейской России возможно было, конечно, все, что угодно, возможен был даже тот царь Глинский и всяя правобережной Ворсклы, о котором, если я помню, он тоже некогда рассказывал мне, крестьянский царь, разбойный царь, Кудеяр, тоже ведь, прежде чем венчаться на царство, объявивший себя верховным комиссаром... Я вдруг почувствовал, что он волнуется; он признался мне, что давно уже думает обо всем этом именно как о повести, давно уже делает наброски и записи, но сталкивается с такими трудностями, которых даже и предположить не мог поначалу и с которыми справиться не в состоянии. И прежде всего ощущение вторичности, ощущение какой-то несносной литературности всего, что он пишет, отравляет для него эту работу, за которую, впрочем, он еще толком не принимался, слишком много времени и сил отнимает у него дижонское преподавание, эти бесконечные разъезды и поезда, и эти научные, псевдонаучные работы, которые тоже вынужден он писать. А с другой стороны, это только отговорка, конечно, и время, и силы у него, наверное, нашлись бы, если бы не вот именно это ощущение какой-то исконной неправильности, неосуществимости его замысла, злосчастное ощущение литературности, сказал он, вставая и как бы предлагая мне тем самым закончить наш разговор. Литературность – главный враг литературы, сказал я, вставая тоже. Вот именно, проговорил он, литературность – главный враг литературы, конечно. Мы пошли, очень медленно, вдоль пруда, мимо лужайки с по-прежнему гонявшими свой мяч сорванцами, мимо статуй, сквозь тени и солнце к выходу на бульвар Сен-Мишель. Как писать, всерьез, о какой-нибудь городской управе, каких-нибудь армяках и аргамаках, о пристяжных и коренниках, как все это воняет литературой... А поручик? От одного слова *поручик* хочется пойти и повеситься. От *вашего благородия* броситься с Пон-Нёф в Сену. Я напомнил ему, забытую им, как выяснилось, мандельштамовскую эпиграмму начала тридцатых годов: «Один еврей, должно быть комсомолец, живописать решил дворянский старый быт: на закладной под звуки колоколец помещик в подорожную спешит»; способность хохотать, пополам сгибаясь, на весь бульвар Сен-Мишель, Буль-Миш, говоря по-парижски, была продемонстрирована им, как некогда в Шведском тупике, возле Нового МХАТа; вот именно, хохотал он, вот и я, на закладной и под звуки колоколец, все еду и все никак не могу доехать ни до какой подорожной.

33.

Отхохотав, он предложил мне пойти по улице Сен-Жак, параллельной бульвару, одной

из, в отличие как раз от бульвара, старейших улиц Парижа, проложенной еще римлянами; мы пошли к ней, я помню, по недлинной улице с примечательнейшим названием rue de l'Abbé de l'Éree, улице Аббата Шпаги, примечательной еще и тем, говорил Двигубский (с той иронической интонацией всеведения, которая так остро напомнила мне московские наши прогулки, что я, кажется, даже не сразу расслышал его слова), еще и тем примечательной, прошу вас заметить, что в 1902 году здесь жил Рильке, не просто жил здесь, но это был первый его парижский адрес, отчего и действие, если это действие, столь хорошо памятных вам «Записок Мальте Лауридса Бригге» и начинается вот на этой улице Сен-Жак, Святого Иакова – на которую мы и свернули. Я был поражен. Ничего особенного в сведениях этих не было; улица Святого Иакова у Рильке прямо названа в тексте, найти ее на плане города не составляет труда, так что и мне бы труда не составило прийти на это место самому, одному, давным-давно, в любой из моих приездов в Париж. А все-таки я был поражен. Вот это здесь? спросил я в какой-то даже растерянности. Это здесь, значит, пахло йодоформом, жиром от фритированной картошки и страхом, nach Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, nach Angst? Да, это здесь. Сюда, значит, говорил Двигубский, тоже цитируя, приезжают люди, чтобы жить. Я-то думал, здесь умирают. Я выходил на улицу. Я видел: больницы. Нет, кажется, ничего совершенней, пронзительней и чудовищней этой первой записи, помеченной 11 сентября, rue Toullier. Rue Toullier – это рядом, мы сейчас дойдем до нее, сказал он. Я повторил, я помню, по-немецки эту незабываемую первую запись. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen: Hospitälér. Это он военный госпиталь Val-de-Grâce имеет в виду, говорил Двигубский, своей по-прежнему не очень удачно привинченную рукою показывая куда-то вправо. Мы повернули налево по rue Saint Jacques. Да, сказал он, здесь умирают... Рильке писал это в 1904 году, мои герои еще почти дети в то время. А кажется, что Рильке, и Париж начала века, и эта проза... Что же? Кажется, что они ближе, что это почти сейчас, почти здесь, за углом. А ту Россию и вообразить себе невозможно. Потому что здесь что-то еще продолжается, а та Россия – потонувший континент, Атлантида... Мы опять свернули налево, затем направо, в rue Toullier, где Рильке и поселяет, следовательно, своего трагического датчанина-двойника; затем опять налево; по rue Cujas вышли на площадь Сорбонны. Он сообщил мне, в скобках, что написал уже около тридцати писем в Сорбонну и в другие французские университеты с предложением своих услуг – дижонский контракт заканчивается, и будет ли продлен, неизвестно, и если не будет продлен, то –

совершенно непонятно, что будет. До встречи со Светой еще оставалось, я помню, время; заглянув в замечательную и знаменитую университетскую книжную лавку на углу площади и Буль-Миша, Presses Universitaires de France (на месте которой, в мой последний приезд в Париж, осенью 2010 года, я обнаружил очередной стеклянно-алюминиевый магазин, торгующий очередным барахлом, дутыми куртками и вареными джинсами), по бульвару, мимо музея Клюни, с незабываемыми его гобеленами, пересекая бульвар Сен-Жермен, вышли мы, наконец, к Сене, к станции метро, точнее RER, электричек, если угодно, проходящих через город, под городом, возле которой и условились со Светой встретиться. Красное место, драгой берег Сенский, процитировал он Тредьяковского, кто ты не любишь, разве будь дух зверский... Счастливые были люди, сказал он. Ну уж Тредьяковский-то счастливым, кажется, не был. Все равно счастливые, сказал он, глядя на воду, на Дворец Правосудия, платаны на другом берегу; хорошо, когда все – начинается. Все всегда, сказал я, должно – начинаться.

34.

У Сены знаменитые букинисты стояли, как обычно, возле знаменитых своих черных ящиков, в одном из которых роясь нашел я и купил за десять, кажется, франков тоненькую беленькую книжечку (Леон Блуа, «Душа Наполеона» в галлимаровской мягкой обложке), откуда две фразы ставлю, вот сейчас, эпиграфом к моему сочинению. «Никто не может сказать с уверенностью, кто он такой. Никто не знает, зачем он пришел в этот мир, чему соответствуют его поступки, его чувства, его мысли; кто более всего близок ему среди людей, а также каково его настоящее имя, его непреходящее Имя в списках света». Перевод может быть оспорен, улучшен. Любой перевод приблизителен и никогда не заменит оригинала. Любой перевод неуклюж и тяжеловесен, перевод, в особенности, с французского, русскому языку столь не родственного. Нет на земле человека, знающего кто он такой, что он здесь делает, в этом мире, с чем перекликаются, чему *отвечают* его поступки, мысли и чувства, с кем из живущих он более всего, ближе всех связан, а главное – имени своего, своего настоящего, тайного имени не знает он, никогда, может быть, не узнает... Машин, по обоим берегам реки, было столько, шум такой стоял от них и перегар бензина в жарком и неподвижном осеннем воздухе такую обретал густоту, что глаза у меня минут через десять начали болеть и слезиться; Свету, поднимавшуюся к нам по узкой и откровенно заплыванной лестнице возле самой воды, на выходе со станции Сен-Мишель, увидел я

сквозь это жжение и эти слезы. Сквозь слезы и не сквозь слезы она показалась мне совершенной парижанкой, очень хорошенькой, очень деловитой, точной и отстраненной. За те годы, что я не видел ее, она опять похудела, как-то вся подобралась, подтянулась. Волосы из неопределенно светлых, с темными и прелестными переливами, превратились в откровенно белые, сама Света, следовательно, – в крашеную блондинку, не пренебрегавшую, показалось мне, завивкой и лаком. Мы идем ужинать в итальянский ресторан на острове Сен-Луи (Святого Людовика, вставил Двигубский); столик уже заказан. Почему в итальянский? Потому что это хороший и недорогой ресторан, здесь поблизости; она в нем бывала; и – она уже заказала в нем столик. Мне было все равно; Двигубскому, очевидно, тоже. Меню она читала тщательно, обсуждая подробности с вертлявым, презрительно-угодливым половым. Ей предстояло, как выяснилось, через два месяца сдать какой-то особенно сложный государственный медицинский экзамен, повышавший ее шансы стать снова врачом, перестать быть сиделкой; отвлечься от него мыслями у нее, похоже, не получалось. Что до Оленьки, то Оленька, что же? растет, ходит в лицей – и совершенно, вместе со всеми девочками в классе, сошла с ума после гибели принцессы Дианы (Lady Di, сказала Света, почему-то прищурившись), чуть не каждый день пытается отвезти цветочек к туннелю под Place de l'Alma, и вся ее комната обклеена портретами погибшей красавицы. А я всегда был за принца Чарльза, вставил Двигубский. Да, сказала Света, отвечая на мой вопрос, это та комната, где до недавнего времени она жила вдвоем с Олей, но Оля, в самом деле, растет, вы бы, Алексей, ее не узнали, так что теперь приходится им с Пашей делить соседнюю комнату, что делать, квартира маленькая, в Париже все маленькое, впрочем, продолжала Света, принимаясь за вителло тоннато, Паша всегда в Дижоне. Паша отламывал своими длинными пальцами кусочки мягкого и пухлого итальянского белого хлеба, пил, к моему удивлению, уже второй стакан кьянти и не принимал участия в разговоре. С кем они видятся? Почти нет времени видаться с кем-нибудь, вы себе даже представить не можете, Алексей, как я устаю на работе. Знакомых много, конечно; русских много в Париже; советских русских, как выражаются старые эмигранты, добавил Двигубский. Мы сами здесь попали в советские... А ваши родственники? спросил я. С его родственниками они почти не встречаются; старики умерли; двоюродный брат Константина Павловича, ездивший некогда, чуть не каждый год, по делам своей фирмы в Россию, болеет, стареет; дети его – французы, больше всего на свете любящие свои банковские счета. Авторы сберегательных книжек, как говорит моя мама, сказал я...

Появляются, впрочем, персонажи прошлого, сказал Двигубский; вот, на днях вдруг разыскал его, позвонил ему приехавший в Париж с туристической группой отец его школьного друга, погибшего, когда они учились в десятом классе, замечательного человека, о котором, наверное, он уже рассказывал мне. Я не помнил. Я помнил только, что мы встретили этого отца, но я не мог вспомнить имени (Юрий Александрович, сказал Двигубский) в тот день, в конце восьмидесятых годов, когда встречали и встречали знакомых (день встреч, сказал Двигубский), на улице Горького, недалеко от Moscow News. Мне кажется теперь, что это было не совсем со мной, сказал Двигубский. Синдром эмигранта, сказал я. Как будто во сне это было, или как будто мы теперь живем во сне, не можем проснуться. Скорее второе, сказал Двигубский. Чепуха, вдруг сказала Света, вспыхнув своими зелеными глазами. Поезжайте туда, посмотрите, как люди бедствуют, а потом жалуйтесь. Я не жалуясь, сказал я, просто пытаюсь описать свои ощущения. В ресторане было шумно и делалось все шумнее; у окна, выходящего на улицу Двух Мостов, галдели и гоготали туристы из Латинской Америки; мы сидели, к счастью, в дальнем темном углу. Этот школьный его товарищ, Саша Морозов, говорил Двигубский, поднимая и опуская брови, подливая кьянти Свете и мне, был человек совершенно особенный, вы знаете, Макушинский, бывают такие особенные мальчики, ни на кого не похожие, живущие в своем собственном, отдельном от всего и всех мире. Из них получают иногда вполне обыкновенные взрослые, но могут, наверное, получиться и необыкновенные; впрочем, теперь уже все равно; никто никогда не узнает. Он писал стихи? спросил я, вспомнив, снова, нашу встречу с Юрием Александровичем и тот портфель-дипломат, по которому он постукивал пальцем. Стихи были как раз банальные, детские, подражания Гумилеву, сказал Двигубский. Мы с этого все начинали, сказал я. Дело было не в стихах, но в нем самом, сказал Двигубский. Это был, знаете, какой человек? Это был человек, всегда устремленный вверх; вот какой... Он тут же перебил себя, я помню, поставил стакан на стол. Нет, сказал он, это так патетически звучит, так торжественно, так банально. А это был живой человек, Мороз, как в школе его, естественно, называли, совсем не ангел, но довольно плотный и какой-то угловатый детина, словно его еще не до конца обтесали рубанком, не говорю уже о напильнике, с большим и грубым подбородком, с обкусанными ногтями и необыкновенно смешным носом, начинавшимся как нос аристократа, тонким у переносицы и с классической горбинкой, и заканчивавшимся совершенно по-плебейски, совершенной картошкой... Света слушала его внимательно, как всегда его слушала, словно удивляясь, что вот, может быть такой человек,

умеющий так говорить; восхищения, впрочем, во взгляде ее не чувствовалось. Прости, Светочка, ты все это уже знаешь... На что Светочка как-то неопределенно махнула рукою, ничего, мол, уж я потерплю, или, наоборот, я не слушаю, говори, мол, что хочешь, или, может быть, я так люблю тебя, несмотря ни на что, ладно уж, оставайся какой ты есть... Молоденький мексиканец, или не-мексиканец, за столиком у окна, с прилизанными, как бы мокрыми волосами, черными и блестящими, не участвуя в гоготе своей компании, вновь и вновь, я помню, посматривал в нашу сторону, впрочем, показалось мне, не на Свету, а на ее мужа, сидевшего под углом к залу и никакого внимания на мексиканца, не-мексиканца, и на его вопросительно-призывные взгляды, конечно, не обращавшего. Он происходил из простой советской семьи, этот Сашка Морозов, Мороз, простой советской инженерно-технической, вполне, кажется, дружной и крепкой семьи, отца его вы ведь видели, говорил Двигубский, но он раньше нас всех начал читать все... ну, собственно, читать все то, что мы теперь всю жизнь без него и читаем, первый, я помню, в девятом классе заговорил о Бердяеве, о Шестове, приносил в школу какие-то блеклые копии, а русскую поэзию в шестнадцать лет знал наизусть просто всю, скажи ему любую строчку, хоть Аполлона Майкова, продолжал без запинки, и тут же вдруг начинал лопотать о каких-нибудь летающих блюдцах и такую нес чушь при этом, что через пять минут все умоляли его заткнуться, а он и не думал затыкаться, конечно, но упорно, крича и краснея, продолжал рассуждать об инопланетянах, и о том, что вся наша цивилизация создана инопланетянами, и что вообще они повсюду, и что чуть ли он сам не инопланетянин. И при этом ужасно злился и впадал чуть не в буйство. Вообще бывал буен, самого главного силача у нас в классе, Кригера, вдруг как трахнет портфелем по голове, а тот сразу давал в зубы, не раздумывая, как будто даже не глядя. При этом все его любили, не Кригера, Кригера никто не любил, а Мороза, все прощали ему. Он был просто очень добрый, и все это чувствовали, конечно. Отец мой в нем души не чаял, можно сказать. Вот как? Ну да, просто души в нем не чаял, а он, в девятом-десятом классе, дневал и ночевал у нас дома, приходил чуть не каждый день, после школы. Это он Сережу научил играть в шахматы, Сережа с тех пор как начал комбинировать, так уже и не может остановиться. И Марина была влюблена в него, как потом мне призналась, когда все было кончено. А с папой они иногда запирались на целый час в кабинете, и о чем говорили, не знаю, никто не знал этого, и Мороз выходил оттуда весь красный, как после тяжелой работы, вращая глазами и с огромной охапкой книг, рассыпавшейся у него в руках. Вот как? снова спросил я, с легким, признаться, уколом ревности в сердце. Да, вот так, ответил

Двигубский. А Мороз высыпал все книги в прихожей у зеркала, потом запихивал их в портфель, потом заматывал шарф вокруг шеи, потом надевал такое серенькое, советское, я помню, пальтишко, и выглядел вдруг совершенно несчастным, как если бы там, снаружи, на улице, ждала его, дожидалась какая-то беспощадная, бесповоротная, большая беда, как оно, конечно, и было. Мы сами вышли на улицу, в парижскую теплую ночь. Почти пусто было и на острове Св. Людовика, и на Сите; машины проносились по правому и по левому берегу; пахло, как всегда пахнет осенью в Париже, жареными каштанами, жухлыми листьями, бодлеровской падалью из-под какого-то дерева, охваченного черной решеткой, табаком, бензином, мочой и духами. Призрак, однажды вызванный, еще не был готов нас покинуть; никто, наверное, говорил Двигубский, не повлиял на него так сильно; я не был бы самим собою, если бы не было его, Мороза, в моей жизни и молодости. После него, и после его гибели, почти все, что людям кажется важным, важным уже не кажется. С ним было такое чувство, что вот сейчас, вот, еще один шаг, или одно движение, одно усилие, один поворот мысли – и раскроется какой-то огромный, все разрешающий, всепобеждающий смысл, и все станет на свои места, и все, навсегда, будет правильно. Конечно, это общее место молодости, это ожидание и предчувствие великого смысла, ответа на все вопросы, я знаю, я знаю. И я знаю, сказал я. Но ни с кем, продолжал Двигубский, у меня не было такого чувства, что этот смысл действительно есть, что он рядом, что надо только добраться до него и додуматься. Не добрались, не додумались. Еще было не поздно, после тихих островов живой и шумной казалась левобережная набережная, по которой пошли мы в сторону Musée d'Orsay, виолончель, помню точно, звучала из открытого окошка остановившейся у светофора перед Новым мостом машины, другая, пластмассовая музыка слышна была с расцветенного огоньками парходика, проплывавшего под мостом Искусств, Pont des Arts. А погиб он ужасно; в каком-то подмосковном лесу, куда ездил кататься на лыжах; его нашли там повешенным – или повесившимся; так никто и не узнал, никогда уже не узнает. Записки не было. Прокуратура, понятное дело, настаивала на самоубийстве, чего возиться, но родители не верили, отец до сих пор не верит. Пускай не верят, сказала Света, им же так легче. Он был просто слишком хорош для этого мира, сказал Двигубский; затем почему-то повторил по-английски: *he was too good for this world*. Мир не место для таких Морозов, сказал он. Все надежды исчезли с ним вместе, одно осталось отчаяние... Простившись с ними обоими, я проехал, я помню, три остановки на RER до Марсова поля, сквозь новый, стеклянный, алюминиевый, бетонный, то светящийся, то падающий во мрак

подземный мир, вышел в мягкий свет ночи, вновь к Сене, посмотрел на высокие фасады домов на другом берегу, в Пасси, на вновь и вновь проплывавшие по воде огни Bateaux Mouches, подумал, конечно, о печальной странности жизни, о сплетении времен и событий – и затем отправился к моим парижским друзьям, Рене и Симоне, у которых останавливался еще в первый приезд мой, в 1988 и которые как-то бесповоротно, за прошедшие десять лет, постарели, впрочем, чтобы застыть с тех пор в однажды достигнутом ими, видимо – соприродном им возрасте, так что в мой только что упомянутый последний приезд в Париж, осенью 2010 года, я нашел их совершенно не изменившимися, такими же, как и в 1998, и, скажем, в 2003 году.

35.

На следующий день, через день ли, уже не помню, Двигубский повел меня в гости к одной старой эмигрантке, с которой, как выяснилось, подружился, расспрашивая ее, даже, как он признался мне, записывая ее рассказы о предках и прошлом, о Гражданской, все той же войне, в самом сердце которой, во врангелевском Крыму она, собственно, и появилась на свет, об эмигрантском детстве на юге Франции, о немецкой оккупации, о Резистансе; прелестной пожилой женщине со светлыми молодыми глазами, жившей где-то за Монмартром, в крошечной, по-парижски, квартирке на первом, кажется, этаже, уставленной реликвиями погибшего прошлого, фотографиями и еще фотографиями на комод, на книжных полках, даже на столике у телефона, одного из тех типично французских телефонов, какие я застал еще в 88-ом, каких в 97-ом году уже почти ни у кого не было, с прикрепленным к задней стенке одиноким наушником на шнуре, предполагающим какого-то третьего, таинственного участника наших телефонных бесед, все слышащего, все знающего, не говорящего ничего. А вот это мой молодой папа, сказала она, беря в руки картонную твердую карточку, с которой – не молодой, но молоденький врангелевский офицер с едва намеченными усиками и овальной кокардой на фуражке смотрел на нас теми же светлыми, безгрешными, много горя видевшими глазами. Двигубский, по дороге к метро, рассказал мне, что она была участницей Сопrotивления, что в Сопrotивлении погиб ее жених, тоже русский, и что она осталась ему верна на всю жизнь, так и не выйдя замуж, ни разу не побывав в СССР и ни разу не ступив на немецкую землю. Возвратившись в оную, я вскоре после того парижского путешествия переехал из Эйхштетта в Регенсбург, город, который на этих страницах описывать, пожалуй, не буду, чтобы хоть что-нибудь осталось здесь неописанным, где вскоре, опять-таки, после этого переезда познакомился с некоей,

назовем ее так, Элизабет, простой баварской девушкой, в то время и до сих пор мирно работавшей и работающей дизайнером, что бы сие ни значило, в местной газете, персонажем из другого мира, героиней другой истории, девушкой, тем не менее, с которой мы тоже – относительно мирно, и даже весело, прожили вместе около четырех лет, теперь кажущихся мне, несмотря на только что употребленный мною эпитет, чуть ли не самыми невеселыми годами моей жизни. Роман, законченный мною в 1994-ом, вышел, наконец и как сказано, в самом начале 1998 года; других серьезных замыслов у меня не было. Мне почему-то казалось, странно даже думать об этом теперь, что, угрожав юность на литературу, я должен, наконец, начать жить, что застарелая вражда (*alte Feindschaft*) между жизнью и большой работой должна, пусть на время, решиться в пользу первой, *perfection of the work*, пусть ненадолго, уступить место *perfection of the life*. Никакой *жизни* в этом патетическом смысле, конечно, не наступило, а наступила глупость и чепуха, тупое прозябание в провинции, из которой я никак не мог выбраться, скучное, бесконечно утомительное зарабатывание ничтожных денег преподаванием русского и немецкого на разных курсах в разных городах Баварии (в Регенсбурге и Нюрнберге, затем опять в Эйхштетте), дописывание и затем защита диссертации, чувство все большего и большего отдаления от себя настоящего... Здесь же, в Регенсбурге, я в последний раз в жизни виделся с Константином Павловичем Двигубским, заехавшим ко мне по дороге из Вены во Франкфурт, сошедшим с поезда и через несколько часов поехавшим дальше; в кафе, куда мы зашли с ним, осмотрев знаменитый регенсбургский собор и прежде чем отправиться осматривать не менее знаменитый регенсбургский каменный мост, в свое время самый длинный мост Европы – длинейший, действительно, перелетающий через остров, на широких, тоже напоминающих островки, быках, с разбивающимися о них дунайскими волнами, всегда здесь стремительными, поставленный мост, строитель коего, если верить местной легенде, соревнуясь со строителем собора, привлек к своей работе самого черта, пообещав, что первые три души, что взойдут на этот мост, ему, черту, достанутся, и затем обманул, конечно, рогатого своего помощника, пустив бежать по свежестроенному чуду средневекового света петуха, курицу и собаку, душами каковых и пришлось, следовательно, дьяволу удовольствоваться, из чего, кстати, следует, что у животных есть-таки души, что бы ни говорил впоследствии категоричный Картезий, – сам же легендарный строитель изображен в виде крошечного, причем почему-то нагого, сидящего на мосту человечка, прикрывающего глаза ладонью, смотрящего в сторону с ним соперничающего собора, строитель, в свою

очередь, коего, все по той же легенде, увидев, что спор им проигран, бросился с лесов вниз, так что без человеческих жертв в этой страшной истории все же не обошлось...; в кафе, следовательно, между посещением собора и осмотром моста, Константин Павлович, в то время уже почти семидесятилетний, очень бодрый, сухой, весь какой-то спокойно-спортивный, счастливый, избавившийся от советского полуподпольного, «невыездного», за железным занавесом существования, получивший, наконец, причитающуюся ему международную славу и положение в «научном сообществе», scientific community, как с удовольствием выразился он по-английски, – в кафе, следовательно и еще раз, Константин Павлович решительно, отставляя в сторону чашку с недопитым кофе, тарелочку с недоеденным яблочным пирогом, заговорил со мной о моем романе, который он купил, как выяснилось, в университетской книжной лавке в Москве и прочитал так тщательно, с таким пониманием его игры и устройства, недосказанного в нем, таким проникновением в мои скрытые замыслы, как и с каким его вообще никто, возможно, не прочитал, никто, во всяком случае, из мне известных, впрочем – немногочисленных, его читателей, не исключая и Павла Двигубского, получившего от меня экземпляр романа по почте, отозвавшегося с отчасти даже оскорбительной сдержанностью, не исключая и Ф.Е.Б., на чье понимание я рассчитывал, наверное, более, чем на чье-либо; от Константина же Павловича услышал я в тот день, в диванно-плюшевом регенсбургском кафе, самые важные, самые драгоценные для меня из всех, кем-либо сказанных, слова о моем сочинении, которому предрекал он, впрочем, судьбу столь же трудную, сколь трудно оно само, слишком, может быть, требовательное к читателю и слишком уж, как он выразился, несозвучное времени, погрузившемуся, как, опять-таки, выразился он, в примитивный цинизм и убогую ироничность, эти варварские игры homo sovieticus'a, которому позволили вдруг порезвиться. А впрочем, сказал он, все значительное своему времени всегда – несозвучно. Почти никаких отзвуков, отзывов на мой опус и не было; мне самому это было тогда почти, пожалуй, не важно. Наверное, прав был Гумилев и мы меняем, действительно, души, со змеями несхожи; прав был и Пруст, описывающий свою жизнь как последовательную смену персонажей, разных «я», не ведающих друг о друге. Влюбленный в Альбертину уже почти не помнит того, кто любил Жильберту... Тот «я», который писал когда-то роман, уже не существовал, уже умер. Был другой персонаж, пытавшийся выйти на первый план, уговаривавший себя и меня, что с литературой, пусть на время, покончено и что нужно если и не *жить* в вышеупомянутом, патетическом и, разумеется, совершенно расплывчатом смысле, то,

во всяком случае, возвращаясь к себе настоящему, вновь решать, или вновь приступить к решению тех нерешенностей, которые некогда, в так странно и быстро отделившейся от меня юности, я как бы отложил на потом, на – когда-нибудь, сделав их предметом и темой моего сочинительства, персонаж, убеждавший меня, следовательно, что это *потом*, наконец, наступило, это *когда-нибудь* началось. Из темы литературной они, значит, вновь готовились сделаться, уже сделались темой жизни; вновь, как некогда, нельзя было просто жить дальше, но надо было что-то делать со своей жизнью; вновь пытаться поймать и уловить настоящее, то, что действительно есть, вот это, вот это, вечно ускользающее мгновение, вот здесь, вот сейчас, на берегу реки, на склоне холма, в моей же комнате с заснеженными крышами за окном...; а впрочем, и этот, на первый план вышедший, в самом деле, хотя и ненадолго, персонаж моей жизни уже, в свою очередь, успел с тех пор от меня отдалиться, так что я с трудом уже его понимаю. Персонаж этот, как бы то ни было, выходя на первый и самый первый план жизни, принял, довольно неожиданно для себя самого, для меня, в какой-то, я помню, прокуренной и мрачной гостинице в Вене, где случайно я оказался, решение пойти, наконец, всерьез и в самом деле, по дзенскому пути, однажды, еще в юности, мне открывшемуся и меня поманившему, пошел – и затем уже шел по нему все решительнее, уходил по нему все дальше; ходил, два раза в неделю, в существовавшую, как выяснилось, в Регенсбурге дзен-буддистскую группу, чтобы вместе с десятью или, скажем, пятнадцатью, странно невыразительными и потому не запомнившимися искателями истины ли, покоя, счастья, или новых впечатлений три раза по двадцать пять минут *сидеть* в том особенном буддистском смысле, который лишь весьма и весьма приблизительно передается дурацким западным термином *медитация*; впоследствии, в 1999, в 2000 году, начал ездить в существовавший, опять-таки, как, опять-таки, выяснилось, в Нижней Баварии, в глухой и очень сельской, холмисто-лесистой местности, на бывшем хуторе, окруженном другими, удивленными, хуторами, буддистский центр, вроде как монастырь, где можно было провести, допустим, неделю в почти непрерывном, для ног и для спины мучительнейшем *сидении*, в молчании, раздвигавшем какие-то самые внутренние границы и прерываемом лишь ежедневным, минут по десять, собеседованием с руководителем всего предприятия (обозначим его этими фанерными словами во избежание более патетических), каковым в моем случае был некто Боб Р., американец, лет двадцать проведший в Японии в учениках у одного из тех уже совершенно легендарных дзен-буддистских наставников, книги которых и о которых я в то время читал постоянно. У него были такие же светлые молодые глаза,

как у парижской знакомой Двигубского. При этом было в нем что-то неуловимое, как если бы, здесь присутствуя, разговаривая с тобою, сосредотачиваясь с такой силой и безоглядностью на этом разговоре, с какими я сам не всегда мог на нем сосредоточиться, он все-таки говорил с тобою откуда-то, из недоступных тебе областей, куда и отвел его, думал я, его легендарный японский учитель и которые я невольно представлял себе в виде горных каких-то кряжей, со сверкающей на солнце дымкой в дремучих долинах и пинией на переднем плане, легкими и непреложными штрихами прочерченной в прозрачной синеве воздуха. Мне, в сущности, очень трудно здесь находиться, сказал я ему однажды. Я ведь, в конце концов, что такое?.. ну да, можно сказать, что – русский интеллигент; а русский интеллигент просто не может не быть в оппозиции к своему окружению; если угодно, это его основное свойство и характернейшая черта. Вряд ли Боб знал, что такое русский интеллигент, попытка юмора тоже, наверное, от него ускользнула. Но ответил он замечательно. Просто не думай обо всех этих людях вокруг тебя, сказал он. Они здесь решают свои проблемы, а ты решаешь свои. Если все тебе опостылело, пойдешь в лес погулять... Я и ходил гулять в этот лес, еще прозрачный, весенний, с проселочными, в скользкой грязи, дорогами; по косоугру вдоль поля, утыканного сухими, серо-желтыми, прошлогодними, низко срезанными стеблями горчицы; через чащобу с прелыми и тоже прошлогодними листьями, с каким-то черно-серым, но уже в почках, высоким кустарником – к соснам, свободно стоявшим на опушке леса, на мягкой, уже почти не влажной, в рыжих иглах земле, к открывавшемуся за соснами иссиня-черному распаханному, распаханному пространству, готовому свалиться за горизонт, с недосыгаемой и совсем синей рощей по левому его краю. Времени, чтобы ходить гулять, почти, впрочем, не было. Было двадцать минут, ровно двадцать, не двадцать пять, между обедом и новым *сидением*; эти двадцать минут обретали неведомую мне прежде ценность; каждая была как алмаз. Посмотреть поскорее на сосны, поднять голову к невысокому небу... Была, скажем просто, такая сила присутствия во всем этом, какой я почти не знал до тех пор, какая сама собою дается нам только в редкие, лучшие наши минуты. И когда я сидел потом, глядя все в ту же стену, считая свое дыхание, вдруг, в конце дня, сквозь усталость и боль в ногах, но что-то вдруг случилось со мною, какой-то открывался вдруг выход... все такие слова приблизительны; но вдруг, попробую и это сказать совсем просто, вдруг становилось мне совершенно все равно, что, например, будет со мною через год, или через день, или, допустим, через минуту, и будет ли вообще что-нибудь, буду ли я сам или уже не буду, исчезну, этот сам я делался мне же неинтересен, с его будущим,

его прошлым, его стремленьями или страхами, но оставалось, верней – наступало, пускай ненадолго, только чистое небо, чистый воздух, мое же дыханье, покой и воля, можно сказать, что – счастье. Хотелось смеяться, но вдруг хотелось и плакать. От жалости, может быть, к тем мятущимся существам, страдающей твари, к которой я сам принадлежал только что – и принадлежал снова, как только мгновения эти проходили, выход закрывался, дверь, незаметно или со стуком, захлопывалась. Помню, что рассказывал (по телефону, через пару дней после возвращения из монастыря) – и конечно, не мог рассказать Двигубскому об этих своих ощущениях (о них вообще невозможно рассказывать, ни устно, ни на бумаге); мне казалось, на моем конце провода, что он меня то ли не слушает, то ли не слышит; теперь выяснилось, что я ошибался.

36.

В Гейдельберге весной 1998 года проходила огромная, немецко-русско-американско-какая-угодно конференция о культурах личности в 20-ом столетии, о разных культурах разнообразнейшей личности, которой в этом злосчастном, как раз заканчивавшемся столетии было немало; одним из ее устроителей оказался, к немалому нашему удивлению, Петр Федоров, к тому времени уже давно и, судя по всему, успешно профессорствовавший в Америке; Петр Федоров пригласил Двигубского; я же сам напросился, за свой счет, без доклада, просто чтобы повидаться с обоими, заодно и послушать собравшихся знаменитостей. Из которых всего более запомнился мне сумасшедший австралиец в спортивных штанах ядовито-зеленого цвета, замечательно интересно, хотя и с горячей кашей во рту, говоривший о стахановцах и челюскинцах, о сталинском новом человеке, насквозь стальном и с мотором вместо сердца, светоносном герое, увлекающем за собою воодушевленные массы. Была неизбежная в таких случаях умная еврейка из Риги, уехавшая в Америку в начале семидесятых, все читавшая, все знающая, напрочь лишенная обаянья; был ее скромный муж, профессор из Йеля, весь в младенческих седых завитках, что-то бурчавший себе под нос на не понятном никому языке, ронявший то ручку, то программку конференции, то какую-нибудь бумажку на мраморный пол старинного гейдельбергского университета, где заседали мы «пленарно» и «секционно»; был обильно-бородатый соотечественник, филологическая легенда, в начале девяностых плавно переместившийся из города Тарту, Эстония, в город Финикс, штат Аризона, но не утративший ни пристрастия к «Беломору», ни любви к невинным советским анекдотам брежневской утробной эпохи.

Была, как почти всегда бывает на конференциях, чудесная атмосфера всеобщего благодушия, свободы от житейских забот, хорошей, три раза в день, кормежки, кофейных пауз в одиннадцать утра и в пять пополудни, по мере возможности продлеваемых всеми участниками, с наслаждением уплетающими печенье и вафли, необязательных академических разговоров, игры университетского самолюбия, профессорского чванства, ассистентского подхалимства, наблюдать за которой, i.e. игрою, доставляет незаинтересованному созерцателю чистое эстетическое наслаждение. Мы все читали, в нашей туманной юности, Канта. А ведь, в сущности, это пляски на костях, шепнул мне Двигубский. «Гностические корни тоталитарных идеологий», «герой соцреалистического романа на пути от стихийности к сознательности», а каково, сказал он, засовывая программку обратно в карман, каково было моему дедушке на сорокадевятиградусном морозе дожидаться шмона, об этом они подумали? А разве вся наша жизнь не пляска на костях? сказал я. Какое право, собственно, имеем мы тут резвиться?.. Тема самого Двигубского оказалась для меня неожиданной: «Культ Габриэле д'Аннунцио в Италии и России»; неожиданными оказались и его познания в итальянском. Д'Аннунцио в 1914 году жил, как я узнал из этого доклада, во Франции, спасаясь от кредиторов; первым делом помчался он на фронт, где немцы обстреливали как раз Реймс. Собор горел. «Что сотворили вы над Реймским братом!» Это, как все мы помним, писал Мандельштам. Д'Аннунцио реагировал по-другому. «Еще никогда, никогда», вскричал он в присутствии, между прочим, местного епископа, «никогда еще собор не был столь прекрасен! Какое чудо!» Епископ возмутился, понятное дело. «Уверю вас, в огне он достигает совершенства. Перед таким чудом хочется упасть на колени!» Все-таки, кажется, не упал. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Вот этот-то пожар здесь и начинается, сказал Двигубский, после чего процитировал столь хорошо нам обоим знакомые, так много раз читанные воспоминания Ходасевича, то место этих воспоминаний, где В.Ф.Х. рассказывает о любви Максима Горького к «маньякам-поджигателям» и о том, что он сам, Горький, был «немножечко поджигатель». «Любимой и повседневной его привычкой», пишет Ходасевич, «было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти „семейные пожарчики“, как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение». Любил он также и порассуждать о разложении

атома, продолжает Ходасевич, но – «скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце концов прибавить, уже задорно и весело, что „в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!“ И он прищелкивал языком». Для д'Аннунцио же, начиная с этого 14 года, целью всех стремлений было втянуть Италию в войну, в которую она, как страна древняя, умная и отсталая, упорно не желала ввязываться; наконец, в мае 1915 года, все же вступила, причем плодотворные, к несчастью, усилия пламенного Габриэля отозвались в России чудовищным стихотворением Гумилева, ему посвященном – «Ода д'Аннунцио», с подзаголовком «К его выступлению в Генуе» – стихотворением, в котором один поклонник «прекраснейшей войны», как сказано в тексте, причем поклонник в буквальном смысле, поскольку он войне этой «кланяется земно», прославляет другого ее поклонника, своим «выступлением в Генуе» весьма и весьма поспешествовавшего тому, чтобы римская волчица опять «зарычала» «в огне багряных светов» – войне этой, утверждает Гумилев, завидуют «и Александр, и Агамемнон» (рифмуется как раз с «земно»), и причем потому завидуют, что «все лучшее, что в нас, таилось скупое и суровое, вся сила духа, доблесть рас, свои разрушило оковы»; эта никакими оковами не сдерживаемая «доблесть рас», добавил Двигубский, глядя в высокие окна аудитории, особенно, по-моему, прелестна и восхитительна. Сама природа, в стихах русского поэта, отзывается на милитаристскую пропаганду итальянского – и море лежит вокруг, «как мощь и слава Италии, как щит святой ее стариннейшего права», и «горы стынют в небесах, загадочны и незнакомы», и не просто так себе «стынут», а «там зреют молнии в лесах, там чутко притаились громы». Вот эти-то громы и молнии сейчас, значит, загрохочут и засверкают. А все потому, что – народ! Народ, этот «конь, встающий на дыбы», эта стихийная сила, родственная горам и морям («толпа взволнованнее моря»), объект религиозного культа тысяч и сотен тысяч интеллигентов, народ готов, наконец, вручить свои «страшные судьбы» (с ударением на «ы») «рукам изнеженным поэта». Изнеженные руки д'Аннунцио, продолжал Двигубский, невольно глядя на свои собственные, по-прежнему музыкальные, с отчетливыми костяшками, руки, а значит, и невольно показывая их залу, что в зале вызвало, понятное дело, если не смех, то улыбки, быстро побежавшие по рядам, изнеженные, еще раз, руки поэта и рады были бы эту власть взять, схватить, удержать, но получилось у них это не сразу. Удивительно, что вообще получилось. Путь к той анекдотической власти, которой поэту в конце концов пришлось удовлетвориться, вел через риск и опасность; как и Гумилев, д'Аннунцио не только

прославлял войну, но и участвовал в ней, что, кстати, принесло ему славу гораздо большую, чем военная слава Гумилева, довольно скромная, и как мало что другое способствовало созданию его легенды, его мифа и культа. Военные подвиги его вполне подлинные, свидетельствующие о немалом бесстрашии – а все же есть в них что-то опереточное. Он воюет как бы сам по себе, не очень считаясь с приказами и начальством. Ну еще бы, он же – д'Аннунцио, а они – какие-то там генералы. Торпеды и самолеты привлекают его в первую очередь; не в окопах же ему сидеть, в самом деле? В окопах сидят массы и крысы; поэт поражает мир своею отвагой, невероятными приключениями, бесшабашными авантюрами. При неудачной посадке он теряет глаз; из авиации не уходит; в августе 18-го долетает аж до самой Вены (самолеты в ту пору так далеко не привыкли еще летать); собирается чуть ли не лететь бомбить Берлин. Все это, конечно, прекрасно, но война на беду заканчивается («чувствую зловоние мирной жизни»); и не только заканчивается, но Италии не достаются территории, на которые она рассчитывала (в том числе – Фьюме). Тут уж Антанта оказывается для д'Аннунцио, прямо как для Ильича, беспринципной интриганкой, а Версальский договор, прямо как для Адольфа, предательством и обманом. В бесчисленных истерических речах и писаниях противопоставляет он молодую Италию, смелую, энергичную, жаждущую приключений, Италию, которая стремится вдаль и ввысь, Италию, готовую к борьбе и полету, пылающую освободительным огнем вдохновенья и подвига, в коем и сгорит старый мир, этому самому старому миру, гниющему Западу (ну, конечно!), давно уже превратившемуся в один огромный еврейский банк на службе у трансатлантической плутократии... Вожделенная же добыча потому не досталась Италии, утверждает поэт, что, при всей своей молодости и готовности к полету, еще она не в полной мере очистилась от грехов прошлого; нужны, значит, новые искупительные жертвы, новые потоки огня, новый, так и выражается он, «голокауст». Полагаю, говорил Двигубский, как-то, я помню, боком стоя на кафедре, что о «республике Фьюме» все присутствующие осведомлены не хуже меня (я вообще не слышал до этого ни о какой «республике Фьюме», но я промолчал), поэтому, говорил он, позволю себе лишь вкратце напомнить основные факты. Война заканчивается, но поэту еще охота повоевать. А повоевать многим еще охота; Европа полна, как мы знаем, молодых людей, четыре года проведших на фронте, ничего другого не видевших, не умеющих и не знающих. Это они потом бунтовали в Германии, из них формировались немецкие добровольческие корпуса (Freikorps), все эти «Железные дивизии», из них же и «Стальной шлем», столь значительную и роковую роль сыгравший в Веймарской

республике, о чем я сейчас, говорил Двигубский, распространяться не буду, из них же и итальянские *arditi* (пылкие, пылающие, героическим пламенем горящие дураки), готовые, понятное дело, к любому приключению и подвигу... В известном смысле, они же сделали и русскую революцию; во всяком случае, говорил Двигубский, как будто не к публике, а непонятно к кому обращаясь (плечи его казались особенно узкими, вообще что-то хрупкое, ломкое почувствовалось в долговязой его фигуре) – во всяком случае, сделали ее люди, за годы войны слетевшие со всех тормозов, научившиеся убивать почем зря, потерявшие концы и начала... Ну, как бы то ни было, Фьюме, маленький город на Адриатике, восточнее Триеста, отделенный от него Истрией, нынешняя хорватская Риека, в глубине Кварнерского залива. Фьюме по Версальскому договору отходит к вновь создаваемой Югославии, тогда еще – королевству, а большинство населения в нем – итальянцы. Местные *arditi* захватывают в нем власть и призывают д'Аннунцио. 11 сентября 1919 года, говорил Двигубский, для которого в 1998 году эта дата – 11 сентября – не значила, конечно же, ничего, начинается знаменитый «поход на Фьюме», предвестие и прообраз муссолиниевского «похода на Рим» 1922 и неудачного гитлеровского «похода на Берлин» 1923; встреченные по пути войска с радостью переходят на сторону повстанцев. Д'Аннунцио становится чем-то вроде единоличного правителя с титулом *Comandante*, диктатором опереточной республики, в которую полтора года играют разные взрослые люди. Эта республика есть республика ритуалов, как же иначе, республика бесконечных речей и празднеств, черных рубашек и свастики, римских приветствий, затем перенятых фашистами, – Муссолини приезжал, кстати, во Фьюме и вообще д'Аннунцио, на словах по крайней мере, поддерживал; по сути же предпочитал все-таки держаться в стороне, не терпя другого лидера рядом с собою. Приезжал и Маринетти, вождь футуристов, но вскорости тоже отбыл, спроваженный самим «команданте», в свою очередь не желавшим терпеть рядом с собой еще какого-то другого поэта. Остался зато Артуро Тосканини, приглашенный д'Аннунцио в качестве «министра культуры», дававший концерты на главной площади города, для поддержания духа борцов, устремившихся в новую жизнь. Вообще, музыка объявлена была основой социального бытия, если не бытия как такового, а возникшее государство – «государством красоты» и «республикой Муз», каковым Музам должны были (всерьез) служить и поклоняться в особых храмах, так никогда, конечно, и не построенных. В своего рода конституции, принятой, впрочем, почти через год после основания сей республики Муз, так называемой *Carta del Carnaro*, «Хартии Карнаро», сообщается, в последнем параграфе, что музыка является государственным и

религиозным установлением, что великий народ – это не только такой народ, который создает себе бога по своему подобию (вот бы Шатов обрадовался, заметил Двигубский как бы в скобках, поднимая глаза от рукописи...), но еще и такой, который создает гимн для этого своего бога, что музыка всегда возвещала сосредоточенным и тревожным массам (*moltitudine intenta e ansiosa*) господство духа (*il regno dello spirito*), что господство духа еще не настало (но вот сейчас, очевидно, настанет). Не забыты, впрочем, и другие какие-то «религиозные принципы» (*credenze religiose*), числом три, из коих первый гласит, что жизнь прекрасна и достойна того, чтобы полностью восстановивший свою свободу человек (*l'uomo rifatto intiero dalla liberta*) жил ею (этой жизнью) сурово и величественно (*severamente e magnificamente*). Само же по себе фьюманское государство объявляется государством корпоративным (идея, говорил Двигубский, глядя почему-то в окно, с одной стороны восходящая, очевидно, к средневековому «цеховому» устройству жизни, с другой же, перенятая и до некоторой степени осуществленная затем Муссолини); общество поделено на десять «корпораций», принадлежать к одной из которых обязан любой гражданин (просто так и сам по себе жить, значит, не имеющий больше права); среди этих «корпораций» на первом месте (не очень все же оригинально) стоит корпорация рабочих, ремесленников и крестьян, затем идут технические и административные работники промышленных предприятий, затем сотрудники торговых фирм и т.д. и т.д., вплоть до девятой корпорации, к которой относятся все моряки (*tutta la gente di mare*) и ни с чем не сравнимой десятой, вписанной лично д'Аннунцио, у которой, как сказано в тексте, «нет ни числа, ни имени. Мы ждем ее появления, как явления десятой Музы (опять, значит, Музы). Она оставлена (*è riservata*) мистическим силам трудящегося и устремленного ввысь народа. Она подобна иконе, посвященной неведомому гению, явлению совсем нового человека (*apparizione dell'uomo novissimo*), одухотворению трудов и дней, полному освобождению духа...», ну вот в таком духе и далее. Для нового человека, короче, зарезервировано было место, для того самого, стальные руки-крылья, о котором мы слушали сегодня столь замечательный доклад нашего австралийского коллеги, говорил Двигубский, отвешивая поклон в сторону невозмутимо-безумного австралийца, в свою очередь смотревшего в окно и никак, я помню, не показавшего, что услышал обращенный к нему комплимент. В последних главах конституции, говорил Двигубский тем временем, речь идет, еще раз, о музыке – и о каких-то эдилах. Эти эдилы образуют специальную коллегия, каковая коллегия отвечает за украшение общественной жизни, за безопасность, порядок и гигиену в зданиях общественных и

частных, за организацию празднеств на суше и на море, проводимых «с трезвой элегантностью» (*con sobria eleganza*), за внушение народу любви к прекрасным формам и краскам предметов повседневного обихода. В каждом населенном пункте счастливой страны должны быть созданы субсидируемые государством хоры и оркестры. Эдилам предписывается строительство в городе Фьюме амфитеатра, рассчитанного по меньшей мере на десять тысяч зрителей, с удобными сидениями для народа и с широкой ямой для оркестра и хора. Ширина ямы не указана. Вход свободный. Происходит, говорил Двигубский улыбающимся слушателям, своего рода инсценировка античности – и в то же время инсценировка средневековья. Карнаро как бы все сразу, и античный полис, и немного древний Рим, и средневековый итальянский город-государство, и вообще что хотите. Инсценировка, говорил Двигубский, глубинный смысл которой заключается, по его мнению, в преодолении времени, в победе над временем. Уже как будто не 19-ый год на дворе, не 20-ый, но другое тысячелетие, или все века сразу. История прекращается. Наступает вечность. Вечность, в которой все времена присутствуют в своей полноте, чистоте, в своей «идее», в непреходящих образах, символах... Между тем, как это всегда бывает в осуществленной утопии, городе солнца, столице счастья, есть нечего. Население голодает. Итальянское правительство, вовсе не желающее ссориться с союзниками, начинает блокаду Фьюме. Еды нет, но кокаина почему-то полно. Кокаин населению и раздают. Сам д'Аннунцио становится кокаинистом до конца дней своих. Кокаин и в русской революции сыграл до сих пор недооцененную, может быть, роль... С кокаином или без, жизнь, во всяком случае, проходит в непрерывных праздниках, шествиях и парадах, в нестихающем возбуждении, в том особом, карнавальном и призрачном возбуждении, которое свойственно всем революционным эпохам, дионисийском буйстве, всегда сопровождающем порыв к новому миру. Поскольку еды и денег по-прежнему нет, флот повстанцев начинает нападать на торговые суда в Адриатике, республика Карнаро становится республикой пиратской. Никто не признает ее, разумеется. Какие-то каталонские сепаратисты, какие-то смутные мексиканцы. В начале марта 1920 года в город прибывает официальный представитель советского правительства по фамилии Водовозов (фамилию история нам сохранила...), но в сущности большевикам не до этого. До этого зато Гумилеву. В августе 21-го в далеком и голодном Петрограде собирался он при открытии «Дома поэтов» разыграть некую «драматическую сценку» под названием «Взятие Фьюме» – но тут *взяли* его самого. В Италии шла оперетта, в России давали трагедию (как всегда). Что до итальянской оперетты, то завершилась она относительно

бескровно, итальянское правительство, подписав Рапалльский договор, решило, наконец, покончить с фьюманской проблемой; подошедший к берегу, как раз на Рождество 1920 года (д'Аннунцио тут же прозвал его «Кровавым Рождеством») военный корабль выпустил несколько снарядов по дворцу «команданте», промазал, но анекдотическое государство погрузилось на дно истории. Легионеры бежали, политическая карьера д'Аннунцио оборвалась. Отныне и до смерти становится он памятником себе самому... Замечательно, что Муссолини аннексировал-таки Фьюме в 1924, лишь партизаны Тито в 1945 отвоевали его обратно.

37.

Все это, еще раз, он полагает известным собравшимся. Что собравшимся известно, может быть, не так хорошо, а может быть, и вообще не известно, так это, в том же 1919 году разыгравшаяся история совсем другого, на свой лад не менее примечательного и уж точно не менее анекдотического государства – именно, Царства Глинского и Всея Правобережной Ворсклы – о котором он уже рассказывал некогда, давным-давно, одному из присутствующих, добавил, как бы в скобках, Двигубский, впервые со своей кафедры посмотрев на меня, сидевшего в глубине зала; посмотрев, улыбнувшись, принялся, в самом деле, рассказывать собравшимся и присутствующим эту историю, мною здесь, не только здесь, уже пересказанную, с ее чудовищными и пленительными подробностями, венчанием на царство в опошненской церкви, револьвером, наставленным на священника, учительницей – и прежде всего, конечно, учительницей, воплощением высшего начала, царицей поневоле, изнасилованной, а может быть и добровольно отдавшейся разбойному царю Ивану, разудалому Кудеяру. Упомянуты были и свадебные венцы вместо корон, и как царя с царицей носили в креслах, и таинственное исчезновение героя в приворсклых лесах. История имела, конечно, успех; улыбки снова побежали по залу. Он прекрасно понимает, говорил Двигубский тем временем, что одно несопоставимо с другим. Ну что, в самом деле, какой-то Иван Гордиенко, о котором мы почти ничего и не знаем, какой-то Глинск, который еще попробуй найди на карте. Какой Глинск, какая Опошня? Где это? что это? А тут Италия! Адриатические волны! О Брента! Нет! Увижу вас! Д'Аннунцио! Мировая знаменитость! Декадент! Любовник Элеоноры Дузе! друг Тосканини! друг Муссолини! А все-таки и то, и другое суть продукты распада довоенного, какого-никакого, не самого лучшего, но, по крайней мере, давнего, длительного, много лет и десятилетий державшегося порядка вещей, эфемериды наступившего хаоса, пузыри земли,

потрясенной историческими катаклизмами. В Царстве Глинском тоже отработывались свои ритуалы, и там жизнь проходила, наверное, в непрерывной экзальтации, менее, конечно же, поэтической, без эдилов и корифеев, скорее в русском, разудалом, разбойничьем возбуждении, хмельные ночи, веселые дни, пропади все пропадом, сам запалю. И опять-таки руководитель всего предприятия – объект культа личности, говорил Двигубский уже к совершеннейшему удовольствию и увеселению собравшихся, правда, культа народного, не интеллигентского, хорошо нам знакомого стенка-разинского, пугачевского культа, не слишком все-таки привлекательного для представителей образованных сословий. В самом деле, ни один батька Махно не сделался интеллигентским героем... Что само по себе весьма удивительно, поскольку идея разбойно-революционной вольницы отнюдь не утратила своего обаяния, даже когда эта вольница пустилась чесать перышком буржуев и делать сигарки из рукописей воспевавших ее поэтов. И это тоже совершенно поразительно, вынужден он заметить. Легко и приятно прославлять грядущих гуннов, покуда эти гунны еще не нагрязнули. Но когда гунны уже горланят на улице... А между тем, гимны гуннам слагались, как все мы знаем, по-прежнему, и не одним лишь Блоком в «Двенадцати». Никакого культа личности в них нет, скорее уж культ – безличности. Ну не культ же это Петрухи и Андрюхи, действительно? Но это культ силы и культ «стихии», безличной и беспощадной, легко переходящий в культ массы – «выше громов вырастают массы – массы через три „эс“», как писал в своей невыносимой «Уляляевщине» советский поэт Сельвинский – и затем опять и обратно – в культ личности, когда какая-нибудь очередная поганая личность берет в свои руки «страшные судьбы» (с ударением все так же на «ы»), и над массой, следовательно, поднимается, и массу ведет за собою. Он позволит себе закончить свой доклад решительно и откровенно не академическим признанием, а именно признанием своей полнейшей неспособности понять все это, это поколение, этих людей с их героизацией войны и насилия, с их готовностью умирать и убивать, с их злосчастливым идеализмом, будто бы оправдывающим все жертвы. Понять отвращение от всего этого, как оно выражено, например, Буниным, совсем нетрудно, понять бунинские издевательства над «музыкой революции» легко, но как понять саму эту «музыку революции», вот в чем его проблема. Это увлечение инсценировками, этот дурацкий пафос и трескучую риторику, это опьянение словами, эту готовность класть людские жизни на алтарь слов и фраз, этот пафос огня и разрушения... Мы пишем и говорим об этом так, как будто мы все это понимаем. А на самом деле, чем больше он читает и думает обо всем этом, тем острее и мучительнее делается его удивление.

Просто, говорил Двигубский, разводя, в самом деле, руками, стою и диву даюсь... Может быть, коллеги помогут ему, хоть отчасти? Коллеги не помогли. Ну что же тут непонятного? заявила, я помню, с той презрительной миною и гримасой, какую вызывает у подавляющего большинства университетских людей даже самая робкая попытка поговорить о чем-нибудь по существу, необаятельная еврейка из Риги, одетая, кстати, вот вспомнил, в строгий черный костюм в анекдотическом сочетании с беленькими носочками и с какими-то чуть ли не зайчиками на этих носочках – легкий намек на безумие, отзвук, может быть, иронических бурь, бушующих за надменным фасадом. Что же тут, заявила она, непонятного? после чего пустилась рассуждать о кризисе гуманизма, о восстании масс, о сверхчеловеке, перешла, разумеется, к Ницше, уступила слово своему мужу, радостно, трясая кудряшками, пустившемуся, в свою очередь, рассуждать все о том же Ницше, о роли ницшеанства в русской, не только русской, революционной идеологии, возвратившемуся опять к кризису гуманизма, к восстанию масс. Я сам, я помню, не удержался, чтобы не процитировать то потрясающее место из дневников Блока, где он «несказанно» радуется гибели «Титаника», потому что, видите ли, «есть еще океан». Затем опять пошла речь о восстании масс, о кризисе гуманизма, о новом средневековье, о конце культуры, о закате Европы...; привычные формулы, думал я, которыми двадцатый век пытается объяснить необъяснимое, описать неопишуемое, заговорить беду, заклясть им же вызванных духов, бесов бездны, разверзшейся у него под ногами... Замечательную зато реплику подал, я помню, философ из Тюбингена Рольф-Дитер М., огромный, под два метра ростом, в костюме с бабочкою облаченный господин с раскаленной и как будто дымящейся лысиной, которого я с тех пор встречал пару раз на конференциях, всегда при бабочке и всякий раз получая от него неожиданную мысль, или новый взгляд на привычные вещи, или хоть совет прочесть что-нибудь, что и в самом деле стоило мне прочесть. Вы не понимаете этих людей? сказал он, глядя прямо на Двигубского, дымясь лысиной и сверкая глазами. Я их тоже не понимаю. Но я понимаю, что не понимаю их потому, что не хочу их понять. То есть я, конечно, хочу их понять, как и вы хотите понять их. Но, как и вы, я хочу понять их извне, понять их вчуже, понять их со стороны. А такое понимание не есть настоящее понимание. Настоящее понимание есть понимание изнутри, есть совпадение, хотя бы частичное, и мыслей, и даже чувств. Мы говорим, что понимаем другого, когда мы с ним соглашаемся, пускай лишь отчасти. Понять всегда немного – принять. А принять всегда немного – простить. Понять человека другой эпохи значит воссоздать в себе ту атмосферу, тот духовный и

душевный климат, то мироощущение, из которого родились его мысли, его слова. А мы не хотим этого, вот в чем все дело. Мы ставим, сознавая это или нет, преграду нашего непонимания между ними и нами. Это наш выбор, причем выбор в основе своей этический. Понять Эйхмана? Или понять Ежова? Да упаси Боже! Мы отказываемся понимать их, мы бы перестали быть самими собою, если бы их вдруг поняли. Точно так же вы не понимаете «музыку революции», культ личности и безличности, пафос войны и огня. Не понимаете, сказал Рольф-Дитер М., вот и не понимайте. Это наше с вами право. В известном смысле, это и наше с вами счастье, пресловутая милость позднего рождения... Засим объявляю перерыв, сказал, поднимаясь со своего места, обильно бородатый филолог, феникс из Тарту, исполнявший в тот день обязанности председателя (корифея, эдила...).

38.

Солнце заглядывало в окна и манило на улицу; да и как не погулять по Гейдельбергу, как не постоять на мосту через Неккар, где Гёльдерлин стоял некогда, двести? да, уже, наверное, лет двести назад, глядя в эту благословенную долину с мягкими ее очертаниями, и так же возвышались над ней и над ним гигантские, буро-красные развалины замка, и гремели так же не машины, конечно, но повозки и кареты у него за спиною, и вы, я думаю, согласитесь со мною, что вот это стихотворение – Гёльдерлина о Гейдельберге – одно из прекраснейших в немецкой речи, которой мы столь многим бессрочно обязаны. Вынужден разочаровать вас, отвечал мне Двигубский, взмахивая бровями, мост этот поддельный, как почти все в вашей Германии, его взорвали в самом конце войны, затем построили заново, из новых камней, в прежнем виде, о чем вы, если еще не прочитали, можете прочитать на вон той табличке, вон там, а стихи прекрасные, в самом деле, мои любимые, может быть, у Гёльдерлина, которого, если уж хотите знать правду, я в общем и целом, безоговорочно и безоглядно, полюбить так и не смог, причем не только из-за его, уж простите, прощаю охотно, несносной, непрерывной серьезности, но также из-за омерзительного кровавого пафоса его патриотических стихов с этим их культом смерти за, будь оно неладно, отечество, которое призывает он, если помните, не считать погибших, ни один из них, мол, не лишней, и за которое они еще в двадцатом веке так радостно умирали, радостно убивали – кто они? – они все, поклонники очистительного огня и строители новой жизни, ну да Бог в конце концов с ними со всеми, а гейдельбергское стихотворение и в самом деле прекрасное, все восхитительно в нем, и этот мост, звенящий от людей и повозок, легко и мощно,

leicht und kräftig, перелетающий через реку, и этот замок, конечно, нависающий над долиной, гигантский и судьбоносный, или как вы переведете это schicksalskundige Burg, судьбоведуший? исполненный знания о судьбах? может быть, возвещающий судьбы? и вот эта река, уходящая в свою даль, этот поток-юноша, Jüngling, der Strom, грустно-радостно уходящий в свою даль, как сердце, когда оно, слишком прекрасное для самого себя, бросается в стремнины времени, чтобы любя погибнуть. Слишком все это, быть может, прекрасно для нас... Traurigfroh wie das Herz, сказал и повторил он, wenn es, sich selbst zu schön, liebend unterzugehen, in die Fluten der Zeit sich wirft. В стремнины времени, чтобы погибнуть в них... Он смотрел на этот замок, поток и долину, я смотрел, конечно же, на него. Что-то сгустилось и собралось вокруг нас, между нами, хорошо это помню. В таких случаях хочется разрядить напряжение. Вот оно, сказал я, то падение в историю, о котором когда-то давно мы говорили с вами... или не говорили... неважно. Как поживает, кстати, ваша история, ваша повесть? Еще надеется, еще дышит, сказал он. Как вы понимаете, я и тему своего доклада выбрал совсем не случайно. С докладов мы сбежали в тот день; я показал ему, у самого (не перейденного нами) моста, знаменитый ресторан «Золотая Щука», Goldener Hecht, где, как гласит надпись на закопченной табличке, «однажды чуть не переночевал Гёте»; известная способность Двигубского хохотать и сгибаться заставила на мгновение замереть завсегдатаев заведения вкупе с компанией очкастых японцев за дальним, деревянным столом. То есть Гёте хотел переночевать здесь, рассказывала закопченная надпись, но, увы, в гостинице не было мест; пришлось олимпийцу, как простому смертному, искать другого ночлега. Я обедал здесь с Ф.Е.Б., осенью 1994 года, когда он приезжал ко мне в гости; с Двигубским мы просто выпили кофе за одним из вынесенных на улицу, на косом тротуаре клонящихся столиков; я всякий раз захожу теперь в это место, когда оказываюсь в Гейдельберге, в память о них обоих. Небо было чистым, далеким; холмы на другом берегу Неккара лежали, омытые им, как отдыхающие какие-то чудища, зеленые и незлые. Город в долине... П.Д. заговорил, я помню, о мемуарах Федора Степуна («Бывшее и несбывшееся»), с их подробным описанием русской студенческой жизни в Гейдельберге начала века, жизни, центром которой была так называемая «читалка» в Мерцгассе (видимо – Märzgasse, «Мартовский переулок»), до которой нам следовало бы дойти, сказал он, чего мы тогда не сделали и я не сделал впоследствии, так что я даже не знаю теперь, где эта гассе, то есть этот переулок, находится, воспоминания же Степуна лежат, разумеется, у меня на столе, вот сейчас, так что мне ничего не стоит, конечно, перепечатать то, упомянутое Двигубским, место этих

воспоминаний, где Степун говорит об устраиваемых читалкою благотворительных вечерах с танцами – «читалкинских балах», как он называет их, – собранные на которых деньги шли, понятное дело, «на революцию», поскольку и сама читалка овеяна была пафосом «освободительного движения». «Какая страшная мысль», пишет Степун, «что ... и мы, беспартийные организаторы благотворительных вечеров, во всем, что случилось с Россией, виноваты. Мы, конечно, хорошо знали, что выручаемые деньги поступают „в распоряжение революционных партий“, но над смыслом этих слов не задумывались. Не задумывались над ним, в конце концов, и сами партийцы; суетливо, но не без важности живя своей „идейной“ жизнью – собраниями, прениями, рассылкой литературы, – они образа той революции, которую готовили, перед собою не видели. Если бы их глазам хотя бы на минуту представилась возможность того, что случилось с Россией, на наших благотворительных вечерах вряд ли могло господствовать то задумчиво-обывательское веселье, которое по своему психологическому тембру мало чем отличалось от обычных провинциальных вечеринок. Так же, как в Калуге или Коломне, под жиденький оркестрик в пять человек кружились мечтательно вальсирующие пары. Под оглушительные французские возгласы так же путано выделяла свои фигуры лихая кадрили...». – А, вот вы где! сказал Петр Федоров, подсаживаясь к нашему столику. Прогуливаете? Ты сам разве не прогуливаешь? ответил Двигубский. Нет, сейчас перерыв, ответил Петр Федоров, извлекая программку конференции из-под светлого вязаного свитера с широким круглым воротом, как-то особенно ловко и лихо на нем сидевшего, на фоне наших с Двигубским европейских академических пиджаков. Еще были на нем тугие черные джинсы и тоже черные, с серыми полосами, спортивные тапочки, так называемые кроссовки. Была во всем этом некая, вполне оцененная мною и не замеченная, кажется, Двигубским, игра с университетскими нормами одежды, джинсы, но все же не голубые, кроссовки, но все-таки не вызывающе белые; щекочущее скольжение по самой грани приличного. Выглядел он, во всяком случае, в свои сорок лет замечательно; к мимошно-партийной гладкости прибавилось особенное американское спортивное радушие, светлая победительная благожелательность. Он уже был здесь сегодня утром, сообщил он, бежал по набережной. Он вообще бежит каждое утро, два раза в неделю ходит в спортивный зал заниматься на специальных снарядах, курить давно бросил, табачного дыма не переносит. Доклад Двигубского был замечательный, он очень доволен, вообще конференция удалась. Все материалы будут опубликованы, Павел, он надеется, пришлет ему свою статью, только, пожалуйста, поскорее, крайний срок через месяц. Не

больше пятнадцати страниц, сноски в конце, транслитерация англо-американская. Нет, они ничего не будут переводить на английский, сборник будет трехязычный, русско-англо-немецкий, как теперь принято. Поговорим о дальнейших перспективах? Дальнейшие перспективы, как тут же выяснилось, были на тот момент у него одного, Петра Федорова. Дижонский контракт Двигубского заканчивался в июне; продолжение, на которое он рассчитывал, оказалось невозможным, хотя, рассказал он Федорову и мне, опираясь на валкий столик, его непосредственный начальник был бы рад оставить его еще на три года, но университетская администрация, ссылаясь на какие-то свои параграфы и пункты, не согласилась. Конторские крысы, сказал П.Д., везде одинаковы. Мне тоже пришлось впоследствии убедиться, как легко, без всяких последствий, имеют обыкновения заканчиваться, и во Франции, и в Германии, эти временные университетские контракты; заканчиваются – и все тут, поработал – и будет, пускай другие теперь поработают. Надо было вам, *mes amis*, с самого начала ехать в Америку, сказал Петр Федоров. Двигубский, меня тему, заговорил снова о Степуне, которого Петр Федоров, как выяснилось, не только читал внимательнейшим образом, но даже им, как выразился он, *занимался* (университетский жаргон, к тому времени уже вызывавший у меня тошноту), разыскал даже в Гуверовском архиве какие-то его письма, впрочем – вполне бытовые, и собирался опубликовать их, или опубликовал уже, я не помню, то ли в «Вопросах философии», то ли в *Slavic Review*. А вот может ли он представить себе этих русских студентов в Гейдельберге в начале века? Конечно. Они так прекрасно описаны Степуном. Но может ли он увидеть все это, как все это выглядело, как выглядела вот эта набережная, какие были зонтики, барышни, картузы и крылатки? Петр Федоров то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял вопроса, пустился рассуждать о новом историческом журнале, им с двумя, как он выразился, коллегами недавно затеянном. Журнал выходить будет в Стэнфорде, Мюнхене и Казани; вот какие настали теперь времена. – Но, кажется, только на следующий день поднялись мы, опять вдвоем, в плотном окружении щелкающих своими фотоаппаратами японских туристов, по прорубленной в скале, крутой и короткой железной дороге (существовавшей, сообщил мне Двигубский, еще в те баснословные времена русского студенчества, которыми, сиречь временами, тоже не случайно интересуется он) – к развалинам гейдельдергского замка, гигантского и судьбоносного, разрушенного (сообщил мне опять же Двигубский) во время так называемой войны за Пфальцское наследство, французами, в 1689, затем в 1693 году; заплатили за вход; осмотрели, со свойственной Двигубскому, иногда утомлявшей меня тщательностью,

сохранившиеся, или отчасти сохранившиеся (сохранившиеся в виде руин и развалин), розово-бурые, потому что из местного красного песчаника в свое время построенные, башни, фасады и здания – дворец Рупрехта, дворец Фридриха, дворец Оттгенриха, Большую Бочку (чуть ли не самую большую винную бочку на свете), Королевский зал и Рыцарский зал, Толстую башню и Английский дворец, зиявший пустыми оконницами (все это, сказал, я помню, П.Д., восхищает нас именно потому, что лежит в развалинах; отстройте эти дворцы – и очарование исчезнет...); затем вышли снова из музейной части замка на внешнюю его террасу, постояли перед знаменитой Пороховой башней, от которой при взрыве 1693 года отломилась одна половина, оставив другую стоять как бы башней в разрезе, с обнаженными внутренностями, сводами, стенами; затем поднялись еще на одну, верхнюю террасу окружающего замок парка, где никого не было и где, сев на (совсем не русскую, из грубых и прямых досок) скамейку недалеко от роскошного, с синеватым отливом кедра, пересаженного сюда, конечно, из каких-нибудь экзотических стран, Двигубский вдруг объявил мне, что, если я готов его выслушать, он прочтет мне сейчас первую главу своей повести. Он так часто ее переделывал, что заучил, в конце концов, наизусть. Она, впрочем, коротенькая. Да и вся повесть будет не длинная. Как все-таки зовут героя? спросил я. Героя зовут Григорий, сказал он.

39.

В тихом, тонком утреннем свете увиделся ему город, весь целиком, маленький город, город в долине, его город, чужой город. «Григорий! Гриша! Ты что?» - «Сейчас. Еду.» Он только накануне узнал, что они должны были занять его – город; неделю назад, может быть, начал думать он, что это возможно; и чем ближе подступала такая возможность, чем ближе сами они подступали к этой возможности, подходили и приближались к ней, наступая, тем чаще пытался он – и не мог – представить себе, как это будет и что будет там, в городе, и тем более там, в имении, где, как и в городе, он уже – сколько? – лет не бывал, где в последний раз был он – перед отправкой на фронт. Имения он не видел, не мог видеть – конечно; вон те холмы скрывали его: по ту сторону реки и долины. Он видел только город, совершенно пустынным казавшийся ему в этом тихом утреннем свете; видел станцию, рельсы, вокзал и площадь перед вокзалом, тень вокзала на площади, купола и крыши, кроны деревьев, изгиб реки и мост через реку, и дальше, на другом берегу, за и над последними крышами – поле, понемногу уходившее вверх, уже густо и жарко желтое, выступ леса, складку холмов, и

огибавшую этот выступ, исчезающую в этой складке дорогу, с едва различимыми, но различимыми все-таки колеями, ту же самую дорогу, конечно, по которой, о чем так часто, пытаюсь, но не в силах представить себе как это будет, думал он последние дни, так часто – или не так уж часто, быть может, ездил он из имения в город, в детстве и после детства, один или с кем-нибудь...; и еще дальше, и уже совсем далеко – уже призрачные, синевато-дымчатые и почти невозможные очертания тех других, над первыми плывущих холмов, которые только отсюда, наверное, и казались холмами, на самом же деле никакими холмами, разумеется, не были, но были, как он точно знал, лесом, по странному и давным-давно замеченному им свойству ландшафта не приближавшимся, но как будто все отдалявшимся, если идти к нему, например, через луг, через поле, – другим, дальним лесом, так в детстве, так и после детства манившим, всегда прохладным, еловым, сосновым, насквозь ни разу не пройденным, быть может – непроходимым. Уже спускались к городу передовые части отряда; уже промелькнули, вдруг, в просвете между кронами, первые, на Елизаветинскую, главную улицу выезжавшие, очевидным образом, всадники; он же, то приподнимаясь в стременах, то снова опускаясь в седло, смотрел и смотрел по-прежнему на эти кроны, крыши и купола; дорогу, поле, холмы.

40.

Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу. Эта первая глава несостоявшейся повести лежит сейчас, действительно, предо мною, у меня на столе, переписанная его очень тонким, очень косым, с глубокими «д», глубокими «у», очень четким, затем вдруг сбивающимся в сумятицу быстрых букв, сутолоку спешащих слов, затем опять находящим свой разбег и ритм почерком, и причем переписанная им несколько раз, в разные, очевидно, эпохи жизни, и до, и после нашей гейдельбергской прогулки, как если бы он несколько (много!) раз начинал все сначала (а так оно и было, конечно), несколько раз переписывая, для разгона, с ничтожными изменениями и все более глубокими «з», летящими, улетающими от его отчаяния «в» и «б», эту первую, в конце концов наизусть заученную им главу – и каждый раз терпел поражение в попытке ее продолжить, о чем свидетельствуют, действительно, в разных рукописях, присланных им мне в 2004 году, следующие за этим неизменным началом страницы, и о чем он сам говорил мне тогда, уже тогда, в Гейдельберге, весной 1998 года. А между тем, говорил он, вставая со скамейки, он видит, так отчетливо видит ее, эту повесть, с ее началом, финалом..., почти так же видит ее, как, он улыбнулся своей смущенной улыбкой,

Григорий, герой ее, видит – город, остановившись над ним, на холме, перед спуском в долину и в действие, всю сразу и целиком, так что, казалось бы, ему надо лишь записать ее, вот и все, превратить виденье в слова, но сделать этого он, похоже, не в состоянии, сказал он, как если бы, спускаясь, вместе с героем, вниз, в долину и в действие, он всякий раз попадал не туда, куда надо, на какой-то неверный, в роковую другую сторону уводящий, в тупик заводящий путь. Любое движение оказывается движением ложным, так что, в конце концов, у него остается лишь это – даже не начало, но пред-начало, до-начало, это мгновение, над городом, когда действие еще не началось, но уже готово начаться, еще медлит, не начинаясь, это краткое, говорил он, глядя на развалины гейдельбергского замка, который, по внешней террасе, мы обходили слева, и все-таки длящееся, в себе самом растянутое мгновение, с его тишиной, дорогой, высокими травами, колебанием этих трав, дальним лесом, неподвижным движением облаков. Мы дошли до конца террасы, конечно, до того места, где всегда толпятся туристы и откуда открывается замечательный, в самом деле, вид на город, лежащий внизу и кажущийся городком, совсем крошечным, на мост, где накануне стояли, воспетый Гёльдерлином, на противоположные, зеленые, мягко-покатые, чистым небом омытые и охваченные холмы, долину Неккара, уходящую, расширяясь, к Мангейму. Среди туристов были русские, причем, что за границей вообще редкость, да и в самой России редкость, конечно, интеллигентные русские, лучшая, может быть, порода людей на земле, две пожилые пары, тихо переговаривавшиеся, заглядывая в путеводитель, о Людовике Четырнадцатом и войне за Пфальцское наследство. В известном смысле это была первая современная война, сказал мне Двигубский, когда они отошли. Дело было в том, видите ли, скажу вам как историк историку (каковой оборот оказался пророческим...), что, начавши борьбу за вот этот прирейнский регион, где мы с вами находимся, Людовик, красное наше солнышко, потребовал его себе под тем предлогом, что брат его, герцог Орлеанский, женат был на Лизелотте Пфальцской, дочери и сестре один вслед за другим скончавшихся пфальцских курфюрстов, здесь, в Гейдельберге, имевших свою, французами во время упомянутой войны как раз и сожженную резиденцию; Лизелотта же Пфальцская, следует вам сказать, была женщина замечательная, оставившая великолепные письма, благодаря которым мы можем теперь составить себе представление об обычаях и нравах французского двора в эпоху его расцвета, слишком, увы, напоминающего упадок. Конечно, и до этого были ужасные войны, например, совсем незадолго, Тридцатилетняя, страшнейшая из войн, как вам известно,

уничтожившая просто-напросто треть всего населения Германии, и конечно, солдаты грабят, насилуют, и обычаем отдавать занятые города на разграбление ландскнехтам восходит к незапамятной древности, а все-таки именно здесь впервые, может быть, применена была тактика сожженной земли, то есть сознательного, последовательного и беспощадного уничтожения всего, что можно было уничтожить, городов, крепостей, деревень, мельниц, замков, мостов. Что, в общем, довольно странно, если подумать, что французы хотели заполучить этот благословенный кусок земли; в каком виде он достался бы им? А что же, спросите вы, император? (Я и не думал этого спрашивать). Император был в Венгрии, воевал турка. Тогда как раз турок напал, в очередной раз. Вот император-то, значит, говорил Двигубский, впадая почему-то в сказовую, сказочную интонацию (из-за оборота «воевать турка», я думаю...), вот, значит, император-то, Леопольд, если память не изменяет мне, Первый, турка и воевал. А Людовик-то как раз и боялся, что император турка-то победит и ему Людовику покажет, где раки зимуют. И в самом деле, император-то турка этого победил, немецких князей собрал и пошел, значит, Людовику этих самых раков показывать. Я предложил ему написать в таком стиле «Повесть о гибели Пфальцской земли». Довольно с меня гибели земли Русской, сказал он на это. Вот вы смеетесь, сказал он, а ничего смешного тут нет. Потому как решил, значит, Людовик эту самую Пфальцскую землю пожечь и порушить, чтобы, значит, императору-то, когда он подойдет сюда со всем своим войском, неудобно было воевать с ним, Людовиком, войско-то надо кормить, а кормить его было нечем. Особенно генерал один отличился, граф де Мелак, его именем лет двести еще после этого пугали здешние матери беспокойных своих дитятей – угомонись, мол, шалун и проказник, а то граф де Мелак придет, небо в овчинку покажется. Вот бука, бука, де Мелак. Население, между прочим, вырезали целыми деревнями, городками и городишками, прямо как татары на Руси, как Едигей с Тохтамышем. А это ведь не татары, а просвещенная нация в свою классическую эпоху. А сам, между прочим, Буало, французских рифмачей суровый судья, запрещавший Расину употреблять прилагательное *misérable* вместо *infortuné* (негоже, видимо, классикам писать о жалких и убогих, годятся только несчастливые и неудачливые), предложил Французской Академии девиз дня: *Heidelberg deleta*, *Гейдельберг разрушен*, что и было выбито на торжественной медали, образчик которой, как и портрет кровавого графа с крошечными усиками под носом, достойными Гиммлера и Ягоды, вы можете лицезреть в местном музее, где он, Двигубский, еще, кстати, не был, но куда он намерен зайти сразу же по окончании конференции. Как вы

ухитряетесь все это помнить? спросил я. Я подготовился к путешествию, ответил он, улыбаясь своей как будто внутрь обращенной улыбкой. Мы шли уже обратно по внешней террасе. Я попросил его все-таки, оставив Пфальцскую землю в покое, рассказать мне еще немного о другой повести, его повести, первую главу которой он только что мне прочитал. Теперь, когда я знаю даже имя героя... Какой он, этот Григорий? кто он и что он?

41.

Двигубский, как если бы возвращение к прежней теме требовало и возвращения прежней кулисы, довольно решительно направился к той верхней террасе, к той самой скамейке, на которой только что, полчаса назад, мы сидели и где он прочитал мне на память приведенную выше первую главу своей повести. А между тем, возврата нет в прошлое, даже на полчаса назад невозможно вернуться. Что-то изменилось за эти полчаса, что-то как будто погасло. Таково, по крайней мере, было мое ощущение, помню его совершенно ясно. Он заговорил, тем не менее, еще раз, о своей повести, о Григории, героине оной, биографию которого он, по его словам, продумывал так много раз, что она, в конце концов, стала для него почти осязаемой. Григорий, по его замыслу, появился на этот не особенно белый свет в 1894, допустим, году, в имении своих родителей, которое он, П.Д., не знает как назвать, любое название (Покровское, Спасское и даже Воловьи Лужки) воняет, конечно, литературой, в скольких-то, немногих, верстах (от слова *версты* тоже хочется удавиться) от города в долине, тоже остающегося пока (так, во всех его записях, теперь я знаю это, и оставшегося) безмянным. Он был третьим, младшим ребенком в семье. Вот как? Да, был старший брат, Всеволод, была сестра, допустим – Вера, или допустим – Лиза, и был он, Григорий, герой. Как у вас, сказал я. Что? он осекся, потом засмеялся, потом, положив свою длинную руку на спинку скамейки, откинулся на эту спинку, болтая длинной ногой, перекинутой через колено. Надо же, он никогда не задумывался над этим. Да, как у нас. Впрочем, сказал он тотчас же, Григорий совсем не похож на моего младшего брата Сереженьку, великого гешефтсмахера. Вот уж если кто на кого не похож... Зато, он опять помедлил, зато я сам похож, пожалуй, на его старшего брата, Всеволода, как... как я назвал его. Да, сказал он, этот Всеволод есть в каком-то смысле я сам, это мой заместитель... Родители? Родителей он пока не может представить себе. Отец – профессор... Как у вас, снова сказал я. Он опять засмеялся. Да, как у нас. Вообще же, будучи все-таки, с позволения сказать, историком, он, Двигубский, привык опираться

на факты. Вот, возьмем, к примеру, биографию Романа Гуля, «Ледяной поход» которого я некогда дал ему почитать, за что он до сих пор мне благодарен. «Ледяной поход» и остается, конечно, одной из лучших книг о Гражданской войне, хотя и другие сочинения Гуля представляют немалый интерес, и сами по себе, и для его занятий в особенности, «Киевская эпопея», к примеру, не книга, собственно, но скорее статья, опубликованная во втором томе все того же «Архива русской революции», без которого, то есть «Архива», о чем он уже не раз говорил мне, занимаясь сей страшной эпохой обойтись вообще невозможно, так что он очень мне советует, возвратившись в Регенсбург, взять в библиотеке или выписать, как говорили в России, по межбиблиотечному абонементу хотя бы несколько томов этого издания, если, конечно, эта эпоха хоть сколько-нибудь интересуется меня. Я признался, что меня интересуется его повесть, прежде всего. Гуть, сказал он на это, родился в 1896 году. Детство его прошло в Пензе и Пензенской губернии, в 1914 году он поступил на юридический факультет Московского университета, где правом занимался очень мало, а философией очень много; учителем его был, между прочим, Иван Ильин. Летом 1916 года был мобилизован, прошел четырехмесячную – всего четырехмесячную! – «школу прапорщиков», после чего был произведен в офицеры и зачислен в 140-й запасный пехотный полк, стоявший все в той же Пензе, почему он в него, конечно, как сам он пишет, и попросился. Весной 1917 года отправлен был на Юго-Западный фронт, каковой уже начал разваливаться, после октябрьского переворота развалился окончательно. Пробравшись с большими опасностями обратно в Пензу, получил письмо от бывшего своего командира с предложением присоединиться к Добровольческой армии, вместе с братом уехал в Новочеркасск, где в оную армию в январе 1918 года и записался, проделав с ней, в феврале и марте, знаменитый «Ледяной поход». Из армии он осенью 18 года вышел; дальнейшее для нас неинтересно. А вот, например, биография Сергея Ивановича Мамонтова, однофамильца знаменитого генерала и автора тоже вполне замечательных воспоминаний о гражданской войне «Походы и кони» (УМСА-Press, 1981), которые он, Двигубский, тоже весьма и весьма настоятельно советует мне почитать. Родившись в 1898 году, Мамонтов в феврале семнадцатого поступил в петербургское Училище конной артиллерии, успел еще побывать на все том же, разваливающемся, Юго-Западном фронте, бежал оттуда после октябрьского переворота в Москву, из Москвы – и тоже с братом, как это ни удивительно – пробрался с большими приключениями к добровольцам, записался в армию в Екатеринодаре, прошел всю войну, вплоть до врангелевской эвакуации из

Крыма. Замечательно, что оба они, и Гуль, и Мамонтов, прожили очень долго, Гуль умер в 1986 году в Нью-Йорке, Мамонтов в 1987 году в Каннах, где, между прочим, он, Двигубский, в прошлом году, наконец, побывал, и нет, кажется ему теперь, ничего вообще прекраснее этого юга Франции, этого моря, этих пиний и пальм... Ну, это к слову. Они провели там со Светой и Олей две недели, в пансионе под Грассом. Разыскал ли он виллу Бунина? Разумеется. Она была заперта... Есть, короче, нечто типическое в биографиях, так скажем, молодых дворян, родившихся в конце века, predetermined обстоятельствами. Впрочем, оба они, и Гуль, и Мамонтов, чуть-чуть молоды для меня. Григория, моего героя, я сделаю на пару лет старше – он должен еще успеть поучиться в Германии, попутешествовать по Европе. Предположим, следовательно, что родился он в 1894 году; в 1912-ом, в восемнадцать, отправился учиться вот сюда, в Гейдельберг, или, допустим, во Фрейбург, где кафедру философии занимал тогда полузабытый теперь Генрих Риккерт и Мартин Хайдеггер (фамилия, которую он, Григорий, написал бы, конечно, как Гейдеггер) дописывал свою диссертацию; по окончании летнего семестра 1913 года совершил, вместе со своим старшим братом Всеволодом, приехавшим к нему из Парижа, большое путешествие по Франции и Италии; летом 1914-го вернулся, понятное дело, в Россию, продолжил образование в Петербургском университете; в 1916-ом отправлен был в школу прапорщиков, в 1917 году на фронт; бежал оттуда; бежал на юг к добровольцам. Не совсем понятно, почему его не забрали в армию раньше, в 1915 году, например, но, в конце концов, большого значения это не имеет. К моменту действия и гибели ему, следовательно, двадцать пять лет. Лучше бы двадцать три, но пусть будет двадцать пять. Не в том дело. А дело... Тут он вдруг взмахнул рукою и вскрикнул. Что случилось? Он принялся рассматривать, то клонясь к нему, то отстраняясь, то, наоборот, поднося его к глазам, то отводя руку вдаль, безымянный палец правой руки; затем показал его мне; рассмеялся. Как-то так неудачно провел он, выяснилось, рукой по спинке скамейки, на которой мы с ним сидели, этой совсем, повторюсь, не русской, деревянной, грубо сколоченной и шершавой скамейки, так неудачно провел по ней, что длинная, черная, отчетливо видимая под кожей заноза не только, под кожу, вонзилась, но отломился и внешний кончик ее, за который можно было бы потянуть пинцетом или зубами, что он, конечно, и попытался сделать, без всякого результата. Какая глупость, сказал он смеясь. Пинцета у нас с собой, разумеется, не было, не было даже иголки. Был только швейцарский складной ножик (с красной рукояткой и крестом на ней) у меня в рюкзаке. Все-таки попробуйте, сказал он, протягивая мне палец. Я никогда не

видел его рук так близко и ясно. Палец был, действительно, очень длинный, чуть-чуть сужавшийся к продолговатому ногтю, с черными волосками на самой дальней, у основания, фаланге, с такими же черными и густыми на средней, на внешней, разумеется, стороне; я чувствовал их своей левой рукой, сжимая пальцами первую, самую ближнюю, тут же, конечно, покрасневшую и налившуюся кровью фалангу, правой, соответственно, рукою, коротким лезвием швейцарского ножика ковыряя, не выковыривая неподатливую занозу. Подцепить ее у меня не получалось, а резать по живому я боялся. На высокой террасе, где по-прежнему мы сидели и где до сих пор никого не было, появились сначала две невнятные американки в кроссовках, тут же, конечно, уставившиеся на нас. Я спросил, нет ли у них иголки, а *needle*; иголки не было. Затем прошли молодой отец с маленьким сыном, одинаково белобрысые; вот, сказал отец, обращаясь по видимости к сыну, по сути к нам, только приедешь в Гейдельберг и сразу попадаешь на операцию, *kaum kommt man nach Heidelberg und schon wird operiert*; иголки у него тоже не нашлось, *tut mir leid*. Жить, думаю я теперь, можно только в том случае, если все когда-нибудь возвратится, восстановится и воскреснет, и этот весенний день в Гейдельберге, в 1998 году, и это высокое небо над взорванной башней, и этот кусочек уже израненной кожи над чернеющей занозой, эта капля крови, вытекающая из ранки, эти руки, сожженные затем в крематории, эта улыбка боли на сожженном лице. Пойдемте в город, сказал я, раздобудем иголку. Какая глупость, снова сказал Двигубский. А ведь это, конечно, знак, сказал он, впрочем – смеясь. Это знак, это значит, что не надо мне было говорить с вами, что ничего у меня не получится. Я предложил ему не болтать чепухи. Чепуха и глупость, сказал он, конечно. Я сам смеюсь, как вы видите; что мне еще остается?

42.

Первой, как *de jure* все-таки женщина, принялась за его палец еврейка из Риги, затем ее муж в кудряшках, затем филологическая легенда, повсюду тыкавшаяся своей бородой, затем, когда палец уже начал синеть, нарывать, Петр Федоров; австралийцу в спортивном костюме Двигубский все-таки не позволил *тоже попробовать*. За ужином только и было разговоров, что о занозе Двигубского. Хозяин гостиницы, где все мы жили, симпатяга с фиолетовым носом, заявил, что скоро вернется его жена, что она когда-то работала в больнице и что уж она-то с занозой справится как пить дать, в мгновение ока. Жена не вернулась ни вечером, ни на утро. Утром палец Двигубского являл собою тугую толстую штуку, согнуть которую он был уже не способен; хозяин

гостиницы дал нам адрес дежурного госпиталя. Я повез его туда на машине; выехав из долины Неккара, оказались мы в дальней, из двухэтажных домиков составленной части Гейдельберга, где я ни разу не был ни до того, ни с тех пор. Госпиталь был как госпиталь, весь стеклянный, новый и пластиковый; в приемном покое ждать пришлось около получаса, под недружелюбными взглядами медсестры-турчанки, полустеклянной-полупластиковой перегородкой отделенной от больных и увечных, в обществе грустного дядьки с перевязанною ногою и мучительно некрасивой мамы с белокурым хорошеньким мальчиком, вновь и вновь засыпавшим, падая курчавой головкой то на плечо, то на грудь ей, то, как заметил Двигубский, прямо уже на породившее его лоно, что, разумеется, ни в малейшей мере не мешало мамаше со звериной сосредоточенностью листать схваченный ею с низенького столика глянцевый, со следами чужих пальцев и с фотографиями очередной свадьбы очередной принцессы на обложке, журнал. Нет, не в том дело, сказал Двигубский так неожиданно, что я не сразу и понял, о чем он. Дело не в этих деталях биографии, дело в их невозможности, сказал он, начиная, значит, с того места, с той мысли, на котором и на которой прервала его все еще и по-прежнему торчавшая у него в пальце заноза. Всю ночь, значит, весь вечер, всю ночь и все утро, думал об одном и том же, одном и том же. Он спросил меня, поглядывая на свой раздувшийся палец, помню ли я мандельштамовскую статью 1922 года с характерным названием «Конец романа»; я помнил. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз», пишет в ней Мандельштам, «и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения». Выброшены из своих биографий, повторил он, цитируя, конечно, по памяти; а мой Григорий без биографии быть не может... Я спросил его, в свою очередь, читал ли он «На мраморных утесах» Эрнста Юнгера; он, как выяснилось, не читал. Я сказал ему, что я бы на его месте, а я ведь тоже был когда-то писателем, вообще отказался бы от истории... вы, Макушинский, всегда были против истории, вставил он, улыбнувшись... я ответил, что нет, ничего подобного, но что я, во всяком случае, отказался бы от исторической конкретики, от 19-го года и юга России, перенес бы действие в настоящее, или в вечное, смешал бы все места и эпохи. Тогда земские управы не были бы страшны мне, и поручиков бы я не боялся... Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья, сказал он, продолжая цитаты из О.М. Да возьмите хоть мой Эйхштетт, сказал я, чем не город в долине? Приезжайте и посмотрите... Есть несколько романов двадцатого века, сказал я еще, я помню, идущих этим путем, как бы взрывающих

поверхность явлений, пытающихся приблизиться к их сущности, к их платоновской, если угодно, идее, сказал я. Я назвал, я помню, «Приглашение на казнь» Набокова, затем чудесный роман «Пустыня Тартари» Дино Буцатти, еще что-то, кажется, *Le Rivage des Syrtes*, Жюльена Гракха; все они, при всех различиях между ними, рассказывают некую историю, отчасти похожую на вашу, сказал я, историю некоей гибели и некоего крушения, столкновения одинокого человека с бесчеловечными силами времени. Кафка тоже сюда относится, как бы мы сами ни относились к нему, сказал я. Но прежде всего и в первую очередь я посоветовал ему прочесть, действительно, Эрнста Юнгера, автора, которым я довольно сильно увлекался в ту пору, который, странно подумать, умер всего за два или три месяца до нашего разговора, в связи с чем по немецкому телевидению вновь и вновь показывали интервью с ним и фильмы о нем, как показывали их и три года тому назад, когда ему, пережившему две мировые войны, исполнилось сто лет, целый век, – интервью, во время которых этот почти столетний, столетний, стодвухлетний старик с шапкой седых, совсем не поредевших волос над живым и ясным лицом, мирно покуривая, рассказывал о своих приключениях, о занятиях энтомологией, об опытах с ЛСД. «Какое было Ваше самое тяжелое впечатление от Первой мировой войны?» Предполагаемый ответ так ясно написан был на лице журналиста, что Юнгер не сдержал усмешки, мальчишеской усмешки, промелькнувшей, погасшей, на его собственном, сто-и-сколько-то-летнем лице. Нет, голубчик, говорила эта усмешка, никаких человеколюбивых трюизмов на тему о том, что убивать вообще нехорошо и война дело богопротивное, вы от меня не дождетесь. «Моим самым тяжелым впечатлением», заявил он, «было, конечно, то обстоятельство, что мы эту войну проиграли». «А что, собственно», продолжая усмехаться, «хотите вы услышать от старого солдата...» Смесь восхищения с возмущением охватила одного телезрителя. Война, на которой, по самым скромным подсчетам, погибло девять миллионов человек (каждый со своей судьбой и мечтой), эта самая страшная и уж во всяком случае самая бессмысленная война в истории, необъяснимо-бессмысленная, от скуки, собственно, от пресыщения миром и процветанием, от жажды приключений и возвышенных, черт бы побрал их, переживаний затеянная война – война эта, видите ли, тем не хороша была, что – «мы проиграли ее». Не проиграли бы – никаких бы и не было претензий к этой войне. А все же было в этом заявлении «старого солдата», этого неисправимого вояки и авантюриста, к тому времени давно, конечно, покончившего со своими авантюрами, да, собственно, уже Второй мировой войной излеченного, в общем, от всякой

романтизации насилия, все-таки было в этом и нечто, вопреки моим же собственным убеждениям, меня восхитившее, некая суверенность, некая, если угодно, спортивно-аристократическая небрежность (так боксер мог сказать бы, что – отличный, знаете ли, был бой, все тридцать раундов – чистое наслаждение, жаль, противник мой оказался сильнее...), та непереводимая французская *désinvolture*, испанская *desenvoltura*, о которой любил говорить он сам и в которой внешняя непринужденность есть, в конце концов, лишь знак и символ внутренней, чуть-чуть, но лишь совсем чуть-чуть, высокомерной свободы, все то, короче, что и делает столь привлекательными его тексты, в частности и прежде всего дневниковые, с их отстраненностью, с их вновь и вновь, самими фразами, самим ритмом достигаемой, занимаемой позицией созерцателя, наблюдателя, почти непринципиального к той жизни, что разыгрывается перед ним, у него на глазах, внимательного, холодноватого, согреваемого, иногда, состраданием, почти никогда не позволяющего себе сострадание это показать, проявить. Короче, сказал я, почитайте, Двигубский, Эрнста Юнгера, почитайте, прежде всего, «На мраморных утесах», *Auf den Marmorklippen*, эту, сказал я, временами невыносимо-глубокомысленную, несносно-высокопарную, но все-таки потрясающую повесть, сказал я, в которой ужас надвигающейся, надвинувшейся на мир безудержной власти передан в странных, отрешенных и призрачных, от всего временного и случайного как будто освободившихся, и в то же время телесных, земных, звериных, змеиных, кровавых, осязаемых образах, и в которой, помимо всего прочего, всегда восхищал меня, и, я уверен, восхитит вас, топонимический блеск, сверканье имен, перламутровая игра фантастических, но все же к чему-то действительно бывшему, в глубь истории отсылающих и уводящих названий – мест и стран, событий и войн – Альта Плана и Большая Марина, Бургундия и Кампанья, Прованс и Родос, Мавритания и Таврида... Женщина, отложив, наконец, журнал, сняв голову своего мальчика с породившего его лона, уставилась с изумлением на нас, как если бы отчасти знакомые ей слова и названия, невольно расслышанные ею в потоке нашего тарабарского разговора, пробудили ее от привычной бездумности; Двигубский, заметив это, приготовился захохотать, но сдержался. Слоны и тигры, шепнул он, тоже иногда говорят человеческими словами. Затем, переменяя интонацию, закинув, по своей привычке, ногу за ногу и обхватив узкими руками острое, как угол отраженья, колено, прикрывая левой рукой раздувшийся палец правой, сказал, что – подумает; и в самом деле, задумался; и думал уже до тех пор, куда его не позвали в смотровую, куда, поскольку он не уверен был, что справится с бытовым и медицинским немецким, я прошел вместе

с ним. Врач был молодой и очень важный. Уложенный на операционный стол Двигубский получил сперва два укола в основание пальца, отчего этот палец еще больше раздулся, занемел, затвердел. Когда доктор взялся за скальпель, я стал смотреть в окно, где над высокими, нежно-зелеными кронами окружавших больницу кленов проплывали, с дымчато-серым исподом, сияющие по краям облака. Почему-то я подумал, я помню, что молодость наша давно закончилась, ничего от нее не осталось. Знаменитая заноза была извлечена, наконец; ловкая маленькая сестричка, ассистировавшая надменному медику, с привычной быстротой наложила повязку, несколько раз обмотав бинт вокруг больного и безымянного, ухватив петлю большой палец, ни в чем не повинный, и закрепив всю конструкцию у основания ладони, так что правая рука П.Д. оказалась уже полностью выведенной из строя; врач между тем принялся за сочинение отчета, который, как он выразился, пациент, *der Patient*, должен был передать своему домашнему доктору, *dem Hausarzt*, даже если этот *Hausarzt* живет в Париже и по-немецки не понимает. Не получив отчета, мы, во всяком случае, покинуть больницу не можем. Что же он нас силой удержит? спросил Двигубский, вставая с операционного стола. Мы все-таки дождались конца сочинительства и не пожалели об этом. Развернув в машине врученное Двигубскому послание, прочитали мы, первым делом, «Диагноз», каковой гласил: «Постороннее тело в 4-ом пальце справа», затем «Анамнез», сообщавший, что «вышепоименованный пациент занозил палец вчера на деревянной скамейке; попытка удаления занозы собственными силами пациента успеха не имела», далее «Заключение»: «4-ый палец справа, окончание, повреждение 2 мм, покраснение, опухоль, сухожилие не задето, прививка от столбняка отсутствует, болей в кости нет». Наконец, «Лечение»: «Обследование, консультация, дезинфекция, удаление постороннего тела, стерильная повязка. Рекомендации: щадящий режим вплоть до заживания раны, проверка состояния раны у домашнего врача, при необходимости – аналгезия (не знаю до сих пор, что это), при наличии жалоб или осложнений – повторное посещение больницы». Известная способность П.Д. сгибаться и хохотать была с такой наглядностью продемонстрирована им в машине, что я попросил его, наконец, умерить свой пыл, иначе мы не доедем, но он еще дохохотывал, когда мы подъезжали к гостинице. А вы говорите, плохой знак, сказал я. Все будет хорошо, Павел, повесть свою вы напишете, и новую работу найдете, и вообще мы еще молоды с вами, еще много будет и прекрасного, и веселого в жизни. Не ожидал от вас трюизмов, ответил он, кого-то как будто цитируя. Позвольте, сказал я, переписать документик. Дарю вам его, сказал он.

43.

Отзвуки наших гейдельбергских бесед я нахожу теперь в его записях, присланных мне, как сказано, осенью 2004 года, записях более ранних и более поздних, поражающих меня теперь, когда я читаю их (а я вновь и вновь читаю их теперь, разумеется) своими повторами – повторениями одних и тех же сцен, тех же мыслей, возвращением, в разные годы, все к тем же мыслям, сценам, цитатам, словам. Замечательно при этом еще и то, что порядок сцен почти не меняется; однажды, по-видимому, еще в середине девяностых годов сложившийся, он остается, по существу, при не очень значительных вариациях, неизменным, так что те ложные дороги, неправильные пути, о которых говорил мне в Гейдельберге Двигубский, суть, собственно, один большой ложный путь, одна-единственная, хотя и неправильная, дорога. За первой прочитанной им мне сценой, всегда и во всех рукописях следует спуск в долину, въезд в город, а значит и описание оно, в котором вновь и вновь повторяются несколько мест и деталей, однажды увидевшихся и с тех пор, до самого конца, преследовавших, как он сам говорил мне, злосчастного автора, например и в первую очередь – площадь, переходящая из описания в описание, из одной рукописи в другую, огромная и почти бескрайняя площадь, Соборная, как в некоторых рукописях он назвал ее, с длинными, торжественно-скучными, присутственно-парадными зданиями, тонкой желтой линией тянувшимися по ее переднему краю, с золотозвездом и синеглавым, громадным тоже, но безмерностью площади словно загнанным в угол, поставленным в угол собором и с булыжным бугром посредине, называемым в городе горб. Она пыталась, в своей передней, парадной части, казаться квадратной, пишет Двигубский в своей самой длинной, почти на шестьдесят страниц, и самой связной рукописи, относящейся, впрочем, если расчеты мои верны, уже к осени и зиме 2001 года, эта площадь, постепенно и очень медленно собиравшаяся, стягивавшаяся к бугру, вдруг взбухавшая этим бугром – и чтобы затем, за ним, в каком-то уже почти комическом отдалении, обернуться россыпью мелких домишек, не только не привлекавших взгляда, в печальной своей незначительности, но словно предлагавших ему на них не задерживаться: отчего он, взгляд, скользя по ним, переходил, сразу же и без сожаления, ко вновь открывавшимся за ними холмам, перелескам – каковые, впрочем, видны были почти отовсюду; приезжая в город, когда-то, или будучи привозим в него, скажем так, и пользуясь теми воздушными паузами, какие всем нам, в детстве, предоставляет окружающая нас взрослая жизнь, разговором родителей с

остановившимися возле их коляски знакомыми, он, Гриша, и сам не зная, конечно, зачем, старался так посмотреть на этот бугор (горб), чтобы домов за ним вообще не было видно, делал шоры из рук, шел к бугру...; чем дальше шло (в свою очередь) время, тем ближе он вынужден был подходить, тем сильнее нагибаться: каковым образом (говорил он впоследствии, уже смеясь и взрослея, Всеволоду, своему старшему, пятью годами старшему брату) – каковым образом можно было бы вывести некую формулу роста, соотнеся высоту бугра с расстоянием, отделяющим его от смотрящего (от растущего), и степенью сгиба последнего...; Всеволод улыбнулся в ответ. Но, конечно, теперь, въехав в город, он, Григорий, не занимался уже ни измерением дистанции, ни выведением формулы роста. Почти пусто было на площади; у входа в длинное, желтое, по ее переднему и парадному краю тянувшееся здание городской, когда-то, управы полковник Ауершпег, на каурой своей кобыле, казалось, совещался о чем-то с окружавшими его, как всегда, офицерами штаба; адъютант, с рукою на перевязи, отъехал; вернулся; колокольный, яростный, радостный, над домами и площадью, звон, накрыл собой все это, поднял, бросил, оставил. «Дневка, дневка объявлена». – «Я уже нашел нам квартиру. Пойдем». – «Хорошо. После. Возьми мою лошадь». Лучше – «возьмите», замечает он на полях. «Возьмите, пойдемте...».

44.

Вот от этих-то дневков, адъютантов, каурых кобыл и сходил он, значит, с ума... Это какие-то выжимки литературы, писал он мне в одном из своих писем, как раз в то время, в конце девяностых, превратившихся в электронные, что весьма и весьма обогатило, ускорило и упростило, конечно, нашу с ним переписку. Вот это из Бунина, это из Набокова, это из «Белой гвардии», из «Голого года», а вот и Чехов, а вот уже и «Бесы» пошли, бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре. Не писанье, а переписыванье... Моим больничным советом отбросить все это, перенести действие в воображаемый мир, свободный от городских управ и открытых колясок он попытался, как сам писал мне, воспользоваться – и потерпел, опять, неудачу. Беда, видите ли, в том, Макушинский, писал он, что какие бы ни придумывал я декорации, какое ни сочинял бы, по примеру «вашего» Юнгера, Бургундское герцогство, Аквитанское королевство, поверхность явлений, как Вы изволили выразиться, мне все равно не удастся, и конечно же не удастся, прорвать, то есть декорации остаются именно декорациями, маски – масками, из-за которых все вновь и вновь выглядывает начало 20-го века, та же, не какая-нибудь, но именно та самая, 1918 – 1921, Гражданская война

в России, и русское, вообще, прошлое, русский усадебный быт, русский уездный город, описать который я, похоже, не в состоянии, который я не вижу, не чувствую... Который он все-таки вновь и вновь пытался увидеть, почувствовать, описать, придумывая в нем какие-нибудь железнодорожные мастерские за рекой, придумывая в нем базар, аркады Гостиного двора на Соборной площади, вечный затхлый запах под ними..., переходя от этой Соборной, вместе с героем, по главной, торговой, почти во всех вариантах – Елизаветинской, улице к другой, Вокзальной площади и дальше – к вокзалу, входя с ним в этот вокзал, Григорию, как он пишет, знакомый до подтеков на стенах, с закрытой кассой, разбитыми зеркалами, наглой вонью из распахнутой настеежь уборной, выходя с ним вместе на дебаркадер, где, в другом варианте пишет он, совсем было тихо, валялись, на деревянной платформе, и вдруг вздрагивали, и почти вдруг взлетали, и снова, с сухим шелестом, падали обрывки каких-то афиш, листы каких-то газет, их газет, на борьбу с проклятою гидрою... Но так же, как всегда, как когда-то, убегали вдаль рельсы, и так же отсвечивал на солнце песок между шпалами, и так же, все так же, хотя и непонятно откуда, пахло: дорожным дымом, паровозною гарью. Щелчок далекого выстрела заставил его прислушаться; не повторился; крик, карк ответивших на выстрел ворон, где-то рядом, затих.

45.

Повторяются сцены, повторяются и цитаты – не в рукописях, но в рабочих тетрадях, конечно, где попытки продолжить не продолжающуюся повесть вновь и вновь превращаются в разговор автора с самим собой, в своего рода дневник, впрочем – без дат, дневник его неудачи. Цитата из Мандельштама о конце биографии повторяется, если я правильно считаю, пять раз; он возвращался к ней, впрочем, и в своих письмах ко мне. В только что цитированном письме от, если мой компьютер ничего не путает, 15 октября 1999 года, в котором он пишет о невозможности перенести действие в воображаемую страну, пишет он и о невозможности писать ту, как он называет ее, «прозу двадцатого века», которую, если Вы помните, предсказал Мандельштам в своей невероятной, 22-го года, статье («Дальнейшая судьба романа будет ничем иным, как историей распыления биографии, как формы личного существования, даже больше чем распыления – катастрофической гибели биографии»), эту распыленную прозу, следовательно, которая, пишет он, тоже ведь, в свою очередь, уже, вот в этом нашем 1999 году, предпоследнем году столетия, последним, начинающимся с тысячи, кажется отступившей и отдалившейся, прошедшей, закончившейся. Все это уже было, было,

прошло..., и распыление, и гибель, и герой, обозначенный одними инициалами, анонимный господин К., ведомый на заклание, убиваемый как собака, и человек без свойств, и персонажи, перетекающие друг в друга, персонажи, сведенные к монологу, к обрывкам случайных слов, или снов..., было сказано, состоялось, закончилось, уже, наверное, не вернется. Но даже если я ошибаюсь, и такая проза еще долго будет существовать и господствовать, мне это все равно. Я не могу писать так. Дело здесь даже не в личных пристрастиях, хотя Вы сами понимаете, Макушинский, сколь не близка мне эта литература двадцатого века, но дело, конечно, в самом моем замысле. Герой мой не годится в герои такой развихренной прозы, даже если хотеть писать ее, сама история, мне однажды привидевшаяся, есть именно *история* с понятным началом и отчетливым, ужасным концом, и ничем другим, никакими вихрями становится решительно не желает. Что бы я ни делал, это должен быть роман на старый лад, как я некогда говорил Вам. Но писать на старый лад я тоже, получается, не могу. И так не могу, и так не могу. На старый лад выходит *литература* в дурном, верленовском смысле слова. Потому, наверное, что все неладно и вокруг, и во мне. Давным-давно нет уже этого лада, давным-давно уже сгинул он и погиб. Оттого писание на старый лад оказывается *стилизацией*. Мерзее же стилизации ничего не бывает на свете. А я ведь, собственно, и рассказываю, пытаюсь и не могу рассказать, о гибели этого лада и склада, крушении миропорядка, распаде гармонии... О чем, кстати, рассказывает и Эрнст Юнгер в своей, действительно, замечательной повести, за указание на которую я бесконечно благодарен Вам, дорогой Макушинский. Надеюсь, что не очень утомил Вас этим письмом. Желая Вам приятно, если это может быть приятно, провести время в Вашем таинственном буддистском монастыре, среди недоступных мне экзерциций. Не увлекайтесь слишком уж полировкой Вашего зеркала, оно все равно опять запылится. Вы скажете, что зеркала нет, и пыли тоже нет, и будете, наверное, правы. Но мне от этого, по правде сказать, не легче... Как видите, и я читал кое-что... О буддизме и дзен-буддизме он читал, действительно, кое-что – и не более, а вот Эрнста Юнгера прочитал внимательно, тщательно, не только «Утесы», но и, в первую очередь, замечательные дневники Юнгера, следы какового чтения я нахожу теперь в его, Двигубского, записях; и это был, кажется, единственный случай, когда не он на меня, но я на него повлиял, мои пристрастия ему сообщились.

46.

При всем его отчаянии от армяков, как он выражался, он все-таки продолжал,

разумеется, собирать материалы и делать выписки, вновь и вновь пытаюсь представить себе – еще чуть-чуть яснее представить себе – и место, и время, и главное атмосферу действия, ту особую атмосферу революции и гражданской войны, которой ни ему, ни мне не пришлось, слава Богу, вдохнуть наяву и в действительности. Тетради, которые он впоследствии мне прислал, в большой степени из таких выписок и состоят; приведу из них несколько, для примера. Из тех же воспоминаний Степуна выписывает он своим очень косым, с глубокими «д» и «у», почерком, вот такое, скажем, место: «Много разговаривая по пути в Петроград с членами делегации о свершившейся революции, я с нетерпением ждал встречи с городом великого преобразователя, революционера Петра. Я думал, что увижу его гневным, величественным, исполненным революционной романтики. Ожидания мои не сбылись. Впечатление было сильное, но обратное ожидаемому. Петроград и по внешнему виду и по внутреннему настроению являл собою законченную картину разнузданности, скуки и пошлости. Не приливом исторического бытия дышал его непривычный облик, а явным отливом. Бесконечные красные флаги не веяли в воздухе стягами и знаменами революции, а никлыми, красными тряпками уныло повисали вдоль скучных серых стен. Толпы серых солдат, явно чуждых величию свершавшегося дела, в распоясанных гимнастерках и шинелях внакидку, праздно шатались по грандиозным площадям и широким улицам великолепного города. Изредка куда-то с грохотом проносились тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики: ружья наперевес, трепаные вихры, шальные, злые глаза... Нет, это не услышанная мною на фронте великая тема революции, не всенародный порыв к оправданию добра свободой, а ее гнусная контртема: мозги набекрень, исповедь горячего сердца вверх пятами, стихийное, массовое „нраву моего не препятствуй, Аленка, не мешай“, это хмельная радость, что „наша взяла“, что гуляем и никому ни в чем отчета не даем...» На ту же тему – из воспоминаний о Февральской революции Владимира Дмитриевича Набокова: «Внутренность Таврического дворца сразу поражала своим необычным видом. Солдаты, солдаты, солдаты, с усталыми, тупыми, редко с добрыми или радостными лицами; всюду следы импровизированного лагеря, сор, солома; воздух густой, стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом; откуда-то слышатся истерические голоса ораторов, митингующих в Екатерининском зале, – везде давка и суетливая растерянность». Много выписок из «Окаянных дней», а также из дневников И.А. и В.Н. Буниных («Устами Буниных», Посев, 1977). Вот такая, к примеру: «Лето, восемнадцатый год, Киев. Жаркий летний день на Днепре. На

песчаных полях против Подола черно от купающихся. Их все перевозят туда бойкие катерки. Крупные белые облака, блеск воды, немолчный визг, смех, крик женщин – бросаются в воду, бьют ногами, заголяясь в разноцветных рубашках, намокших и вздувающихся пузырями. Искупавшиеся жгут на песке у воды костры, едят привезенную с собой в сальной бумаге колбасу, ветчину. А дальше, у одной из этих мелей, тихо покачивается в воде, среди гнилой травы, раздувшийся труп в черном костюме. Туловище полулежит навзничь на бережку, нижняя часть тела, уходящая в воду, все качается – и все шевелится равномерно выплывающий и спадающий вялый белый бугор в расстегнутых штанах. И закусывающие женщины резко, с хохотом вскрикивают, глядя на него». После этой выписки хочется поставить точку; все-таки продолжаю. Есть аббревиатура в тетрадях Двигубского, которую мне до сих пор не удалось расшифровать, – «Вр. и в.». Это «Вр. и в.», с указанием страницы, стоит всегда там, где речь идет о вещах, одежде, аксессуарах, подробностях быта, а речь о них идет очень часто. Например – фуражки (Вр. и в., 274). После Февр. рев., скорописью пишет Двигубский, мягкие козырьки вместо твердых, подражание английским офиц[ерским] фур[ажкам]. Такую фуражку носил Керенский. Внутренняя сторона козырька могла быть из целлулоида (?). Ремешки из коричневой кожи или из сукна. Вр. и в., 275 – еще о фуражках. Фуражки офицерские мятые (на фронте!), края тульи свешиваются по бокам околыша, козырек полусогнут. Фуражечный ремень висит свободно, с провесом, и лежит на козырьке, или прижат нижним краем кокарды. Так же подробно – о френчах, о стеках, о шпорах, о папах, о гимнастерках. Или – в другой тетради – о тротуарах и мостовых в провинции и в столицах. Вр. и в., стр. 9: булыжные мостовые; торцовые мостовые в Петербурге; мостовые «с покрытием из щебенки», встречались «на окраинах больших городов и на центральных улицах провинциальных, непосредственно смыкаясь с шоссевыми трактами». «Большинство улиц императорской России не имело вообще искусственного покрытия, представляло собой обычную проселочную дорогу, а ухабы и ямы в лучшем случае заделывались булыжником». Тут же – деревянные тротуары, или «мостки»; тротуары из кирпича – кирпич положен на ребро! «Он выкладывался в елочку, как современный паркет, и имел кирпичный поребрик». Такими выписками полны его тетради; в них чувствуется отчаяние; невозможность увидеть исчезнувшее. Да и нужно ли его видеть? писал он мне (по электронной, опять-таки, почте; 11 января 2000 г.). Странное дело, я ведь всегда любил живые детали, подробности прошлого. Но я чувствую какую-то роковую несовместимость литературы с историей. Или – что то же, все то же! – роковую

литературность исторических подробностей и деталей. Моя повесть не узнает себя в этом мире, который я пытаюсь построить для нее из булыжника, щебенки, мостков, уездных управ, газовых фонарей, кокард и крылаток... Она не узнает себя вообще ни в каком мире, ей везде неуютно. Может быть, Вы, Макушинский, объясните мне, почему это так?

47.

Продолжал он, тем не менее, и собирать сведения об Елецкой республике, вообще об этом Ельце, куда так и не съездил, куда в 2007 году я съездил, как уже говорилось, вместе с А., за него. Вспоминаю теперь, как он по телефону читал мне (телефонные разговоры как раз начали тогда безудержно дешеветь...) дневники М.М. Пришвина, пережившего гражданскую войну в Ельце и неподалеку; я, конечно, и представить себе не мог, его слушая, что попаду когда-нибудь в этот Елец, и увижу его потрясающий собор, и бесчисленные его, частью развалившиеся, частью восстанавливаемые церкви, его длинные, с разбитыми тротуарами, но все-таки совершенно прелестные в своей захолустности улицы с этим их деревянным кружевом на окнах и над дверями, увижу его мужской, превращенный в автобазу, монастырь, у стен которого расстреливали когда-то «контрреволюционеров», его женский, теперь создаваемый заново, свежеею белизною сияющий на солнце, на высоком холме, монастырь..., все это, столько раз описанное, можно сказать – воспетое, Буниным, учившимся в елецкой гимназии, причем так точно описанное, в рассказах, в «Жизни Арсеньева», как если бы он просто *видел* все это, поднимая глаза от бумаги, в Париже, в Грассе ли, сквозь сияние провансальского дня. Никакой «Елецкой республики», возможно, не было; был, во всяком случае, какой-то «Елецкий Совнарком», каковой Совнарком постановил между прочим, 25 мая 1918 года, «передать всю полноту революционной власти двум народным диктаторам – Ивану Горшкову и Михаилу Бутову, которым отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и достоянием граждан». Из этих двух диктаторов – другой источник называет их *дуумвирами* – дуумвирами! каково! древний Рим в Орловской губернии! – из этих двух, значит, диктаторов-дуумвиров один, Иван Горшков, был большевик, другой, Михаил Бутов, левый эсер. Иван Горшков благополучно, кажется, дожил до 1961 года, дальнейшую судьбу Михаила Бутова мне выяснить не удалось. Вот какое-то «обращение» «К трудящимся города Ельца»: «Коллегия двух диктаторов – олицетворение союза рабочих и крестьян. Бутов самый популярный среди крестьян, Горшков – среди рабочих. Оба испытанные бойцы, люди с

железной волей и твердой рукой, еще никогда в жизни не отступавшие и не уступавшие ни пяди, преданные идее революции до самопожертвования. Люди, которые сумеют умереть, как жили: бесстрашно и просто – за землю, за волю, за народ трудовой. Товарищи, преклонимся перед суровостью их жребия, перед величием их подвига и, со своей стороны, облегчим его безграничной преданностью интересам народа!» Пришвин в своих дневниках называет этого Бутова «бывшим каторжником» и тут же бывшим «стражником императорского правительства» – кажется, или одно, или другое? Впрочем, о том, что Бутов – в прошлом стражник, пишет он постоянно, при каждом упоминании о нем. «В мещанской слободе стали обыски делать: искали сахар и оружие, брали все. Мещане собрались с духом и топорами зарубили трех красногвардейцев. Диктатор из стражников императорского правительства выставил против слободы всю артиллерию с пулеметами и, обернув орудия к небу, сам разъезжал на вороном коне три часа подряд. Тут все поняли, что такое диктатор». А вот дальше: «Хоронили убитых на Сенной площади, как на Марсовом поле, против Народного дома, выстроенного либеральным помещиком. Из буржуазных квартир вынесли цветы и сделали каре из пальм, лавров и других вечнозеленых растений. Возле могилы венки с надписью: “Проклятье убийцам!” Диктатор при салютах из орудий и пулеметов говорил речь и клялся на могиле, что за каждую голову убитых товарищей он положит сто буржуазных голов». Были при этой диктатуре и еще какие-то, судя по всему, комиссары, «народного», например, «просвещения». Вот запись Пришвина от 20 июня: «Комиссар народного просвещения, чувствительный человек, исполненный благими намерениями, выпустил для нашего города три замечательных декрета. Первый декрет о садах: уничтожить перегородки в частных садиках за домами и сделать из всех бесчисленных садов три: Советский Сад № 1, Советский Сад № 2 и Советский Сад № 3. Второй декрет: гражданам запрещается украшать себя ветвями сирени, бузины, черемухи и других *плодовых* деревьев. Третий декрет: ради экономии зерна, равно как для осуществления принципа свободы выпустить всех певчих птиц». Почему же сиренью-то нельзя себя украшать? А потому, наверное, что какой-то «молодой купеческий сын», как узнаем мы из записи от 6 июня, купил однажды в Городском саду веточку сирени для барышни и отправился с ней гулять. Незаметно дошли они до того места, «за Сенной площадью, между острогом и монастырем», где «находятся могилы расстрелянных». Каких расстрелянных? А той самой «буржуазии», которую дуумвир Бутов так пламенно обещал уничтожить в отместку за трех красноармейцев. «Солдаты подумали: цветы несут на могилу, и арестовали молодого человека. Мать бросилась в

комиссариат справляться. Ей сказали: “Его расстреляют”. За него похлопотали и скоро выпустили, а мать спрашивает теперь всех странно: Скажите, пожалуйста, я умерла, а почему же душу мою не отпевают?».

48.

Еще раньше, 19 марта 1918 года был принят (каким-то «пленарным собранием Елецких Совдепов») род конституции под скромным или все же не совсем скромным названием «Основной закон об организации Советской власти в г. Ельце и Елецком уезде», каковой закон, как не трудно догадаться, обрекал и уезд, и город на полное беззаконие, на «образцовое положение дел в смысле удушения кулаков», и прочих, конечно, контрреволюционеров, как писал об этом же самом Ельце и Елецком уезде Ильич, предлагая обрушиться на него обухом подразверстки. «Конфисковали», короче, все, что могли конфисковать у всех «бывших», землишку, значит, и золотишко, а заодно уж приступили и к строительству «новой жизни», начали даже, по слухам, выпускать свои собственные деньги, свои почтовые марки, впрочем, все это только слухи, ни того, ни другого я не видел, и никого не видел, кто видел бы, а вот решение о создании Елецкой губернии, и следовательно об отделении от ненавистного Орла (какой уездный город не соперничает с губернским?), в самом деле было принято «Совнаркомом» 23 апреля 1918. Немцы, между тем, намечаются на горизонте гражданской войны, 25 мая занимают Валуйки, от которых до Ельца можно, например, на машине доехать за несколько, пять или шесть часов. Вот тогда-то к власти и приходят пресловутые дуумвиры, тут же почему-то решившие созвать какой-то «крестьянский съезд», для, как пишет в своих интереснейших дневниках М.М. Пришвин (вот это место и читал мне, я помню, Двигубский), «окончательного решения вопроса как о диктатуре, так и о войне». О войне с немцами, разумеется, то есть – давать или не давать отпор «германско-гайдамацкой загребастой лапе», защищать Елец или нет. 29 мая съезд, действительно, собрался, но, кажется, ни до чего договориться не смог, депутаты вскорости снова разъехались по своим деревням. 2 июня Пришвин записывает: «Вчера мужики по вопросу о войне и диктатуре вынесли постановление: «Начинать войну только в согласии с Москвой и с высшей властью, а Елецкому уезду одному против немцев не выступать». По вопросу о диктатуре: часть селений высказалась вообще против диктатуры, а часть за то, чтобы диктаторы были выбраны с властью ограниченной и под контролем. На съезде высказались крестьяне против диктатуры, находя, что диктатура хуже самодержавия и всегда может лишить крестьянство

завоеванных свобод.» Ну, это диктаторам, ясное дело, не понравилось: «Бывший стражник нашей же волости, ныне уездный диктатор, метался по сцене театра Народного дома и кричал на представителей народа: Здесь собрались не пролетарии, а кулаки... На клумбе между розами свеклу посеяли. Выросла, разлопушилась свекла, и на все лето зацвела чайная роза.» В общем, нет, не удалось диктаторам договориться со съездом. А для таких случаев есть у диктаторов известный рецепт, только что продемонстрированный на примере Учредительного собрания – разогнать и все тут, «караул устал», привет от Железняка. «После жаркого спора с диктаторами съезд хотел покинуть зал заседания, но встретил в дверях карательный отряд и возвратился. На следующий день на дверях съезда были объявления, что здесь собрание крестьян партии большевиков и левых социалистов-революционеров. Не входя в здание, крестьяне выбрали представителя от волости и за их подписями подали заявление, что они беспартийные. Этих подписавшихся был приказ арестовать. В это же самое время с трех сторон города начались обыски с грабежом. Рабочие дали сигнал к остановке движения. Приехал броневик, открыл стрельбу. Делегаты разбежались по деревням.» А дальше – что же? А дальше в елецкой «Советской газете» от 5 июня 1918 года читаем: «РЕЗОЛЮЦИЯ, принятая 3-м Елецким Крестьянским съездом [читай: большевиками и левыми эсерами, оставшимися от него] совместно с Советом рабочих депутатов и представителями проф. союзов и фаб-завкомов: Ввиду того, что острая опасность со стороны немцев и гайдамаков миновала, что принудительная мобилизация проводится во всероссийском масштабе из центра, - коллегия диктаторов упразднить, передав всю полноту власти Уездному Совету Народных Комиссаров, которому поручить создать малую коллегия для разработки планов и наивозможно большей продуктивности работы. Съезд предлагает С.Н.К. произвести беспощадную конфискацию капиталов буржуазии для содержания мобилизуемой армии и семей тех, кто с оружием в руках пойдет защищать революцию, предлагает принудительно мобилизовать всю способную держать в руках лопаты буржуазию для черной работы, рытья окопов и т.д. под наблюдением рев. войск. Произвести повальные обыски в городе и уезде с целью отобрания у буржуазии и кулаков оружия и излишка запасов продовольствия, дабы заставить всех и питаться и работать равно. Да здравствует Свобода и Равенство!» «Дуумвират», следовательно, просуществовал всего десять дней, «Совнарком» еще, по крайней мере, месяц. Потому как 6 июля 1918 года был убит германский посол граф Мирбах, и непрочный союз кровавых романтиков с кровавыми реалистами рухнул... Об этом же Елецком «крестьянском съезде» сообщает и Вера Николаевна Бунина в

(тщательно переписанной Двигубским) записи от 4, по новому стилю 17 августа 1918 года (стр. 185): «Про Елец рассказы страшны: расстреляно много народу. ... Когда подходили немцы к Ельцу, то большевики созвали съезд крестьянский, Микула Селянинович, и хотели, чтобы он санкционировал диктатуру, всеобщую мобилизацию и еще что-то. Но Микула не согласился ни на один пункт, тогда президиум объявил, что это не настоящие крестьяне, а кулаки, и председатель стал стрелять в публику, но члены съезда кинулись на него, и начался рукопашный бой, какой всегда бывал в древней Руси, когда решались общественные вопросы. Бежали по улицам мужики, за ними красноармейцы. ... Многих мужиков арестовали, четырнадцать человек из них расстреляли. Когда на следующий день жены принесли в тюрьму обед, то им цинично сказали: „Это кому?“ – „Как кому, да мужьям нашим!“ – „Да нешто покойники едят?“ Бабы с воплем разбежались по городу. Прислуга в Ельце все шпионы. Продовольствия мало».

49.

Вот еще несколько цитат из елецких газет эпохи «Совнаркома», переписанных Двигубским (не знаю откуда) в одну из его тетрадей, использованных мною впоследствии (признаюсь теперь!) в моем (уже упоминавшемся) очерке о поездке в Елец в 2007 году. «Советская газета» от 15 июня 1918 года: «ПРОЭКТ ОБЫСКОВ, выработанный ЧК г. Ельца. Предс. ЧК С. Алексеев. ВОЗЗВАНИЕ от ЧК по обыскам г. Ельца. За последнее время по городу разнеслись провокаторские слухи, распускаемые темными личностями, что идут повальные обыски, отбирают все: и мебель, и одежду, и обувь, и самовары, и если есть 2 подушки, то одну берут, отбирают серебро и золото, даже серьги и колечки, а у сопротивляющихся рвут с ушами и пальцами. Не так давно разнеслась молва о таких грабежах, и рабочие, ничего не разобрав, побросали работу. Рабочих в этом сильно винить нельзя, т.к. каждая вещь ими нажита потом и кровью, и в настоящую эпоху революции рабочие с трудом отдают себе отчет, что творится вокруг них, т.к. темные личности забивают здравый ум рабочих и этим хотят в мутной воде половить рыбки. Дабы не получилось то же, что и в предыдущие дни, Совдеп постановил: обыски провести организованным путем, выделив из себя 5 членов и пригласив все профсоюзы и кроме того от каждых 100 рабочих по 1 представителю. Следовательно, обыски будут производить сами рабочие, а самого себя бояться нечего, и себе верить можно. Вышеназванные организации выделили из себя лиц, назвав их ЧК г. Ельца по обыскам, каковая комиссия и будет руководить обысками под контролем

самых рабочих. Призываем граждан отнестись спокойно к скоро начинающимся обыскам и довериться лицам, которых вы на это уполномочили. Лица, распускающие провокаторские и всевозможные грязные слухи, будут немедленно арестовываться, несмотря мужчина или женщина, и будут судиться по всей строгости революционного закона». Каковая строгость чудесно демонстрируется публикацией от 26 июня 1918 года: «РАССТРЕЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. В ночь на 23 июня по постановлению ЧК по борьбе с контрреволюцией следующие лица: бывший жандармский ротмистр Сурков, бывший городской голова Н.П. Ростовцев, фабрикант Парамонов, священник Тихомиров, инженер Карлин и ктитор церкви Заусайловой Федоров». Замечательно здесь отсутствие глагола. Ну в самом деле, все ведь и так понятно. Это те же «контрреволюционеры», о которых пишет Пришвин, или другие какие-нибудь? Нет, не те же, о тех сообщалось двумя неделями раньше, 12 июня, в заметке «МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ. БОРЬБА С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ. 9 июня по постановлению чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией расстреляны трое сознавшихся убийц товарищей красноармейцев: Григорий Федоров Сапрыкин, Иван Кондратьев Башутин и Михаил Соковых; и два контрреволюционера, уличенные в связях с московскими заговорщиками, германскими шпионами в Курске и в организации елецкой контрреволюционной буржуазии: Алексей Николаевич Романов, сын фабриканта, и Константин Николаевич Лопатин (бывший председатель земской управы). Кроме того, расстрелян грабитель Леонов, пытавшийся производить провокационные обыски под видом агента комиссариата продовольствия и отбиривший мануфактуру. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией продолжает расследование».

50.

«Елецкая республика» относится к 1918 году, с 1919 же связан другой эпизод Гражданской войны в Ельце – 31 августа город занят был казаками генерала Мамонтова, или, правильнее, Мамантова, совершавшими свой знаменитый рейд по тылам красных. Они пробыли в Ельце неделю, отмеченную, прежде всего, чудовищными по жестокости своей еврейскими погромами, в которых, ясное дело, приняла восторженное участие и местная пьяная сволочь, вообще грабежами и насилием, которое нам в нашей мирной жизни представить себе нелегко. Вот запись В.Н. Буниной (переписанная опять же Двигубским...) от 5, по новому – 18, октября 1919 года: «Он [некто Велихов – не знаю, и П.Д. тоже, по-видимому, не выяснил кто это] пережил в Ельце налет Мамонтова, рассказывал о нем. Большевики не придавали

серьезного значения этому рейду, поэтому все комиссары попались в руки казакам, которые всех их перебили. Лозунг их: „Спасай Россию и бей жидов“. Местное население тоже относилось враждебно к евреям, так как высшие должности были заняты ими. Убит сын доктора Лапинера, сам Лапинер спасся, хотя и был арестован, убита вся семья Залкинда, Гольдмана и многие другие. Велихову подставил казак к груди револьвер и хотел убить, как „жида“, пришлось показывать паспорт. Казак сказал: „Да, дворянин жидом быть не может!“» А вот выписка из газеты Газета «Соха и молот» от 16 сентября 1919, не знаю, опять-таки, где и каким образом добытой Двигубским: «КАЗАКИ В ЕЛЬЦЕ. ПОНЕДЕЛЬНИК (1 / IX). Всю ночь громят магазины и склады (мануфактурные и сапожные) и тут же продавали (sic!). Появились на улицах расклеенные приказы и воззвания белогвардейцев с программой Деникина. Утром в монастыре торжественные похороны двух убитых казаков с музыкой и пулеметными залпами. После похорон грабеж квартир коммунаров. Во всем приняли участие подонки местного общества. Тогда же начали грабить квартиры евреев и коммунистов. В еврейских квартирах творилось что-то ужасное. Туда стало врываться и хулиганье. Они указывали казакам квартиры евреев. Многих прямо на улице растерзала толпа. Ночью пожар в направлении Ефремовского вокзала». Казаки Мамонтова и регулярные деникинские части – не одно и то же, хотя и регулярные части вели себя временами вполне чудовищно. Как бы то ни было, регулярные эти части в Елец так и не вошли, хотя были, в сентябре-октябре, совсем близко, бои за Елец шли упорнейшие, но город взят все-таки не был, взяты были Ливны, белые стояли уже за Быстрой Сосной, как называется отнюдь не быстрая река, тихо текущая через Елец, а затем началось отступление, великая катастрофа, от которой белое движение никогда уже не оправилось.

51.

Его работа в Дижоне закончилась; контракт продлен не был; попытки устроиться в другом университете не имели успеха; какие-то велись переговоры; какие-то были полу-обещания, полу-проекты; обещания, не сдерживаемые, проекты, на которые денег в конце концов все же не находилось; пока суть да дело, перебивался он в Париже уроками, даже, кажется, уроками русского языка, да еще почасовым, нищенским преподаванием на каких-то общеобразовательных курсах, где любознательным, хорошо завитым французским пенсионеркам рассказывал, как смеялся потом рассказывал мне, что Россия, знаете ли, это такая большая страна на востоке, в ней

очень холодно и по улицам гуляют белые медведи, а русские женщины все, как одна, красавицы, а мужчины все пьяницы и шахматисты, причем одновременно, ход конем – стакан водки, а запивают квасом, к, в, а, с, диктую по буквам. Василий Яновский сообщает в своих, впрочем – сомнительных, мемуарах («Поля Елисейские»), что Лев Шестов, читая в Институте восточных языков лекции каким-то серым старушкам с постными лицами, никогда не подымал глаз от рукописи, а на вопрос почему, отвечал, что не хочет видеть лиц слушателей... Все это было не так уж страшно, в конце концов; вокруг был все же Париж, с его блаженным и мучительным напряжением жизни, ускорением мыслей, обострением чувств, яркостью, едва ли не яростью, впечатлений; в Париже были друзья, пусть не самые близкие; были родители, тогда еще живые, приехавшие в гости; была любимая питерская тетка, тогда еще тоже живая, гостившая иногда подолгу; и зарабатывали они вдвоем со Светой, к тому времени сдавшей свой медицинский экзамен, что не сделало ее работу легче, но повысило жалование, достаточно, чтобы содержать и себя, и Олю, стремившуюся, понятное дело, не отставать от лицейских подруг, избалованных дочек благополучных буржуазных родителей, с ядовитым вниманием, по-французски поджимая губки, следивших за тем, кто во что одет, с каким ярлычком на кофточке и на джинсах; могли даже позволить себе поехать в скромный отпуск, в Италию, например, где мы были вместе в августе и сентябре 2001 года, или, еще раньше, весной 2000 года, в отпуск зимний, лыжный, горный, австрийский, куда, как я понял, особенно рвалась Оля, в подражание, опять-таки, лицейским подругам, по возвращении с каникул так радостно и ревниво щебетавшим о том, кто где был и что видел, и откуда Двигубский, совершенно равнодушный, конечно, к лыжам, спорту, зимнему загару, обжигающему глинтвейну на альпийском морозце и вечерним танцам в поддельном шале, сбежал на один день, чтобы встретиться со мной в Мюнхене, куда я сам так мечтал и все никак не мог переехать. Для меня 2000 год был годом дзен-буддизма, единственной за всю мою жизнь и, конечно, неудачной попыткой, распроставшись с литературой, пойти совсем другим, религиозным путем, тем самым другим путем, о котором мы говорили когда-то, давным-давно, в прошлой жизни, с моим исчезнувшим из этой жизни приятелем Тихоном П., как об единственной, нам обоим понятной альтернативе. Двигубского я встретил на мюнхенском вокзале вместе с Элизабет, весьма решительно, я помню, потребовавшей, чтобы я взял ее с собой, я-де никогда не беру ее на встречи с моими русскими таинственными знакомыми; так продолжаться не может. Кубинский кризис, говорил Хрущев, разрешен был с помощью компромисса (с ударением на о).

Компромисс сводился к тому, что встретив Двигубского на вокзале и вместе с ним пообедав, мы на несколько часов расстанемся, она встречается со своей школьной подругой, переехавшей из Регенсбурга в Мюнхен, а я могу оправляться с моим русско-французским другом, куда нам будет угодно, хоть в музей, хоть гулять. Русско-французский друг, когда снял вязаную, довольно дурацкую, как бы горнолыжную, шапочку с оленем на лбу, оказался безудержно полысевшим за те два года, что я его не видал; рудинская шевелюра исчезла, оставив на память две длинные русые пряди, которыми он пытался, безуспешно и трогательно, прикрыть матовую, с неожиданными родинками, лысину; голова его, странным образом, казалась теперь не меньше, но больше, чем прежде, череп явил миру свою сократову крутизну; прежними, юношескими остались брови, все так же взлетающие над его собственным, в глазах отраженным морем. Было, как всегда бывает после долгого перерыва, трудно найти верный тон, вернуть верный тон; была, к тому же, Элизабет, с которой ему, П.Д., говорить уж совсем было не о чем; а говорить приходилось по-немецки; всем было скучно. Он был печален, я злился и нервничал. Мы зашли, я помню, в тот, впрочем, как почти все немецкие рестораны, грубый, шумный, невкусный, пережаренным маслом воняющий ресторан, где Тютчев обедал, якобы, с Гейне; долго ждали измученную подавальщицу в баварском наряде; еще дольше ждали, пока нам принесут по венскому шницелю с отвратительной прогорклой картошкой и, якобы, салатом, состоящим, как не почти, но все без исключения немецкие салаты, из уксуса и замаринованной в уксусе же капусты; затем уныло говорили о достоинствах французской кухни; затем о кухне китайской; о входящей в моду японской; затем вышли, наконец, в сверкающий ранневесенний день, оставив Гейне и Тютчева говорить о чем-нибудь более интересном. Тютчев, кажется, о немецкой еде не высказывался, зато задорный Языков утверждал в коротком стихотворении 1843 года, озаглавленном почему-то «Элегия» (а в самом деле, тема не радостная), что немцу все равно, что есть, лишь бы недорого, и что он даже рад есть всякую дрянь, поскольку «с нее же он еще и дрищет». На Мариенплац была, как обычно, толкающаяся туристическая толпа, у самой ратуши – робкий пикет в защиту то ли иранских диссидентов, то ли тибетских лам; по Театинерштрассе дошли мы до Одеонсплатц, до того места у Галереи Полководцев, где в 1923 остановлен был гитлеровский «марш на Берлин», до бывшей резиденции баварских королей с ее четырьмя львами, каждый из которых держит в лапах щит с латинской надписью и еще одной львиной мордой внизу, своим собственным как бы портретом, каковые миниатюрные морды принято, проходя мимо, гладить рукой по тупым полированным

носам – счастье, если верить местной легенде, можно обрести вот таким простым способом. Ясно ведь, что никакого другого способа нет. Двигубский честно провел рукой по всем четырем носам, справа и слева от арок, ведущих во внутренние дворы, после чего принялся перевязывать, перекручивать свой по-прежнему длинный, как в молодости, два, если не три раза вокруг шеи обмотанный шарф. Я был очень счастлив в Мюнхене те два с половиной, почти три года (с июня 2007 по апрель 2010), которые мне отпустила не очень щедрая, прямо скажем, судьба, весной этого 2010 года вновь забросившая меня в университетское захолустье (где я и сижу сейчас, думая, конечно, о том, что эта моя счастливая мюнхенская эпоха была уже без него, после него...). С Элизабет на Одеонсплатц, наконец, мы расстались; примерно через год я вообще с ней расстался. Мне хотелось, я помню, рассказать ему о моих дзенских опытах, о неделе, незадолго до нашей встречи проведенной мною в буддистском монастыре в Нижней Баварии, в глухой местности, на краю темного леса, о боли в ногах и чувстве присутствия в настоящем, вот здесь, вот сейчас, достигавшем такой остроты и отчетливости, какой своими, только своими силами я добиться никогда не мог и до сих пор не могу, о мгновенном выходе из мира стремлений и страхов в мир свободы, покоя и сострадания, о невозможности удержаться в этом мире, остаться в нем навсегда; мы уже вошли, я помню, в Хофгартен, дворцовый сад, с его несложным лабиринтом низких изгородей и заснеженных клумб; вдруг, не знаю уж, какому наитию повинуюсь, я предложил ему сперва выпить что-нибудь, забить мерзкий вкус шницеля, в известном всем мюнхенцам кафе Annast, одной стороной выходящем в Хофгартен, другой, под углом, на площадь, кафе, мне потому еще памятно, что я чуть не два часа просидел в нем, много лет назад, в мой первый приезд в Мюнхен в 1988 году, с Марией, говоря с ней, вернее, слушая ее, говорившую о Готфриде Бенне, мне в ту пору еще почти не известном. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage „Wozu?“... В кафе этом как всегда было тесно и душно; по узкой лестнице мы поднялись на второй этаж; тот столик у низенького окна, с двумя приставленными к нему глубокими креслами и с видом на голые ветки парка, где я сидел когда-то с Марией, был, по счастью, свободен. В 2000 году в Баварии еще можно было курить в кафе; я, впрочем, к тому времени курить уже бросил; Двигубский никогда настоящим курильщиком не был; курил, в другом темном углу, одну сигарету за другой, огромный, темный, неузнаваемый, в синем блейзере с золотыми пуговицами, нагло и пристально смотревший на нас господин. Из окна, на красном и влажном гравии парка, видны были уже вынесенные наружу мокрые белые столики, складные, хотя и не зеленые, Люксембургский парк

напоминавшие стулья (слово «раскоряка» выплыло и выплывает вновь из забвения), на которых и за которыми никто еще не сидел, разумеется; ломаные голые ветки подрагивали в белесом неприязненном небе; и это тоже, думал я свои дзенские мысли, все это тоже, конечно, лишь какое-то мгновение моей жизни, сколько их было уже, сколько будет, но единственное мгновение, как все они, одно из единственных, вот именно и только это, с этими ветками в парке, этим грохотом посуды и погудкою голосов, справа, слева, этими пирогами, пронесенными кельнером на подносе, яблочным пирогом и творожным, малиновым тортом и еще каким-то, таким с виду кремовым, шоколадно-приторным, что уже глядя на него чувствуешь, как тошнота поднимается по пищеводу, и делаешь поскорее глоток принесенной тебе вместе с кофе воды, в пузатом стаканчике, и видишь этот стаканчик, и свою руку, свои пальцы, отпечатки их на стекле, оставшиеся с наружной стороны, но зримые с внутренней, и поднимаешь голову, видишь, наискось, через два столика от твоего, двух блондинок, одна сидит несоблазнительной спиной к тебе, другая, вполборота и чуть-чуть похожая на Марию, отвечая на твой взгляд, отводя свой, краснеет, нет, розовеет, каким-то малиновым, нет, яблочным, творожным, пирожным, снизу вверх, от шеи к щекам поднимающимся румянцем, и только воробьи садятся на раскоряки, на мокрые столики за окном, подпрыгивают, склоняются, пьют воду из мелких луж на столешницах, подпрыгивают опять, улетают. «А не хочешь ли, Алексей Макушинский, пересесть за мой столик?» – сказал из своего угла, поверх других столиков, голосов, голов и блондинок, огромный, в синем блейзере, господин, оказавшийся совершенно забытым к тому времени Виком, товарищем моего юношеского разврата.

52.

Это было так неожиданно, что мы оба, Двигубский и я, покорно встав, со своими чашками и стаканчиками в руках, пошли в его сторону. Огромный, толстый, в пять раз толще себя самого, тогдашнего, бесследно пропавшего, раза в два, наверное, толще, чем был его нерукопожатный отец; толстенный, крупнейший, с беззастенчивым брюхом, нависшим, как грозовая туча нависает над садом и озером, над хрупким столиком, от ужаса сжавшимся, с двумя, нет, тремя подбородками. Что, не узнаешь? Вот подлец... От миндальных глаз осталось одно бесстыдство; ресницы, по дороге из прошлого, выпали. Густой брюнет, восточно-волосатого типа. Хотя и с залысинами. Золотой браслет на заросшем запястье. Золотой же перстень с печаткой, буква «В» с завитками. *C'est le comble, ça*, сказал бы Флобер. Всюду золото, запонки, зажигалка.

Пачка Dunhill'a с золотой каемкой, сигарета с золотым же ободком возле фильтра. Костюм от всех Armani одновременно. Да, брат, меняет нас жизнь, объявил Вик, оглядывая меня, в свою очередь. Закурил, запыхтел. Тут же, басом, расхохотался. Меняет, сволочь такая. А это кто? спросил он, тыкая волосатым пальцем в Двигубского. Двигубский, в свою очередь, во все глаза смотрел на него, с каким-то, показалось мне, затаенным весельем, изумленьем, почти, пожалуй, восторгом. Встречались? переспросил Вик. Когда это мы встречались? На улице Горького, в перестройку? Чепуха, все вы врете. Тебе как зовут? Двигубский? Павел? Не знаю такого. Ну что, он повернулся снова ко мне, кресло, в ужасе, закрипело под ним, пойдём в бордель сегодня? Вот так, без всякого перехода. Ты что, к блядям не ходишь? Не ври. Не стоИт, что ли? Снова расхохотался при этом, ухая голосом. Блондинки смотрели на него уже обе, и похожая на Марию, и другая, сперва оглянувшаяся, затем развернувшая стул. Чтобы лучше видеть. Еще бы. Что, не стоИт? Я вспомнил, конечно, историю про *вашего лысого*; юношеские преданья. Да, теперь уж не то, брат, что раньше. Стареем, толстеем... Что? Гондурас? С Гондурасом покончено, говно страна оказалась. Гондурас-пидарас. А ты что? В университете? Диссертацию написал? И роман написал? Издал? Хвалю. А что я? Что – я, вам, ребятки, знать не положено. Тут он вдруг как будто задумался, выпуская дым из маленького, между его толстых щек, толстых губ потерявшегося рта, пустыми, стеклянными, остановившимися глазами глядя в пустоту, в пространство, видимо, таинственных своих комбинаций. Снова очнулся. Закажи мне кофе, сказал он, коньяку, коньяк какой у них тут, арманьяк, и кусок вон того пирога, как вон у той тетки. Вон того шоколадного, с кремом. Себе, я помню, я спросил стакан грейпфрутового сока; Двигубский, кажется, не взял ничего. Грейпфрутового сока! закричал Вик. Ты что, на диете? Grapefruitsaft, ёб твою мать. Ты какой-то вообще скучный, какой-то хер профессор, честное слово. Я не профессор, не на диете и я уже пил кофе, сказал я. Кроме того, я не интересуюсь борделями и, как ты изволишь выражаться, блядями. Мой друг, смею думать, не интересуется ими тоже. Зато мне очень все-таки интересно узнать, что вообще из тебя стало. Чем ты вообще занимаешься, чем... Вик, глядя прямо на меня вполне вдруг осмысленными, даже, пожалуй, умными и совершенно безжалостными глазами, повторил, что лучше мне этого не знать. Нет, лучше не знать. Затем опять расплылся в шоколадно-кремовой, утонувшей в его подбородках улыбке. Затем опять задумался, опять остекленевшими глазами уставился в пустоту. У меня к тебе дело, сказал он, наконец, переходя на заговорщицкий шепот. У тебя – ко мне? К тебе, оборвал он, к тебе, мудаку. При этом

можно говорить? он опять кивнул на Двигубского. Можно, можно... Ничего, сказал Вик, мы и его приспособим. Вы оба такие порядочные, добавил он, с презрением нас обоих оглядывая. А мне порядочных-то и надо. Порядочных людей нет, одни бандиты вокруг... Это мне вас Бог послал, сказал он, возводя очи горе. Двигубский, я видел, еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Короче, переходя снова на шепот и обращаясь ко мне одному, говорил Вик, покупаешь завтра портфель, не перебивай, мать твою, сейчас все поймешь. Тебе на улице покажут какой портфель. Здесь мои люди, они покажут, такой простой, черный, продается на Мариенплац в Кауфхофе, понятно? Понятно-то понятно, но что дальше? сказал я. Ты не лыбься, а слушай. С этим портфелем садишься в метро, тебе завтра скажут, во сколько и на какой станции. Портфель ставишь рядом с собой. После чего, сказал я, на соседнее место садится человек в плаще и шляпе, ставит рядом такой же портфель... Человек будет в джинсах и кожаной куртке, придурок. Куртка с серебряными застежками, такими вроде пояса. Портфелями вы меняетесь. Через два дня, не лыбься, мудила, портфель у тебя заберут. Тыща баксов. Что? Тыща баксов. Сразу, в руки, наличными. Пройдет удачно, через месяц повторим. А что в портфеле? спросил Двигубский. Обогащенный уран? Вик опять уставился на него; в глазах его, как некогда, проскользнуло безумие. Что в портфеле, тебе знать не нужно. И тебе не нужно, сказал он, поворачиваясь ко мне. Откроешь – все, каюк тебе, дорогуша. Волосатыми пальцами показал этот *каюк*, сжимающий горло. Отхлебнул коньяку. Крошечной, в его пальцах прямо какой-то жалобной вилочкой подцепив огромный кусок шоколадно-кремовой гадости, отправил ее в рот, увеличивая число подбородков. Откинулся на взмолившемся кресле. Наступила пауза, довольно долго длившаяся, я помню. Что, не хочешь? страшным шепотом проговорил, наконец, Вик. Не хочешь?! тут же и закричал он, подаваясь снова вперед. Не кричи, на нас все уже смотрят. Ебал я их в селезенку. Возвращаясь к пыхтящему шепоту. Тыща баксов, сразу, наличными. Это же твой шанс. Твой шанс в жизни, олигофрен. Что ты заработаешь своими диссертациями? произнес он, намеренно шепелявя, растягивая это *дис-сер-та-циями*, с презрительным сожалением глядя на мой, я помню, тогдашний твидовый пиджак, академические вельветовые штаны. Ты же никто, сказал он, щелкая толстыми, какими-то гнутыми и темными пальцами. Я же пальцами щелкну, и нет вас обоих. А ты мне и нужен такой, сказал он как бы сам себе, безумными глазами глядя перед собою. Мне такой *никто* и нужен, мудила. Струсил, да? закричал он опять, без всякого перехода. Струсил, да, срейфил? Не бось, никто тебя не тронет. Кому ты нужен вообще? Ты что думаешь, ты нужен кому-нибудь? А до меня им не добраться, кишка тонка. Кому *им*, я

решил не спрашивать, Двигубский не спросил тоже. Нет, не добратся, ублюдкам. Так что придется тебе, дружок, согласиться. согласишься, дружок мой, на коленках будешь ползать. И ты согласишься, сказал он Двигубскому, я тебя в Париже найду, не волнуйся. Никуда вы, придурки, не денетесь, поздно, поезд ушел. Что это значит? спросил я. Что это значит, что это значит, загнусавил Вик, передразнивая, брызгая слюной, раскачиваясь на погибающем кресле, тряся подбородками. А то это значит, друг ситный, разъебай мудозвонович, что уже поздно отказываться. Ты меня видел? Видел. Со мной говорил? Говорил. Ты что думаешь, так вот можешь теперь взять и выйти отсюда? От моих предложений не отказываются, понял, в натуре. *В натуре* тоже было словечко нашей молодости; забытый школьный жаргон. Ты что же, нам угрожаешь? Я? закричал Вик; все головы снова к нам обернулись. Все блондинки, все головы. Все головы всех блондинок. Я? И не думаю. Со сладчайшей, прежней, кремово-шоколадной улыбкой. И не думаю, что ты? Мы же с тобой кореша, в натуре, ты что? Да я же, можно сказать, я ж тебя, мы ж с тобой, в наши лучшие годы. Да я ж тебя, можно сказать, люблю. Мерзавец ты этакий. Допивая коньяк. Хорошо, подумай до вечера. Так и быть, по старой дружбе. Вечером позвони, вот мой номер. Но хорошо подумай. Как следует подумай, это я тебе говорю. Снова с угрозой. Глядя прямо, темными, теми же, режущими глазами. Здесь думать не о чем, Вик. Я ни в каких таких делах никогда не участвовал и участвовать не собираюсь. Так что... Ну и хуй с тобой, сказал Вик, вставая, извлекая из кармана брюк пухлый бумажник. Пока живите, хуй с вами. Хуй-то с нами, сказал вдруг Двигубский, никогда на моей памяти не ругавшийся матом. Вик, кажется, ответа его не услышал. Сидите, пробасил он, я выйду первым, сидите. Он бросил на стол сто марок. Исчез. Опять окно, опять эти ветки в окне, раскоряки, блондинки, воробьи на столешницах. Это тот господин оставил? Изумление официантки, ее взлетевшие брови, крестьянское лицо, широкие скулы. Она была даже, я помню, не рада, просто удивлена.

53.

И мы тоже, конечно, не сразу пришли в себя после этого приятного разговорчика. Мы просидели, я помню, минуты три в обалдении, даже не глядя друг на друга, с такими же, наверное, остекленевшими, остановившимися глазами, какие бывали у Вика, когда он всматривался в безумные свои комбинации. Двигубский очнулся первым; когда я посмотрел, наконец, в его сторону, в глаза его, в тени по-прежнему размашистых и летящих бровей, стоял хохот. Он старался все-таки не хохотать слишком громко;

беззвучно, мучительно и блаженно сгибаясь, корча длинные ноги, переламывался он, почти пополам, в своем кресле, вновь и вновь поглядывая на опустевшее Виково, стоявшее с видом невиннейшим, обратив к нам свою потертую красную, в золотых лилиях, обивку, лоснящиеся от многих рук подлокотники, вольтеровские заушники. Блондинки исчезли; на Одеонплатц был влажный мартовский ветер; осевшие, черные и ноздреватые сугробы в Хофгартене. Он спросил меня, где же именно проходила та знаменитая выставка «Искусство вырождения», Entartete Kunst, устроенная нацистами в 1937 расчудесном году как иронический комментарий к первой выставке настоящих, истинно-германских, кроваво-почвенных картин и скульптур, проводившейся, в тот распрекрасный год впервые и затем из года в год, до самого апокалипсического финала, с истинно-германской настойчивостью, в специально для этих скульптур и картин возведенном «Доме немецкого искусства», Haus der deutschen Kunst, расположенном, насколько он знает, неподалеку. Последнее я подтвердил; ответить на первый вопрос не смог. Где-то здесь, вот в этих аркадах... С тех пор выяснил я, что местом проведения сей достопамятной выставки, долженствовавшей положить конец всякому авангарду и всяческому, пардон, модернизму, бросив, в последний раз, на посмешище рыгающей толпы создания современной развихренной музыки, представленной, впрочем, скорее второ- и третьесортными поделками, попавшими под горячую руку, других не нашлось, сойдут и эти, до того ли нам сегодня, товарищи?.., что позорным этим местом, короче, были те несколько залов и зальчиков, где располагается ныне баварский театральный музей, под аркадами Хофгартена почти незаметный, теряющийся среди каких-то других галерей, модных лавок. К немалому моему изумлению Двигубский извлек из кармана фотоаппарат, еще, я помню, не цифровой, простую «мыльницу», какие были тогда в ходу, и принялся снимать эти аркады, эти лавки, затем, исподтишка, добродушных стариков, бросавших, изредка попадая в цель, серебряные шары, сначала быстро, затем все медленнее катившиеся по мокрому гравию. Старики эти всегда бросают на этом месте эти шары, в любое время года и суток. Сам по себе Мюнхен, барочный и ренессансный, единственный город, где мне всегда хотелось жить, где я мог быть счастлив, где и трех лет не прожил, Двигубского, показалось мне, не занимал ни в малейшей степени; чудный вид, поверх голых деревьев, на башни Theatinerkirche и далекие круглые, зеленокупольные башни собора сфотографировал он, уступая моим восторгам, быстро и равнодушно. Зато, когда мы перешли, наконец, Принцрегентенштрассе и упомянутый «Дом немецкого искусства» (после войны превратившегося в искусство просто) восстал перед нами во

всем своим вавилонским великолепиям, П.Д., слегка даже крякнув, принялся снимать в разных ракурсах, издали и вблизи, сей первый шедевр нацистской архитектуры, так настойчиво напоминающий те архитектурные шедевры, среди которых, заметил он как бы в скобках, мы имели несчастье родиться и вырасти, задуматься о жизни и прочесть свои первые книги..., напоминающий, но, пожалуй, и превосходящий большинство из них убедительностью и простотой, отчетливостью выраженной в нем воли. Воля, сказал он, я помню, когда мы прошли по внешней, обращенной к Принцрегентенштрассе колоннаде, завернули за угол и за угол снова, оказавшись в колоннаде задней, повернутой к Английскому саду и всегда производившей на меня еще более решительное, потому что не нарушаемое ничем посторонним (ни шумом улицы, ни голосами прохожих, ни современными крикливыми плакатами, заманивающими на глупые выставки) впечатление пустынной мощи, архаической силы, – воля, сказал он, в основании всего этого лежит воля, стальная воля, железная воля, культ и триумф воли, воля к власти, *Wille zur Macht*. Он вдруг начал вновь хохотать; эхо его хохота кружилось среди колонн. Просто вспомнил, сказал он извиняющимся тоном, как был однажды, после третьего, что ли, курса, с Петром, кстати, Федоровым, на Кубанском водохранилище, есть, знаете ли, такое, и там видел а-громадную, он раскинул руки, кумачовую надпись: «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики!» Куда велят, туда и течет. Всепобеждающая воля тоталитарных идеологий... Вот, сказал я, и люди были такие же. Он спросил меня, взмахнув бровями, поправляя лыжную шапку над ними, что, собственно, я имею в виду. Я ответил, что я очень хорошо знал таких людей воли и немало от них натерпелся, бывших комсомольцев, растерявших свои убеждения, но не утративших большевицкой закалки. Эта пресловутая сила воли кажется мне, помимо всего прочего, нестерпимую пошлостью... Вам кажется, ответил он, а вот вашему Ницше отнюдь не казалась. Вашему Ницше, сказал я. И вашему д'Аннунцио, и как их всех звали. Мне по-прежнему хотелось, я помню, но так и не удалось в тот день перейти на свою территорию; я подумал, конечно, но ничего не сказал ему, о даосском недеянии, о равнодушии к результату, о совпадении пути и цели, о спасительной свободе от угрюмых усилий, от злобной судороги судьбоносных решений. Мы пошли обратно по колоннаде. То, что сегодня не получается, завтра получится. Конечно, думал я в сотый и в тысячный раз в жизни, если не стараться и не стремиться, не получится ничего. А все же самое лучшее дается нам как бы само собой, по своей, а не нашей воле, незаконным даром среди расчисленных и ничтожных наград. Мы вошли, наконец,

внутри, в вестибюль музея, столь же великолепный, как и внешняя его оболочка; зашли в музейную, книжно-сувенирную лавку, откуда можно было и, наверное, до сих пор можно, не покупая билетов, заглянуть в, собственно, выставочные залы, отданные после войны тому самому современному искусству, с которым подручные обоих усатых тиранов так яростно и в конечном счете так безуспешно боролись. Безуспешность их борьбы (ихнего, заметил Двигубский, кампфа...) была нам услужливо продемонстрирована устроителями очередного смотра достижений победившего авангарда. В первом зале выставлен был огромный, во всю стену, экран, на котором, под женский крик, скрежет шин и взвизги металлической музыки, один дядька догонял другого, бил его чем-то железным по кумполу, кровь брызгала – и все начиналось сначала, секунд через тридцать, дядька догонял, дядька бил, брызгала кровь, догонял, бил, кровь, догонял, бил, кровь, догонял. В другом зале, куда тоже заглянули мы, воспользовавшись отсутствием зрителя, как, впрочем, и публики, запомнилась мне освежеванная и тоже кровавая туша какого-то несчастного зверя, не знаю уж из какой дряни сделанная и выставленная в виде скульптуры. Не обошлось и без живописи. На одной, помню, картине, толстогрудая баба в лакированных красных сапожках рассматривала, наклонив красногубую морду, свои ярко-красные, вверх торчащие, омерзительные соски – держа при этом в вытянутой руке те же самые, но вроде как синтетические, соски, привязанные за ниточку, с болтающимися под ними почему-то тремя парами смутно прорисованных, но с отчетливыми промежностями, кривых женских ножек. Гуляй, Вася, и здраву моему не препятствуй. В сущности, это то же самое, сказал, я помню, П.Д., показывая своей по-прежнему плохо привинченную рукою на стены и потолок – и затем на выставленные «объекты». Плоды одного дерева, порождения одного духа... Я ответил, я помню, показывая, в свою очередь, на бабу и тушу, что здесь господствует разрушение, а там была все же некая воля к созиданию, к построению вавилонской башни, прекрасного нового мира. Это две стороны одной медали, простейшая диалектика, которую не можете вы не понимать, сказал он. Соцреализм, или вот – национал-соцреализм, так же относится к авангарду, как сталинизм относится к революции. Как сталинизм одновременно продолжает и предает революцию, так соцреализм одновременно вырастает из авангарда и уничтожает его. А вот из этого что же, по-вашему, вырастет? спросил я, вновь показывая на тушу и бабу. А из этого уже ничего, конечно, не вырастет, это уже остатки, ошметки, подражания подражаниям, отрывка погибшего времени. Я знаю, что вы сейчас скажете! Вы скажете, что все сложнее... Скажу, сказал я, конечно. Что дело не сводится к этикеткам,

что в каждом конкретном случае надо смотреть внимательней и судить осторожней, что переходы тонки и многообразны и что нельзя весь двадцатый век гребсти под одну гребенку, будь то даже гребень Лорелеи, достояние садовника и палача. Все это я и сам вам скажу, сказал он. А все-таки, поверьте мне, ничего уже никогда не вырастет из этих отбросов... Пойдемте, Макушинский, отсюда.

54.

В мои счастливые мюнхенские годы, впоследствии, много раз ходил я тем маршрутом, которым пошли мы тогда с Двигубским – по шумной и скучной Принцрегентенштрассе, мимо серого Баварского Национального музея с конной статуей бородатого, лысого, сократообразного принц-регента Луитпольда, каковой, между прочим, Луитпольд, сказал я Двигубскому, правил нашей славной Баварией после низложения и загадочной гибели безумного Людвига Второго, того самого, построившего свои сказочные замки, превращенные ныне в голливудский аттракцион для многомиллионных туристических масс; затем к Изару и к Ангелу Мира, глядящему с другого берега на им и мною обожаемый город, золотому и женообразному, что все-таки, согласитесь, довольно странно для ангела, сказал мне Двигубский, с отчетливым бюстом, размашистыми крыльями и оливковой ветвью в вытянутой руке, к которому, впрочем, не стали мы подниматься, но, перейдя через мост, вдоль реки, внизу под нами шумевшей и рокотавшей, по еще вязкой и скользкой парковой дорожке, голыми деревьями отделенной от уходящего вверх косогора, пошли к Максимилианеуму, баварскому парламенту, тоже оставшемуся наверху, и дальше, вдоль Изара, сложной и старинной системой плотин поделенного здесь на рукава и протоки, по совсем узкой, между собственно рекою и одним из этих протоков проходящей дорожке, между водой и водою, со всех сторон бурлившей и пенившейся; наконец, по пешеходному мосту, обратно на левый берег и, перелезши через ограду, на одну из тех каменистых отмелей, которых вообще много на Изаре. Вышло солнце, я помню, и хотя от воды тянуло, разумеется, холодом, снежным, зимним и горным, на безветренной этой отмели, на согретых солнцем камнях, вдруг почти по-летнему, как иногда бывает в Мюнхене, стало тепло. Кусок картона, кем-то оставленный. Посидим? Посидим. А Вика этого вашего, сказал П.Д., я запомню. Еще бы, сказал я, разве можно забыть такое... В разноцветных куртках американцы обнаружили вдруг на отмели, три парня и девушка, с гортанным гиканьем, почти сразу же вслед за нами перелезшие через ограду, нашим дурным примером, похоже, и соблазненные, на нас, впрочем, не

обращавшие больше внимания. Из троих только двое заигрывали с белобрысой девицей; третий, толстенький, маленький, с красным, ирландского кроя, лицом и черным прилизанным коком на лбу (предметом, поди, его гордости, каждое утро, небось, подвергаемым влюбленной завивке, восторженной лакировке), занялся рекой и камушками, пуская, как написал бы латинский автор, эти прыгать по той, *id est* камушки по воде, *seven times, ten times, look here*. Двигубский, я помню, даже слегка толкнул меня локтем, смотрите, мол, какой персонаж... Как он горд, что камушек отскочил десять раз. Мастер своего дела. Как он наклоняется, выбирая самые плоские, как разглядывает выбранный камушек, подбрасывает его на ладони, как примеряется, пригибается, отводит руку, с какой-то еще добавочной хулиганской оттяжкой, как кидает, причмокнув, и как смотрит, с каким призывом к восхищению, с какой жаждой любви и признания, на своих соамериканцев, откровенно и беспощадно равнодушных к его искусству, его труду, его скромному дару... Мгновение жизни, думал я, которое никогда, никогда уже не повторится, никогда не вернется, летучее, как все они, совершенное и в себе законченное, как все мгновения жизни. А между прочим, я видел однажды каталоги этих нацистских выставок, замечательных в своем роде, с древнегерманским упорством проводившихся аж до самого сорок четвертого года. Крестьянская семья, прильнув к приемнику, слушает фюрера, парадный портрет коего красуется тут же рядом, и боевики СА с квадратными подбородками и суровой любовью во взгляде маршируют в блаженное будущее, и натруженные руки рабочего говорят нам о правде жизни, до которой куда уж интеллигенту, как он ни старается, и в родном лесу такая прохлада, такая тишь, мишка на севере, грильяж в шоколаде... Мысли путаются, но мы собираем их. Двигубский молчал, глядя на воду, на американца с коком, снова на воду, думая о своем. Мысли всегда путаются, думал я, проходят, исчезают, Бог с ними. Мы все, конечно, пускали камушки по воде, вот такие же гладкие, плоские, с этими крапинками, с этими как бы добавочными выемками и углублениями в них, которые даже не видишь, но нашупываешь пальцем, подушкой большого пальца, вода им по уже не холодной, в твоих же пальцах согревающейся поверхности; и когда-то, уже давным-давно, в моей балтийской юности, когда, на очередное лето убежав из Москвы, я жил в той латышской деревне, куда, как правило, из Москвы я и убегал, и вдоль моря, бывало, идучи, думая, вот что странно, те же, или отчасти те же самые мысли, на своей территории, о текущем, текучем, вечно-подвижном присутствии в настоящем, о безразличии к целям, равнодушии к результатам, но думая, конечно, на продолжении все тех же мыслей, и о том, что тогда

писал, о том романе, который составлял тогда содержание моей жизни и который теперь, дописанный, изданный и никому не нужный, уже, к этому 2000 году, в котором мы находились, отступил от меня самого в неосязаемое, недостижимое прошлое, уже как будто не мною написанный и мне самому уже не совсем, пожалуй, понятный..., вдруг, в моей балтийской юности, обо всем этом думая, переставая думать, не думая уже ни о чем, останавливался, и смотрел, и снова смотрел, разумеется, на воду, и обнаружив в ладони давным-давно подобранный, согретый ладонью, и забытый в ладони, с его уже, но втайне, по ходу совсем других мыслей, изученными шербинками, впадинками, со всем его лунным ландшафтом, своим собственным, по ту сторону нашей жизни, безразличным к ней, камушек, вдруг, следовательно, камушек обнаружив, прицеливаясь, пригибаясь, проваливаясь во что-то, в иное время, в забытое детство, пускал его подпрыгивать по воде, сначала размашистыми, самоуверенными, затем все уменьшавшимися, легчавшими, затихавшими прыжками, смирявшимися отскоками; и особенно если море, что с ним случалось, лежало неподвижно, безмолвно, отражая неподвижно, безмолвно стоявшие над ним облака, так безмолвно и так неподвижно, что облака и отражения их почти сливались в единые, светящиеся громады, камушек, оставляя на зеркальной воде свои мгновенно терявшиеся следы, между водой и небом один только и двигался, исчезая, всплескивая, в последний раз появляясь, исчезая уже на совсем, навсегда. Если мне не удастся написать мою повесть, «Город в долине», глядя на воду, сказал вдруг Двигубский, очевидно читавший мои мысли, не нуждаясь в словах, то я не знаю, как жить. Просто нечем жить тогда, вот и все. Я снова вспомнил Тихона П., наши с ним, полупьяные, разговоры. Я подумал, что был неправ тогда, когда-то, в юности, по отношению к Двигубскому... То есть как же нечем, сказал я, сопротивляясь этой мысли, а ваши исторические занятия? а наука? Нет, ответил он, глядя по-прежнему на воду, струившуюся и бурлившую мимо, нет, все это не удовлетворяет его, все это, конечно, замечательно, но не оправдывает жизни. Вы мне скажете, что жизнь и не нуждается в оправдании. Я не знаю, сказал я. А я знаю, сказал он, что жизнь, может быть, сама в оправдании не нуждается, но мы нуждаемся в нем. Что-то должно быть в жизни безусловно осмысленное, не просто занятное, или забавное. Если этого нет, то ничего нет, все рушится... Тихона, в том 2000 году, когда мы сидели с Двигубским на берегу Изара, в живых уже не было, но я этого еще не знал. Что до американца с коком – кокнутого американца, сказал, вдруг рассмеявшись, П.Д. – то он нашел, наконец, признание: признание, сочувственный отклик в сердцах и душах замерших, на другом берегу, разноцветных, в марсианские синтетические костюмы

обряженных велосипедистов, восхищенных его искусством пускать камушки по бурливой воде, из-под своих пластиковых шлемов кричавших ему непонятное что-то, не в силах перекричать шум этой воды, утиный крик, гул машин.

55.

Мои собственные обстоятельства снова переменялись. В январе 2001 года я вдруг получил предложение занять освободившееся место ассистента на кафедре Восточно-европейской истории все в том же Эйхштеттском Католическом университете – предложение, поразительное прежде всего потому, что никаким историком я, конечно же, не был, историю, даже русскую, знал плохо, чувствовал себя авантюристом и самозванцем, не по праву вторгшимся в чуждое ему королевство, усевшимся на чужой трон, под чужим балдахином. Вспоминая же мою детскую привычку отвечать на дурацкий вопрос взрослых, кем я хочу быть, что – историком, только дивился про себя тому, что судьба, в свою очередь, вот так, выходит, на это ответила... Задача моя, впрочем, заключалась в первую очередь в преподавании того, что в Германии называют «историей идей», а также историей, с позволения сказать, культуры (Kulturgeschichte, Ideengeschichte...); удивленным и белобрысым студентам рассказывал я, следовательно, о западниках и славянофилах, нигилистах и народниках, символистах и соцреалистах; лишь постепенно, осваиваясь в предмете, переходил и перешел, действительно, к истории как таковой, теперь уже рассказывая белобрысым и удивленным студентам, прилежным и слишком редко, увы, прелестным студенткам о призвании варягов, о византийском влиянии, о Московском царстве как продолжении Золотой Орды, о вотчинном государстве, о стремлении России выйти в море, к Балтийскому, Черному, Чертову, о Лже-, конечно, Димитрии, самозванце, как и я сам, моем, до сих пор, любимейшем персонаже отечественной истории. Историком я, конечно, так и не сделался; иногда, думая о Двигубском, чувствовал себя так, как будто занимаю *его* место, ему причитавшееся... К нему-то, как правило, и обращался я за советом, по телефону, чаще по электронной почте. Что бы такое, дорогой Павел, рассказать мне завтра местным не-красавицам о Гражданской войне? Павел, всякий раз, давал советы ценнейшие, очень точные и по делу, с безошибочным указанием страницы и тома, том такой, страница такая-то... Мне пришлось опять переехать в Эйхштетт, теперь уже не в студенческую комнатенку, а во вполне себе respectable преподавательскую квартиру, опять – над городом, на том отроге юрского плоскогорья, которое закачивается замком (он же – крепость); город виден был из моих окон весь целиком, с

его, вновь упомянем их, черепичными красными крышами, двуглавым собором, зелеными куполами церквей, зубчатой белой стеною, изгибом реки и даже, в солнечный день, блеском рельсов у того вокзала (вокзальчика), на который прибывала, с которого отбывала «кукушка», по-прежнему курсировавшая – девять минут в одну и девять в другую сторону – между этим городским и настоящим, затерявшимся среди холмов и каменоломен, вокзалом, где по-прежнему останавливались, удивляясь и скрипя тормозами, серьезные, взрослые поезда. Теперь уже думал я, глядя на город, вновь и вновь, о Двигубском и его повести; вновь и вновь приглашал его приехать ко мне; он всякий раз отвечал, что – да, непременно, что – как же иначе и что он уже давно собирается; всякий раз что-нибудь да мешало ему приехать. На меня же одиночество навалилось, как лавина на неосторожного лыжника в Альпах. Той полустуденческой жизни, которой я жил здесь шесть или семь тому назад, не было уже и в помине; были немногие друзья, от той жизни оставшиеся; было, временами мучительное, чувство, что судьба загнала меня в угол, дважды в тот же, медвежий, смеясь над моими попытками к бегству, стремленьем к свободе. Я все-таки опять убежал (в 2007 году, в Мюнхен); судьба в долгу не осталась, еще через два с половиною года загнав меня в новый угол, теперешний. Ничего этого я десять лет назад еще знать, конечно, не мог... Поначалу, как и в первый раз, было, впрочем, не так уж плохо; тоска началась потом. Были новые задачи, новые темы в жизни (его, двигубские, темы, варяги и вотчинники, подобранные ко мне окольным путем...); главное же – не только внешние, но и внутренние мои обстоятельства начали в ту пору меняться, смещаться; снова звезды встали иначе; снова тени легли по-другому. Эпоха молчания заканчивалась – молчания, которое я представлял себе иногда как некую страну, как ландшафт, дороги молчания, горы молчания, рассвет над лесом, закат над рекою молчания. Куда-то, было еще непонятно куда, но куда-то эти дороги уже меня выводили; до каких-то слов и строчек я уже *домолчался*; листья в лесу зашумели; река забормотала что-то на русалочьем своем языке. Еще я не верил этим словам, не доверял этим строчкам. Но уже не думал о том, чтобы расстаться с писательством, уйти в монахи, податься в отшельники. Земная жизнь вновь обретала смысл.

56.

Лукка, писал мне Двигубский летом 2001 года, есть один из прелестнейших городов, когда-либо виденных им, почему они, то есть он, Света и Оля, задумали провести две недели в конце августа, перед началом учебного года, в Тоскане, между Луккой и

морем, в деревне, где у их знакомых, Светиных, точнее, коллег по работе, есть домик, который, за умеренную плату, сдают они друзьям, друзьям друзей и вообще (писал мне Двигубский) представителям рода человеческого (*de l'humanité, si l'on veut*). Конечно, в августе в Италии еще жарко, но если я хочу и если Элизабет хочет, то почему бы нам, собственно, не провести, так сказать, *вакансии* (*les vacances, vous comprenez*) вместе (*ensemble*)? С Элизабет я расставался в то время; она не поехала. Мы же, после долгих переговоров и обмена электронными письмами, пришли к выводу, что лучше всего было бы мне приехать на машине и присоединиться к Двигубским на вторую неделю их пребывания в тосканской идиллии, после чего, в начале сентября, Света и Оленька уедут в Париж, мы же вдвоем *проедемся*, как выразился, опять же, Двигубский, по итальянской и французской Ривьере, по Лазурному берегу, Провансу и Лангедоку, где я никогда не бывал до тех пор и куда он, Двигубский, вообще, как вдруг выяснилось, больше всего любивший юг и солнце, стремился, по его словам, непрерывно, с тех самых пор, как впервые побывал в Каннах и Ницце. Я начал тогда, в 2001 году, впервые в жизни получать приличное жалование и потому мог позволить себе, наконец, это давно задуманное мною путешествие – которого он, Двигубский, позволить себе, в общем, не мог; дорожные расходы я взял почти полностью на себя. Недели за две до моего и за неделю до их отъезда вдруг выяснилось, что все всё перепутали, то ли Света все перепутала (что вообще-то было на нее не похоже), то ли Двигубский все перепутал, то ли я их понял неправильно, и что дом, куда мы должны были ехать, вовсе никакой не дом, но – квартира, и находится она не возле Лукки, но гораздо южнее, за Ливорно, чуть-чуть не доезжая до Гроссетто, в местности, называемой Маремма (название, сказал мне Двигубский, как будто из какого-то сна...), в местечке с не менее пленительным названием Кастильоне делла Пескайя, до которого я добирался, я помню, почти двое суток, заночевав в Вероне с ее знаменитым амфитеатром и пресловутым балконом Джульетты, добычей туристских толп, заседающих друг на друга в неизменном своем обалдении.

57.

Оля в 2001 году была в примерно джульеттином возрасте; она красила губы, как трехрублевая девка с Казанского вокзала (шепнул мне обожавший ее П.Д.); ногти красила так же; родителей ни слушать, ни слушаться не желала; и все время что-то делала со своим мобильным телефоном, единственным ее другом, верным спасением от окружающей скуки; бесконечно переписывалась, а если не переписывалась, то хоть

перечитывала сегодняшние и вчерашние письма, рассматривала присланные ей картинки, какие-то «смайлики», и затем опять начинала бешено переписываться, быстро-быстро щелкая ярко накрашенными ногтями по телефонным крошечным клавишам, с лицейскими своими подружками и, наверное, мальчиками, оставшимися в Париже или уехавшими на каникулы в другое, конечно – лучшее, более интересное и уж точно более шикарное место. Светины кошачьи глаза в сочетании с непонятно от кого унаследованными тяжелыми веками, двигубским крутым лбом, маленьким скошенным подбородком и подростковой еще неуклюжестью, как бы недоработанностью всего облика делали ее мучительно некрасивой, соответственно и несчастной; с тех пор она изменилась, кажется, к лучшему. Родителей откровенно она презирала за эмигрантскую скромность их жизни, изредка секретничала с матерью, раздражалась на отца-неудачника и бессознательно заигрывала со мною, не потому что я, старый и толстый, тоже эмигрант, хотя и обладатель подержанного «Мерседеса», как раз тогда купленного, мог быть сколько-нибудь для нее интересен, а просто потому что ей пришлось время строить кому-нибудь глазки, а никого больше не было рядом. На пляже она сразу склонялась над своим телефончиком, сердито отмахиваясь от предложений хотя бы переодеться, затем, со вздохом отложив его, облачившись в наглый бикини, преувеличивавший зачаточный ее бюст, утыкалась глазами в очередной том «Гарри Поттера» во французском переводе, со страдальческим видом позволяла матери намазать ее кремом от солнца – и опять утыкалась в своего «Гарри Поттера», в телефон, в «Гарри Поттера», не слушая и не слыша, конечно, ни шум прибоя, набегавшего на песок, ни вечные крики чаек, ни те волшебные голоса, которые, сквозь солнечную пляжную дрему, такими кажутся вдруг далекими, нездешними, тоже, по-своему, вечными, откуда-то, Бог знает откуда, доносящимися до нас, всплывающими в здешнюю жизнь. Я поворачивался на спину и приподнимался на локте. Слева был мыс, далеко уходящий в море, слева же был и порт, до которого мы иногда доходили с Двигубским по пляжу, оставляя Свету и Оля загорать и шептаться друг с дружкой; возвращаясь к ним, всякий раз видели очертания кастильонского замка, нависавшие над берегом, еще дальше убегающие холмы, и дымчатые очертанья то ли еще какого-то мыса, то ли острова, Двигубский утверждал, что – Эльбы, в морской и мерцающей, уже совсем далекой дали. Я думал, конечно, о той, на этих страницах так и оставшейся безымянной, деревушке в Латвии, где прошли когда-то лучшие мои годы, о том, какие это были годы, какие блаженные и счастливые годы – молодости, писательства и удачи; и как с тех пор все затмилось, потускнело, померкло. Что было не совсем

правдой, пожалуй. Как раз в 2001 году сумерки начали, наконец и как уже сказано, редеть в моей жизни, туман рассеиваться, хоть я этого еще и не сознавал, может быть; и вовсе не потому рассеиваться, еще раз, что внешние обстоятельства изменилось и жизнь обрела вдруг некую, пусть временную, устойчивость, но потому и только потому, разумеется, что какие-то наметились, наконец, после семилетнего моего, с 1994 года, молчания, литературные, писательские возможности; стихи, иными словами, в которые я еще не совсем готов был поверить, не считал еще, в самом деле, своими и никому поэтому не показывал, не показал и Двигубскому, все-таки уже звучали и складывались, пробиваясь сквозь немоту; на пляже сидючи, редкие робкие строчки уже я, поймав их, записывал. Двигубский, сидя, лежа ли рядом со мною на деревянном раскладном лежаке, за небольшую плату сдаваемом напрокат наглоглазым и вертлявым пляжным прислужником, читал, в свою очередь делая какие-то записи, какие-то выписки, сначала Светония, затем Саллюстия, затем, уже во время нашего дальнейшего путешествия, Тацита, римских, короче, историков, которых, по его словам, любил с детства, много лет не перечитывал и вот, собрался, наконец, перечесть; здесь, на юге, сказал он, в двухстах километрах от Рима, это как бы даже напрашивается. Знаете ли вы, что местность, где мы с вами находимся, эта восхитительная Маремма, упоминаемая, кстати, в, по-моему, довольно скучном романе Жюльена Гракха, который вы, Макушинский, советовали мне некогда прочитать, что эта местность, в античности называвшаяся *Maritima Regio*, считалась гиблой, губительной, малярийной, считалась, впрочем, таковой и в Средние века, и даже в Новое время, чуть ли не до самого последнего времени, во всяком случае до тридцатых годов двадцатого века, когда, между прочим – при Муссолини, закончено было строительство каналов и осушение болот, начатое еще в 18 веке? Узнать это было нетрудно; в пляжном киоске купил я подробный немецкий путеводитель по округе, до сих пор у меня сохранившийся. Среди прочего приводилось в нем этрусское название Кастильоне – Салебро, рассказывалась история замка, который видели мы вновь и вновь и к которому поднялись, кажется, только однажды вечером, с недовольной Олей и молчаливой Светланой, замка, который герцог Козимо Первый ди Медичи (не путайте его, мой драгоценнейший, сказал Двигубский, впадая в чудный тон своей юности, со «старым» Козимо, основателем славного рода) подарил, как выяснилось, жене своей Элеоноре Толедской, а заодно цитировалось и единственное упоминание Мареммы у Данте, именно в 5 песне «Чистилища», где некая Пия деи Толемеи, родом из Сьены, сообщает, что, как сказано в переводе Лозинского, с которым я, вот сейчас, сверяю цитату, она «в Сьене

жизнь, в Маремме смерть нашла». *Siena mi fé; disfecemi Maremma...* А как вам нравится вот это описание Катилины, говорил Двигубский переворачиваясь на другой бок и раскрывая заложенное им место в двуязычном латинско-французском издании Саллюстия, которое у него было с собою. Эта цитата несколько раз, причем по-латыни, повторяется в его записях и тетрадях, присланных мне, как сказано, в 2004 году, причем повторяется в связи с персонажем его так и ненаписанной повести, называемым, как правило, *товарищ Сергей*; вот она: *Animus impurus, diis hominibusque infestus, neque vigiliis neque quietibus sedari poterat: ita conscientia mentem excitam vastabat. Igitur colos ei exsanguis, foedi oculi, citus modo, modo tardus incessus; prorsus in facie voltuque vecordia inerat.* Я нашел ее русский перевод, разумеется и опять-таки; вот он: «Грязная душа, враждовавшая и с богами, и с людьми, не могла обрести равновесия ни в трудах, ни в досугах: так взбудоражила и так терзала ее больная совесть. Отсюда мертвенный цвет кожи, застылый взгляд, поступь то быстрая, то медленная; в лице его и во всей внешности сквозило безумие». Кстати, не нахожу ли я, что в интонации Эрнста Юнгера в его, им, Двигубским, по моему совету, за который он бесконечно благодарен мне, несколько раз прочтенной и перечитанной повести «На мраморных утесах», не нахожу ли я, что в интонации этой повести есть что-то от интонации античных историков, Саллюстия в частности? Что и неудивительно, если вдуматься. В конце концов, и там, и там рассказывается история некоего упадка, некоего заката, у Юнгера в мире вымышленном, у Саллюстия в Риме, как он его понимает, и там, и там описываются силы и страсти, разрушающие когда-то существовавший порядок вещей... «Началось все с малого, иногда встречало отпор, но затем зараза расползлась, точно чума, народ переменялся в целом, и римская власть из самой справедливой и самой лучшей превратилась в жестокую и нестерпимую». Я напомнил ему статью Блока о Катилине; редкостная чепуха, сказал он с несвойственной ему решительностью оценок. К Блоку он всегда, впрочем, относился скептически. Это статья ни о каком не Катилине, конечно, сказал он, я помню, просто автору очень хочется верить, что революционными матросами, убийцами и грабителями, предводительствует сам Христос, оттого и Катилина оказывается, что уж совсем глупо, предшественником и предвестием Иисуса. Что до него, Двигубского, то никто ему так не отвратителен, как любители хаоса, призыватели великого ветра, обличители старого, будто бы прогнившего и обывательского порядка. Мы слишком хорошо знаем, что приходит такому порядку на смену, какой беспорядок, какой – новый порядок... *Ancien Régime* при всех его очевидных грехах и пороках всегда все-таки лучше революционного

нового мира. А как все ликуют, как радуются великой и бескровной, как целуются на улицах, обнимаются на площадях. Кровь и слезы приходят, как известно, потом. Ну да, все это слишком понятно... Поэтому защитники бывшего порядка, каким бы он ни был, милее ему всех прочих участников исторической драмы, даже если дело их безнадежно, обречено и по определению проиграно... Как поживает его повесть? Плохо. Очень плохо, сказал он. Но все-таки он надеется, как ни странно; надеется, отчаивается, надеется вновь и вновь. Если я хочу, он просто почитает мне что-нибудь; я хотел. Мы остались однажды утром вдвоем в той, признаться – не запомнившейся мне квартире, которую снимали у Светиных сослуживцев; на столе, вот это я почему-то запомнил, еще стоял не убранный после завтрака, типично итальянский кофейник (с тонкой талией, из двух половинок), пара чашек и плетеная корзинка с сухими булками (ни в какое сравнение не идущими, конечно, с восхитительным французским багетом). Дверь на балкон была открыта; видны были шапки пиний за дверью; мягкие очертанья какой-то соседней горы. Дело не в том, что мы можем быть счастливыми, думал я, дело в том, что мы должны, мы должны, это лучшее, на что мы способны. Двигубский принес откуда-то и, как мне показалось, не положил, а прямо-таки вывалил на стол целую стопку рукописей и тетрадей, которые все возил, значит, с собою, потом начал долго в них рыться, что-то выискивать, теребить их своими длинными пальцами. Пахло эвкалиптом и хвоей. Тень Олиной маленькой майки, повешенной Светой на балконе сушиться, колебалась и вытягивалась, стремясь сорваться, мечтая взлететь, на красном, в продолговатых плитках, полыхающем балконном полу.

58.

Это чтение было мучительным. Чем дальше он читал, тем больше злился – и на себя, и на то, что читал. Ему явно не нравилось то, что читал он, ему было стыдно за свой же собственный текст... Ужасно, да? спрашивал он пару раз. Я (искренне) уверял, что нет, не ужасно. Что, наоборот, очень интересно, читайте дальше. Того, что он прочитал мне в тот день, я не нахожу теперь в его записях – вернее, нахожу в них так много вариантов прочитанного тогда, что уже не в состоянии определить, какой именно он читал. Он прочитал мне два отрывка, это я помню точно; соотнося их с той схемой действия, которую могу теперь восстановить по его бумагам и записям, вижу, что речь идет все еще о самом начале повести, событиях первого дня. А действие и занимает, собственно, лишь несколько дней, все прочее воскресает в воспоминаньях... Слово *раскоряки* рассмешило меня, это я тоже помню, Люксембургский сад и мюнхенский

Хофгартен заслонили, на мгновение, пинии и гору в окне. Двигубский же поместил их, в своей повести, в том городском саду, куда герой, Григорий, заходит, в большинстве вариантов, теперь лежащих передо мною, сразу после посещения вокзала, как бы продолжая первый, в известном смысле – предварительный, обход этого маленького города, города в долине, по-прежнему и навсегда безымянного, города, который, когда я читаю теперь все это, кажется мне странно безлюдным, как если бы автор не сумел населить его людьми, не видел его жителей, или жителей в нем, но видел только пустые, как на архитектурных гравюрах, застывшие, замершие, словно в ожидании чего-то, улицы, площади, Соборную с ее булыжной гладью и бугром посредине, затем Вокзальную площадь, Елизаветинскую и те, всегда, впрочем тихие, всегдашнюю, неизменно тишиною, тенистые, к реке спускавшиеся улицы, которые, пишет Двигубский в самом подробном варианте своей повести, все назывались Садовыми и почти терялись, в самом деле, в сплошных, как будто переливавшихся через край, через ограды и заборы садах, с едва заметными, под ветвями яблонь, калитками; одна из этих калиток, заскрипев, приоткрылась; захлопнулась. Но был и городской сад, конечно; беседки, скамейки; дощатая сцена и деревянная раковина (в которой пожарный оркестр играл когда-то свои медные марши). И на площадке перед сценою те же, или такие же, смешившие его в детстве, низенькие, зеленые, с отстающими задними ножками, стулья (раскоряки: по выражению Всеволода). Он сел на один из них; внезапное, вообще не свойственное ему, отчаяние охватило его. *Da bist du nun, Gräfflein...* Вот так вот сюда возвратиться... Вот и сиди здесь... А между тем, сидеть ему здесь, конечно, не следовало; но надо было разыскать поскорее Степанова (капитана Степанова, которому отдал он свою лошадь), и переговорить с полковником, и ехать, раз уж он собрался поехать туда, поскорее, чтобы до темноты возвратиться, в имение. Все-таки он сидел, довольно долго, на раскоряке, понимая, что представляет собою отличную мишень для какого-нибудь местного большевика, таящегося среди деревьев за сценой, или в кустах у него за спиною, но все же не в силах встать, оторваться от этой сцены и раковины, удивляясь своему, вот такому, сюда возвращению, удивляясь своему же отчаянию, и вместе с тем как будто ожидая чего-то, словно кто-нибудь мог, или должен был, выйти на эту сцену, что-то, какое-то действие, на этой сцене, начаться... Засим следует поездка в имение. Двигубский, я помню, за тем столом с остатками завтрака в Кастильоне, перебирая свои бумажки длинными пальцами, с мукою глядя на меня, на них и опять на меня, сообщил мне, что это место чуть ли не самое для него трудное, что он вязнет в нем и проваливается, проваливается и вязнет, сказал он, в этом болоте

литературности. Сколько было уже в русской литературе этих имений... Герой, как выяснилось, должен был поехать туда не один. Упомянутый только что капитан Степанов, единственный, как в одной из рукописей сказано, с кем сошелся он за все время боев и походов, Степанов, которого обнаружил он, встав, наконец, с раскоряки, после недолгих поисков, недалеко от Соборной, у каких-то, пишет Двигубский, освобожденных обывателей, где тот стоял в огороде, до пояса голый, и по пояс же наклонившись, поливаемый из лейки губастым, корявым, ухмыляющимся денщиком, отдуваясь, конечно, и фыркая, являя миру, Грише, красную, как будто вся кровь его слилась в нее, шею, крепкие плечи, Степанов, разогнувшись, явив Грише и миру офицерские усы, простые, серые, смеющиеся после поливки глаза, заявил, что не отпустит его одного. Нет, нет, даже не думайте. Солнце палило здесь сильно, еще почти, пожалуй, по-летнему; резко-сладким, счастливым чем-то пахли, палимые солнцем, петрушко-луковые, укропно-сельдерейные грядки... Я спросил, я помню, у смущенного автора, что побудило его выбрать такую простую фамилию. А это простой человек, сказал он, Максим Максимович, если угодно. Тоже, конечно, добавил он со стыдом и злобой, ли-те-ра-тура. Я прекрасно понимал его сложности; мне самому было чуть-чуть стыдно за него, когда он читал мне про этого капитана Степанова, простого русского офицера, сероглазого и усатого, про этого денщика-губошлепа. Ужасно, да? Да? Ужасно? Я по-прежнему уверял, конечно, что нет. Да нет, ужасно, говорил он, перебирая свои тетрадки и рукописи. Перенести действие в воображаемый мир? Из-за него выглядывают все те же усы, все те же глаза... Мы оба рассмеялись, конечно; смех его на сей раз длился недолго. И он это все уже столько раз пробовал, так много думал об этом. Все то же самое, все то же самое... Помните сорвавшуюся резьбу, в «Войне и мире», у Пьера Безухова? Когда Пьер после дуэли с Долоховым и разрыва с Элен, сидит в Торжке на почтовой станции, и ничего не может понять, не знает, для чего жить и что есть жизнь, что смерть, как будто... (я, по всегдашней своей привычке, нашел, вот только что, это место; поэтому цитирую буквально) «как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, всё на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его». Винт не входит и не выходит, сказал Двигубский, глядя на шапки пиний, и вытащить его не могу, и ввернуть не могу. Давно уже надо было все это бросить. Я брошу, вдруг сказал он, я помню. Если уж не сумел написать, то сумею хоть бросить, отказаться, признать свое поражение. А знаете ли вы, что это в каком-то смысле гораздо труднее, чем продолжать писать и отчаиваться, отчаиваться и

все же упорствовать?

59.

Из бумаг его и тетрадей хорошо видно, как боролся он с этим описанием разграбленного имения, никак ему не дававшимся. Тетради его, мне присланные, состоят, как уже сказано, в большой степени из выписок и цитат; в частности и с трогательной, в общем, старательностью переписывал он (своим иногда очень мелким, но всегда с глубокими «д» и «у» почерком) похожие, или хоть отчасти похожие, эпизоды в бесчисленных воспоминаниях о гражданской войне, прочитанных им (проштудированных, как выражался он) в разные годы, с отчаянием и надеждой. Так, Сергей Мамонтов в замечательной своей книжке описывает два таких посещения – двух, соответственно, разграбленных и разоренных имений. Первое начинается с крестьянского, «довольно опрятного» дома в селе Должик, к северу от Харькова, где, как пишет Мамонтов, «взор» его «упал на французскую книгу в старинном кожаном переплете. Это значило, что где-то поблизости было имение. Хозяйка следила за мной, когда я взял книгу. На мой вопрос, есть ли тут имение, она, хоть поняла, но отговорила не знанием». Разумеется, имение было рядом. И, разумеется, было оно «основательно разграблено, с той бессмысленной злобой, которая овладевает грабителями. Все, что не могли унести, разбито, разломано. Раз я не могу воспользоваться, пусть никому не достанется. Первое, что мне бросилось в глаза», пишет Мамонтов и переписывает Двигубский, «был рояль, разрубленный топором. Паркет с узорами из черного дерева был взломан и тут же брошен – искали клада. Двери, слишком большие для крестьянской хаты, разрублены, окна частью унесены, частью изломаны. Мелкая мебель исчезла. Крупная мебель – шкафы и буфеты – порублены. Картины изрезаны. У портретов, а среди них были ценные, всегда проткнуты глаза и вспорот живот. Фарфор разбит... Это был не только грабеж, но зверское уничтожение. Дом был громадный, скорее дворец, старинный. Есть законы грабежа. Я видел с полсотни имений, и все разграблены по той же системе. Наверху, очевидно в спальне, всегда валялись письма и фотографии. Комод унесли, а письма вывалили. Я взял одно из писем и, читая, по фотографиям старался восстановить прошлое. В этом письме какая-то девушка описывала подруге или сестре праздник. Рожденье или именины. Я читал, „что между дубами была натянута проволока и на ней висели разноцветные фонари“... Верно, вон эти дубы... „За прудом пускали фейерверк...“ Вон и пруд... „Я танцевала с Андреем и Василием...“ Кто из этих

блестящих молодых офицеров на фотографиях был Андреем, а кто Василием? Вот, вероятно, сам князь, а это княгиня». Затем описываются старинные гобелены, не тронутые грабителями. «Материя-то тухлявая, ничего путного не сошьешь». «Где-то наверху была библиотека. Груды книг были сброшены и лежали на полу. По ним ходили. Книги в старинных кожаных переплетах никого не интересовали. Шкафы же красного дерева изрубили на дрова и увезли». «С тяжелым чувством я пошел домой, то есть в хату крестьянина, который, конечно, участвовал в разгроме. ... Хозяйка внимательно следила за выражением моего лица и очень хорошо нас накормила. Мои товарищи даже удивились. Я объяснил, что это, чтобы откупиться за грабеж. Никакой любви к русскому народу я не чувствовал. Так была бессмысленно уничтожена высокая культура и цивилизация. А из гобеленов, вероятно, нарезали портянки». А вот и второе имение, оказавшееся имением родственников автора. «Я пошел по парку», пишет Мамонтов. «Он не успел еще зарастить. Пруды, еще видны дорожки. Вот и дом, в сравнительно хорошем состоянии. Конечно разграблен, но остались двери и окна и даже кое-где стекла. Я вошел на второй этаж, там всегда бывали груды писем и фотографий. Наклонился, чтобы взять одну из них, и ахнул, потому что на меня смотрело лицо тетки. Встречал ее часто у тети Маши Якунчиковой. Так это было далеко и неожиданно, что не сразу вспомнил ее имя. Стал рыться в фотографиях и нашел еще знакомые лица. Рачинские, Рачинские?... Ведь у нас были родственники Рачинские. В это время пулеметчик Костя Унгерн протянул мне письмо. „Смотрите, письмо Мамонтовой“. Я был взволнован». (Они, конечно же, обращались друг к другу на вы, эти белые офицеры! восклицает, в скобках, переписывающий Двигубский. Какое все-таки счастье... Какой вздох свободы после советского тыканья...). Взволнованный повествователь разыскал в деревне управляющего, который сначала долго не верил, что тот, действительно, Мамонтов, заставил его «перечислить свою родословную», наконец – поверил, поверив, повел обратно в усадьбу и показал тайник, две комнаты в конце коридора, куда он, управляющий, потихоньку снес спасенные им ценные вещи. «Я себя чувствовал, как в прошлом столетии», пишет мемуарист, «среди этих чудом сохранившихся предметов. „Вы там в Москве расскажите, что я спас, что мог.“ - „До Москвы надо еще дойти и остаться в живых.“ - „Ну, Бог вам поможет... Что вы мне посоветуете делать с этими вещами?“». Ответ Мамонтова замечателен. Вам не удастся сохранить эти вещи, говорит он. Белые, как и красные, грабят и реквизируют. «Подождите два-три дня, пока пройдут войска. Уложите все в ящики, отвезите в большой город, продайте и на вырученные деньги купите доллары или английские

фунты». Мир все-таки не очень изменился с тех пор, заметим мы от себя... Но замечательна и реакция управляющего. «Он был возмущен моим советом. Он управлял этим имением тридцать лет, а до него его отец, а до отца его дед. Он не мог поверить, что имения кончились и больше не возродятся. ... Он очень расстроился и холодно с мной простился». «Думаю, что управляющий едва ли последовал моему совету», заканчивает свой рассказ Мамонтов. «Со своей точки зрения он был прав. Есть вещи, которые нельзя продать, не надломив сердца, может быть даже лучше, чтобы они погибли. Так много потеряно, немного больше или меньше – все равно».

60.

В сущности, замечает Двигубский в одной из своих тетрадей, можно было бы цитатами и обойтись. Это все, в конце концов, одна большая цитата... Именно поэтому, конечно же, цитировать ему было проще, чем писать своими словами, новыми словами, не дающимися словами. Своих слов нет для этого, вот в чем все дело. Своими словами я мог бы описать свою жизнь, в своем времени, свою беду или свою мечту... Он писал, тем не менее, вновь и вновь переписывал он эту сцену, так тщательно и подробно, как, может быть, никакую другую, утопая в вариантах, погибая на ложных путях. А все ведь, казалось бы, ясно, замечает (воскликает!) он в той же тетради (третьей по счету; всего их шесть; я скажу о них чуть позже...), все, казалось бы, ясно, пиши не хочу. Об этом же он говорил мне и в Кастильоне, я помню. Он видит все так отчетливо, говорил он, странное дело, все видит насквозь, всю поездку, всю сцену. Казалось бы, надо только записать увиденное. Но именно это-то и не получается у него. Ну да, они едут, Степанов, Григорий. Они выезжают из города. Они снова видят, с какого-то пригорка, тот дальний лес, который он видел утром, тот самый, за всеми другими холмами, перелесками, складками и неровностями ландшафта, дальний и совсем дальний лес, который так манил и влек его в детстве, за которым, как в детстве ему казалось, должно было начинаться что-то совсем иное, никому не ведомое, ни на что не похожее... Что усадьба еще два года назад была, по примеру прочих (стольких, в последние месяцы виденных им...), разграблена, он, разумеется, знал (цитирую теперь уже, конечно, по рукописи); что за прошедшее с тех пор время ее *дограбляли* и, наверное, дограбили до окончательной пустоты, наготы, голых стен, предполагал он; была она, или нет, сожжена – вот вопрос, который обсуждал он сам с собой (не со Степановым, человеком, вообще, молчаливым) по огибавшей выступ леса дороге. Она не была сожжена; он увидел ее, зеленую крышу дома, с того холма и места, за тем изгибом

обогнувшей выступ дороги, с которого, за которым всегда они открывались. Здесь появляется, почти во всех рукописях, мотив приближения. Уже видна была крыша, ярко-зеленая среди желтой зелени парка, но – медленно, медленно, долго они к ней ехали, к ней и к дому, бесконечно долго к ним приближаясь. И потому что мы всегда приближаемся; всегда и всю жизнь приближаемся мы к чему-то... Но еще долго, долго, среди сожженных солнцем полей, вилась, петляла дорога; петляла, пылила; и деревья, в свою очередь, приближались и приближались; приближаясь, приблизились; наконец, приблизившись, расступились. И теперь уже виден был – дом; еще не весь, но был виден; белые колонны, синие окна. Они проехали между невысокими, теми же, нет, не белыми, серыми, не колоннами – столбиками, с серою и каменною вазой на каждом; и дальше, ближе, под кровом крон, по нерасчищенной, ведущей к дому аллее, шурша листьями, медленно приближаясь. И потому что мы всегда приближаемся... И объехав вокруг засыхающей, затоптанной клумбы, у перрона остановились и спешили. Никто не вышел, не выбежал на перрон; никого, наверное и не было в доме. Львы, пишет Двигубский. Львы, те же самые, всегда, сколько он себя помнил, лежавшие у входа, справа и слева, с тупыми, блестящими от многих касаний носами. Не львы, а лёвы, как в детстве он называл их. Левый лёва, любимый. Ничем, конечно, не отличавшийся от правого. Любимые лёвы, которых достаточно, кажется, погладить по носу, чтобы мир снова стал обитаемым, чтобы судьба смиростивилась, чтобы жизнь помирилась с судьбою. «Но все-таки осторожно», говорил Степанов, заглядывая в окна, с револьвером в руке. А Григорий знал, что в доме никого нет. Дверь была приоткрыта, он распахнул ее. И – что же? И дальше они обходят дом, пишет Двигубский; следует описание комнат, такой и другой гостиной, голубой какой-нибудь и зеленой, столовой, бильярдной, библиотеки, курительной, проклять литературы. Те же, на лестнице, на площадке между первым и вторым этажом, всегда бывшие бюсты: Юпитер, Юнона; пощаженные, надо думать, за очевидной их ненужностью в новой жизни. Только их и пощадили; все остальное разграблено. Что не разграблено, то растерзано. Обои висели клочьями; стулья исчезли все; буфет и стол, слишком громоздкие, что ли, чтобы сразу их вынести – и как если бы грабившие грабили *с оглядкой*, торопились, боялись – были, *на худой конец* и с каким, должно быть, остервенением, порушены, порублены топорами; осколки, с узнаваемым узором, тарелок валялись, вперемешку с хрустальными брызгами упавшей, нет, конечно же, нарочно сорванной люстры, на мраморном, в белых и красных ромбах, былым, невозмутимым блеском блестящем, как ни странно, полу. Она уже падала, эта люстра; он помнил, как она вдруг упала: без

всякого повода, на уже накрытый к обеду стол, не, как впоследствии охотно рассказывалось, *за секунду*, но и в самом деле незадолго до того, как *все* должны были за стол этот сесть; ему, Грише, было тогда лет семь. Он поднял с полу продолговатую градину, засверкавшую у него в руке; он подумал, что еще никогда в жизни не испытывал такого... «Черти! Даже грабить не умеют, как следует...» Капитан Степанов смотрел на него с тем чуть-чуть как бы удивленным выражением лица, с каким нередко смотрел на него, какое он, Григорий, в свою очередь удивляясь, вообще нередко замечал в людях, на него смотревших, с ним говоривших, и к которому, у Степанова, примешивалось, почти всегда, выражение *осторожной заботы*, Гришу отчасти забавлявшее, иногда сердившее, в конце концов сделавшееся привычным ему; с этим удивленным и осторожно заботливым выражением, которое, в данном случае, включало в себя и что-то вроде *уважения* к тому, что, по мнению Степанова, как раз и выражавшемуся на лице его, Григорий должен был сейчас чувствовать, вот так вот, в свой *родной дом*, возвращаясь...; Григорий же как раз и не знал, что именно чувствует он. А между тем, он привык отдавать себе отчет в своих чувствах; *называть* свои чувства. Он сказал себе, что это не печаль, не отчаяние... Страшны были портреты в гостиной; портрет его прадеда: с неизбежным, конечно, окурком в глазу – отсутствие выдумки у вандалов! – и дыркою на груди, вместо ордена; по-прежнему строгий и какой-то темный портрет старшей дочери этого прадеда, сестры его деда: с вырезанными ушами и разорванным ртом; прелестный детский портрет его бабушки, в смешных бахромчатых панталонах, опирающейся рукою на овальный, очень простой, в ее, бабушкиной спальне стоявший впоследствии столик, с очертаниями парка и небесной далью на заднем плане, в полуотворенном окне (того же парка, на который и он смотрел теперь, поворачиваясь к окну): изрезанный вкривь и вкось, как попало, с бессмысленной яростью, но еще сохранявший, в лохмотьях, и эту даль, и детскую руку на столике, и ту совершенно восхитительную, в уголках губ, улыбку, которую он, Григорий, так хорошо помнил на совсем другом, уже старом бабушкином лице, в его, Григория, собственном детстве; парный к этому, всегда и по-прежнему висевший рядом с ним портрет бабушкина брата, опирающегося рукою на тот же столик, с тем же окном и тем же парком в окне: опаленный с краю, но тоже еще живой, еще дышащий. Решение принято было вдруг; вполне неожиданно для него самого; с вполне неожиданной для него самого невозможностью решенья этого не принять; принять какое-нибудь, к примеру, другое... Он ничего не сказал Степанову, перебиравшему, в библиотеке, рассыпчатою горою сваленные на пол книги; Степанов, конечно, стал бы

его отговаривать. В разбитом окне библиотеки, выходящем в парк, было солнце; быстрый ветер, перебежавший через лужайку; в павильоне за нею блеск как будто сохранившихся стекол; поваленные статуи; перспектива аллеи.

61.

Как вы уже поняли, он решает остаться в городе, сказал мне Двигубский, глядя, в свою очередь, в окно, на шапки пиний и очертания соседней горы. Вы отдали ему те портреты, которые висели когда-то у вас в столовой, на Академической, сказал я. Они до сих пор висят там, сказал он. Я отдал ему вообще многое... Еще больше отдал я Всеволоду, его старшему брату... Они идут, конечно, наверх, Григорий, Степанов, в тех набросках и рукописях, которые я пытаюсь теперь разобрать, наверх, по не утратившей свою парадность лестнице, мимо не тронутых вандалами статуй (Юпитер, Юнона). В его собственной комнате, где всегда был – не *идеальный*, но *идеалистический* (шутка Всеволода), причем как бы сам собою складывавшийся порядок, вызывавший одновременно улыбку и зависть у беспорядочных прочих, у того же Всеволода, у хаотической Лизы..., было все перевернуто; из комода, из шкафа, из всех ящичков письменного стола – все вывалено, все брошено, одежда, книги, бумаги. Те книги, которые он чаще всего читал и потому держал у себя; полуразорванный первый том Шопенгауеровых «Парерг», привезенных им в свое время из Фрейбурга, лежал чуть поодаль от всей прочей кучи, раскрытый на столь занимавшей его когда-то (потому и раскрывшийся на ней, разумеется, что он так часто раскрывал его здесь) статье *о видимой целесообразности в судьбе отдельного человека...* Вон там, вон там, в аллее, вон у того дуба, Всеволод, когда это было? сказал ему, что если и верит во что-нибудь, то, наверное, лишь в эту *anscheinende Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen*, в эту тайную, ему самому лишь отчасти (и по частям) открывающуюся, смутно угадываемую, в конечном счете непостижимую, но отчетливо сознаваемую им *соразмерность*, в этот *замысел жизни*, прорывающий за внешней ее оболочкой и как бы оправдывающий ее... Искали денег, конечно; искали повсюду, у Всеволода, у отца в кабинете; искали и на самом верху, куда вела уже отнюдь не парадная лестница и где, в конце коридора, было то окно, у которого, и тот, казавшийся в детстве таким широким, теперь не показавшийся таковым подоконник, на котором он любил когда-то сидеть, уже в сумерках, например, собиравшихся и густевших вокруг, быстрыми отблесками пробегающих по коридору: и потому, конечно, любил сидеть здесь, что отсюда, и только отсюда, виден был, и по-прежнему виден был, тонкой, синей, облачной и

смутной чертою, поверх деревьев парка, тот дальний, дальний, самый далекий лес, дремучий лес, как все всегда говорили, до которого не так уж много раз и доезжал он, пожалуй (в другой рукописи сказано, что доехал только однажды...), который, всякий раз, когда он ехал к нему, например, в коляске с родителями или, после детства, верхом, оказывался еще более дальним, чем казался отсюда, и за которым, как в детстве представлялось ему, начиналось уже что-то совершенно иное, ни с чем из здешнего вообще не сравнимое...; сидя на этом подоконнике, в сумерках, почти в дрему впадал он – и вдруг стряхивая ее с себя, сбегал вниз, в парк, где тоже, конечно, и особенно в дальней части его, уже спускавшейся понемногу к реке, было, тем более в сумерках, что-то дремучее, дремное, темное, как будто приближавшее его к тому, дальнему, лесу. И потому что мы всегда, всегда, разумеется... До сумерек было еще далеко; был один из тех, насквозь прозрачных, но с тонкою поволокою дней, какие только осенью, наверное, и бывают; статуи, вокруг павильона, были все повалены, в самом деле; в густой траве (такой густой и высокой, какой он в этом месте никогда не видел ее) лежала, почти скрытая этой травой, лицом вверх, удивленная Мнемозина. Мнемозиною, впрочем, называла эту статую его – *grande-mère*, и только она, и никто не знал почему; никаких особенных, отличающих их друг от друга признаков не было у этих четырех, почти одинаковых, лишь по-разному повернутых неизвестным скульптором женских фигур; *grande-mère*, тем не менее, со свойственной ей решительностью, утверждала, что *она знает* и что эта статуя – Мнемозина, вон та – Муза (какая именно? неважно какая, вообще Муза и все тут, *je n'aime pas les pédants*), а вон та, третья, с обломанной в локте рукою, поваленная теперь набок, обломком кверху, та третья – Ночь. «А четвертая?» спросил Степанов. «Четвертая не называлась никак», сказал Гриша, склоняясь над этой четвертой, неназванной, и самой, конечно, любимой, лежавшей ничком, исчезавшей в траве. Муравей полз по травинке; он скинул его быстрым щелчком на мраморное, уже давно, конечно, не белое, в пятнах мха, плечо статуи; другой травинкой преградил ему путь; преградил еще раз; пересадил опять на травинку; смахнул снова на мрамор. Есть провалы во времени; лакуны времени; мгновения, уводящие как бы в сторону от его, времени, естественного течения; недолго длящиеся, но *внутри, в себе* долгие, даже очень долгие иногда... И конечно, он, Гриша, пересаживая на травинку и смахивая с нее этого рыжего, с широким, отстающим задком муравья, *муравьишку*, был не тем Григорием, каким был он вот только что, но пятилетним каким-нибудь Гришею, и все, что было с тех пор, и, тем более, все, что было недавно, и война, и все пережитые ужасы, ничего этого, на мгновение, не было

больше, никогда не было, как не бывало. Но не то удивительно, думал он, спохватившись, вставая с корточек, не то удивительно, что он *проваливается*; удивительно, что это так волнует его; таким горестным и блаженным волнением, какого он сам не ожидал от себя. Он часто проваливался; всегда, в общем, чувствовал прошлое – не придавая, однако, ни этим провалам, ни этому прошлому никакого особенного значения. Оно просто было в нем, здесь, где-то рядом; он скорее *помнил*, чем *вспоминал*; вспоминать ему не было свойственно – в отличие, к примеру, от Всеволода, плохо помнившего, или считавшего, что он плохо помнит, и потому вспоминаящего, боявшегося забыть, упустить, склоненного над уходящим, навсегда исчезающим... И об этом они тоже говорили когда-то, давным-давно, в Гейдельберге... Решение – остаться, было – в нем, жило – в нем, уже как будто само по себе, уже почти независимо от него, от его воли, от его еще других каких-нибудь, тоже ведь возможных решений.

62.

Вечером того же, кажется, дня, когда мы вышли все вчетвером на море, и Оля со Светой, под ручку и в одинаковых бледно-линялых джинсах, удалились в быстро густевших сумерках в сторону мола, оставив нас плестись позади, Двигубский, передернув плечами, глядя на далекие очертания то ли острова, то ли мыса, на зеленеющие вечерние волны, вдруг сообщил мне, что – при всей литературности персонажа – у этого капитана Степанова есть, пожалуй, прообраз, да, пожалуй, случайный один офицер, с которым он ехал как-то в одном купе – кто из нас не ездил в купе с офицером? – и который почему-то на всю жизнь ему запомнился. Во всяком случае, он думал о нем, когда писал вот эти ужасные, мне сегодня прочитанные куски. Ему самому, Двигубскому, было тогда восемнадцать лет, он поехал, после первого курса, впервые в жизни один, без мамы и папы, в глухую, они там все глухие, деревню под Пензой, с романтической целью увидеть, наконец, *excusez-moi, mon cher*, народ, деревню, Россию (*la campagne, la Russie...*). Почему-то, говорил Двигубский, глядя по-прежнему на зеленые, бирюзовые волны, почему-то мы остались с этим артиллерийским? да, артиллерийским, кажется, капитаном вдвоем, в четырехместном купе, не знаю уж почему, никто не ехал, что ли, в благословенную Пензу? и когда остались вдвоем, я заметил, говорил Двигубский, что он как-то уж очень пристально смотрит на меня своими русско-серыми, очень мужественными, одновременно, сказал бы я, говорил Двигубский, грустными и смеющимися глазами; вдруг, извлекая откуда-

то армейскую фляжку, он предложил мне выпить с ним водки; я, разумеется, согласился. Вы понимаете сами, какой это был *кайф* для того восемнадцатилетнего дурака, которым я тогда был. Ну, как же, ночь, поезд, незнакомый офицер, фляжка, водка, взрослые разговоры. А я один еду, впервые в жизни. А он, после второй рюмки, точнее крышки, из которой он пил, начал напропалую ругать советскую власть – и ругал ее так лихо, так откровенно, как до тех пор никто, кажется, в моей жизни ее не ругал; пользуясь, видимо, железнодорожной необязательностью разговора, понимая, что этот восемнадцатилетний мальчишка не побежит наутро доносить на него, что мы простимся на пензенском вокзале и больше никогда не увидимся, или вообще, может быть, не думая о последствиях, но высказывая, чтобы высказать, наконец, все то, что давно уже в нем накопилось и накипело; так ругал ее, Софью Власьевну, как я до тех пор не слышал, чтобы кто-то ее ругал, упирая в особенности на ее безудержную бездарность, трупную тупость, трупы в сущности нами и правят, говорил он, вот именно этими же словами, я точно помню, говорил Двигубский, трупы, нелюди, хоть бы сдохли уж, наконец; затем, нарезав на жирной бумаге копченую, с желто-белыми вкраплениями сала, помните, улыбаясь в сумерках говорил Двигубский, была такая? все купе своим резким, страшным и соблазнительным запахом заполнившую, тотчас же, колбасу, объявил, глядя в окно, что он давно бы уже все бросил, не объяснив, впрочем, что именно, но что он все равно ничего другого не умеет, не знает, так что ты учишься, говорил он мне, говорил Двигубский, чему ты там учишься? истории? чему учишься, тому и учишься. А у меня в роду все военные, и отец воевал, и дед был красный кавалерист, рубал шашкой. Тут он взмахнул рукою, показывая, как тот *рубал*, говорил Двигубский, в свою очередь взмахивая своей длинной, плохо привинченной рукою, и... вот почему-то на всю жизнь я это запомнил... ребром ладони ударился о верхнюю полку, рассмеялся, потер ладонь, разгладил усы. И очень зря, между прочим, говорил капитан, был бы уж лучше за белых. Хотя эти белые тоже были, наверное, не подарок. Ты как думаешь? Я в ту пору о белых еще не думал. Тоже были, наверное, звери, эти белые, все повторял капитан, говорил мне Двигубский у моря. Черт их там разберет. В общем, говорил капитан, говорил мне Двигубский, мы теперь, похоже, расплачиваемся. За чужие грехи. Расплачиваемся, а расплатиться не можем. Ну, мы сами тоже... не без греха. И на вокзале, говорил Двигубский, наутро, мы с капитаном навсегда, конечно, расстались, и я, это я тоже так ясно помню теперь, говорил он, посмотрел еще ему вслед, на его стройную, легкую, грустную, в советской военной форме удалявшуюся через площадь фигуру, и пошел отыскивать то ли автобус, то ли попутку, вот этого не

могу теперь вспомнить, чтобы добраться до той деревни, глухой, как и все они, куда ехал, впервые в жизни один, но все-таки еще не к своим собственным, еще маминым, папиным, скорее – папиным, знакомым, купившим там, в Пензенской области, в надежде убежать таким образом, пускай лишь на лето, все от той же советской власти, полуразвалившуюся избу, бородатому физику и его жене, пригласившим, кроме меня, еще пару бородатых физиков с женами. Все они пили так, как мы с вами, Макушинский, не пили, наверное, никогда. Отвечайте за себя, вставил я в скобках. Ходили по грибы, жарили их с картошкой, пили местную водку и говорили о Солженицыне. Сам не знаю, почему я туда поехал и почему они меня позвали приехать. Отец хотел, может быть, чтобы я начал, наконец, самостоятельную суровую жизнь. Мы повернули, я помню, обратно, закат был теперь перед нами, розовые, перистые полосы в замирающем небе, розовые отсветы на тихих, почти неподвижных волнах. И когда я мыл там голову, на огороде за домом, сказал вдруг Двигубский, как пахли грядки, как пекло солнце, и соседка, простая баба, Настя, Маша, неважно, с бессмысленным удивлением на плоском лице наблюдавшая за процедурой, шампунь, я помню, называла *шипунием*... Вот слово, сказал он, которое мы сохраним, сбережем, пронесем. Пронесем его, сказал он, улыбаясь в почти уже темноте, сквозь все исторические катаклизмы, сквозь наши с вами путешествия по Италии, сквозь непоправимость потерь. Об одном прошу тебя, друг Аркадий, не говори красиво... А все-таки, все-таки, повторил он, вслушиваясь в свои же слова: сквозь непоправимость потерь, нарастающих с каждым годом... И больше я не бывал там, в той деревне под Пензой. На следующее лето мы поехали с Петром Федоровым в Казахстан на раскопки, затем на юг России, в Белгородскую область, на раскопки тоже, и тоже в глушь, евразийскую и степную.

63.

На пляже, однажды, заслышав немецкую речь, разговорился я с молодой, спортивного типа, парой – как вдруг выяснилось, из Ингольштадта, – тут же пустившейся нахваливать этот свой Ингольштадт, столь хорошо мне знакомый, на мой вкус – скучнейший, где, по их словам, все прекрасно, все замечательно, и люди, и пиво, и работа есть (на «Ауди», разумеется), и море недалеко. Какое море? А вот это, сказал мужской представитель пары, играя мускулами и тыкая пальцем в сторону мерцающих волн. Хохот Двигубского не смутил и не обидел его. А что такого, подумаешь, тысяча километров, сел на машину, через Альпы переехал и вечером уже здесь. Машина у них

быстрая, это правда, нет, не «Ауди», «Порше». Они на два дня приехали, завтра обратно уже покатят... Вот бы так относиться к жизни, сказал я Двигубскому. Он только плечами пожал, дохихатывая. В хмелю веселый был Назар, не знаю уж, по какой связи идей проговорил он, когда мы отошли от бодрых баварцев. *Siena mi fé; disfecemi Maremma...* Сам же он показался мне в то лето постаревшим и каким-то осунувшимся. Я, собственно, никогда прежде не видел его голым. Руки его, как выяснилось, были только в кистях волосатыми; по мере приближения к плечам волосатость свою утрачивали; в плечах появлялась узость, хрупкость, почти болезненная; ключицы выпирали; на длинном и бледном теле, с какими-то почти детскими, очень маленькими сосками груди, волос не было вообще; волосы возникали вновь на ногах, усиливались и густели с приближением к ступням. Теперь, когда его нет, я думаю о том, как он чувствовал себя в этом нескладном теле. В конце концов, каждый из нас ощущает себя в своем теле по-разному; у каждого из нас свой вкус во рту, своя сухость в горле; наше самое тайное, самое ближнее. Он еще был здоров, и никакая печень у него не болела. А все-таки, кажется мне, он себя неуютно чувствовал в этом теле; что-то как будто мешало ему, раздражало его. Он честно выходил на пляж, каждый день, расстилал на деревянном лежаке всегда одно и то же, огромное, бледно-синее полотенце с идиотским изображением оскаленного в счастливой улыбке белого медведя, тянущегося лапой к бутылке русской водки, затерянной в арктических льдах, предмет моих ежедневных насмешек, аккуратно его разглаживал, презирая, как выражался он, злобную зависть зоилов, честно вытягивался на солнце, и довольно быстро начинал, я помню, скучать, ерзать, брался за Светония и Саллюстия, за свои записи, снова откладывал их, нехотя, поддаваясь на Светины и мои уговоры, шел в воду, всякий раз выходил из воды раньше, чем выходила Света, или выходил я, ложился снова на кретинское свое полотенце, лежал на нем, уже откровенно томясь и скучая, не наслаждаясь, и явно не желая наслаждаться, ни солнцем, ни жаром, ни ощущением соленой воды на коже, ни, вообще, пляжной истомой, южным бездельем, наконец, вздохнув, опять принимался за чтение, не так уж сильно, думал я, отличаясь всем этим от своей дочери, утыкавшейся на соседнем лежаке в телефон, в «Гарри Поттера» и опять в телефон. Наслаждалась Света, лежавшая рядом со мною. Света, натершись кремом, блаженствовала – впрочем, не без вызова, казалось мне, как будто подчеркивая, что вот она-то, Света, умеет радоваться жизни, довольствоваться малым, ценить простые прелести бытия, что приехала отдохнуть – и отдохнет, а вы как хотите. С Двигубским говорила она немного, заговаривать предпочитала со мною, на его,

обращенные к ней, слова отвечала намеренно невпопад, посторонней присказкой, как в театре. Что бы такое приготовить нам на обед? спрашивал, отвлекаясь от римлян, П.Д. Маруся отравилась, в больницу повезли, отвечала Светлана. Готовь что хочешь, мне все равно... Эту таинственную Марусю поминала она в то лето чуть ли не каждый день; готовил же у них в семье, как выяснилось, и в самом деле Двигубский, в своем качестве безработного мужа работающей жены, уже отвыкшей заниматься хозяйством. Готовил он плохо. А между тем, снимать каникулярную квартиру, в Маремме или еще где, потому и выгодно, разумеется, что в такой квартире всегда есть плита, посуда и холодильник, и можно готовить самим, не тратя деньги на сомнительную ресторанный пищу, Бог знает на каком масле зажаренную. Готовить никому не хотелось, ни Двигубскому, ни Свете, ни мне. Денег, чтобы каждый день ходить в ресторан, даже недорогой и в смысле масла сомнительный, у них не было, или Света считала, что не было, и кажется, все-таки не могла простить П.Д., хотя и старалась, что не было. Вновь и вновь всплывала эта тема денег, я помню, для них обоих мучительная. Светины кошачьи глаза делались темными, тусклыми. Я тоже не мог, конечно, платить каждый раз за нас за всех четверых, да они бы и не позволили мне. Сидеть к тому же за столиком в ожидании очередных спагетти, тольятелли и тортеллони в обществе Олиного телефончика и Светинога раздражения было невесело. Раздражение, казалось мне, и связывало их друг с другом... Ни эмиграция, ни годы жизни с Двигубским не излечили ее от советских словечек, всех этих «поезд ушел» и «занимайте места согласно купленным билетам»; Двигубский, казалось мне, уже не готов был больше пропускать все это мимо ушей; помню, как передернуло его и как он не смог или не захотел это скрыть, от чудовищного глагола «устаканиться», привезенного, похоже, Светланой из недавней поездки на родину. Глядя на них в очередной пиццерии, куда мы все-таки, в конце концов, отправлялись, вспоминал я ту Свету, того П.Д., с которыми ездил когда-то в Царское, тому назад пятнадцать, в небытие провалившихся, лет. Еще вспоминал, как в юности приходил, бывало, к Двигубским и, когда мрачный Сережа открывал мне дверь, оказывался как будто в самой гуще семейной ссоры, всех со всеми, но в первую очередь – родителей П.Д., с тех пор, по его словам, очень постаревших и, кажется, наконец помирившихся друг с другом. Сам П.Д., как бы то ни было, когда мы отправили, наконец, его жену и дочку в Париж, прояснился и посветлел; где-то в Провансе, в машине, не могу теперь вспомнить, признался мне, что отношения такие плохие, что он ушел бы, и еще уйдет, быть может, из дому, не знает только, куда и к кому. Уходить, в сущности, некуда, не к кому. Так вот мы и тянем эту

безрадостную жизнь, сказал он. *On ne se couche plus d'ailleurs, depuis déjà quelques années.* Признание это было так на него не похоже, что я даже не сразу понял, я помню, эту французскую фразу, которую пробормотал он, на меня не глядя и не ко мне обращаясь. За ветровым стеклом проплывали изумленные кипарисы.

64.

Просматривая мои записи того лета, я вижу, что 3 сентября мы посадили Свету и Олю на поезд в Ливорно, вечером были в Лукке, оказавшейся, в самом деле, одним из прелестнейших городов на земле, с ее узкими улочками и городским валом, к которому выходили мы вновь и вновь; переночевав и еще побродив немного по городу, постояв у собора св. Мартина, у церкви св. Михаила на бывшем римском форуме, с восхитительными ее колоннами, как бы по кругу обегаящими ее, вспомнив святого Виллибальда и святую Вальпургу, отец которых умирал здесь в своем невообразимом восьмом веке, в этой же самой Лукке, между прочим, где в 56 году до Р.Х., сказал мне Двигубский, Юлий Цезарь, вернувшийся с галльской войны, встречался с Помпеем и Крассом, в результате каковой встречи возобновлен был знаменитый триумvirат, пролог войны другой, гражданской, страшнейшей, и если на этом месте, где мы стоим сейчас, был, действительно, форум, то вот попробуйте представить себе, Макушинский, как они идут навстречу друг другу, вон оттуда Цезарь со своей пресловутой горбинкой, из вон того переулка Помпей с его бабьим лицом, а вон и Красс, соответственно, безликий, поскольку же мы с вами представить себе это все равно не способны, и не знаем даже, на форуме ли встречались они, или в другом каком месте, то, полагаю я и, надеюсь, вы согласитесь со мною, мы преспокойно пойдем сейчас вон в ту пиццерию – пообедав в которой, мы выехали, чтобы доехать до нее более или менее засветло, в Геную, переночевали там, и на следующий день, 5 сентября, по многотуннельной, сначала итальянской, затем французской автостраде, почти никак не связанной с окружающим ее ландшафтом, горами справа и морем слева внизу, но грохочущей и газующей в каком-то своем собственном, ею же и создаваемом, взвешном и внемирном пространстве, доехали до Канн и до Грасса, где Двигубский уже бывал, где я непременно хотел оказаться. Вилла Бунина по-прежнему была заперта; Грасс показался мне одной сплошной горой, с прилепившимися к ней домиками, и улочками такими узенькими, такими горбатыми, что «Мерседес» мой решительно отказывался разъезжаться на них с другими машинами, по-немецки охал, вздрагивал и гудел; в Каннах на набережной, среди разряженной и праздной толпы,

скучливо прогуливавшейся под пальмами, мы оба почувствовали такое отвращение ко вдруг обступившей нас банальности бытия, что почти сразу же уехали береговой дорогой в восхитительные Антибы; вновь повернули на запад; шестого вечером были в Эксе, провинциальном, пыльно-платанном; на другой день поднялись, конечно, к мастерской Сезанна, затем еще выше, к тому месту, с которого он так часто рисовал свою любимую гору Saint Victoire, вновь и вновь, в утреннем свете и в свете вечернем, как будто пытаясь подойти к ней все ближе. Искусство и есть, может быть, приближение, попытка подойти еще чуть-чуть ближе к тому, что безнадежно от нас ускользает... Путешествовать в обществе П.Д. было ни с чем не сравнимым, никогда с тех пор в моей жизни не повторившемся наслаждением – и не только потому, разумеется, что он все знал и все помнил, и так видел за покровом настоящего – прошлое, как я сам никогда не умел его видеть, и это видимое ему прошлое оживало, конечно, в его присутствии для меня тоже, но еще и потому, думаю я теперь, что в нем оказалась в высшей степени развита столь необходимая для путешественника способность выносить это самое настоящее с его случайностями за решительно-иронические скобки, невозмутимо претерпевая неизбежные в любом вояже неприятности, бесконечно долгие, по кривым и горбатым улицам, поиски гостиницы в Грассе, бесконечно долгое ожидание дорогого и невкусного обеда в Антибах. В Эксе то ли в гостинице, то ли возле гостиницы, то ли у мастерской Сезанна, куда мы наслаждались видом великой горы, местные ловкие воришки вывернули левую переднюю боковую показывающую поворот фару – так называемый «поворотник» – моего в ту пору еще не очень старого «Мерседеса», что я заметил, лишь когда мы уже доехали до Арля и остановились в крытой парковке, так что вместо амфитеатра и воспоминаний о Ван-Гоге нам пришлось тут же поехать в скучнейшую промышленную зону на поиски соответствующего автосалона, где милейшая, с челкой, барышня даже чуть-чуть присвистнула – чистая, мол, работа! – глядя на зияющую темную дыру вместо фары, затем, вернувшись к своему компьютеру, сообщила нам уже для полного нашего счастья, что такого «поворотника» у них сейчас нет, и если заказать его на складе, то доставят его только завтра, но что она, барышня, сейчас позвонит в Авиньон, и если в Авиньоне, в братском, так сказать, представительстве все той же фирмы «Мерседес-Бенц» соответствующая фара наличествует, то самое простое для нас было бы поехать прямо туда, она, барышня, искренне советует нам поступить именно так, voilà tout, вот и все. В Авиньоне, куда мы вовсе не собирались в тот день, предполагая заехать в него уже на обратном пути на север, и речи, опять же, не было ни

о пленении пап, ни, например, о Петрарке, но о том и только о том, чтобы в какой-то уже неправдоподобно огромной, отвратительно путаной промышленной зоне, возле стеклянного, нового, гигантоманического, как выразился П.Д., торгового центра, совершенно такого же, впрочем, как во всех промышленных зонах европейских городов, очевидно, заметил П.Д., состязающихся друг с другом в алюминиево-пластиковой близости, – чтобы, значит, в этой зоне и возле этого центра найти упорно прятавшееся от нас за каким-то, на плане города не отмеченным поворотом, братское арльскому представительство, еще раз, фирмы «Мерседес», где молоденький, с усиками, смуглый и оживленный приказчик, нас обслуживавший, тоже присвистнул и даже олялякнул, глядя на чистую работу провансальских воришек. Я нервничал и злился, по дурацкой своей привычке, Двигубский оставался спокоен – и даже во время нашего странствия по индустриальным зонам Южной Франции явно наслаждался поездкой. А когда, собственно, началось это состязание в близости? это соревнование в уродстве? эта гонка за анонимностью? После войны? Или раньше? Я думаю раньше, сказал я, поворачивая в сторону Нима.

65.

Из Нима, постояв возле римского акведука, побродив по скалам над ним, где были узловатые масличные деревья такой красоты и мощи, что мне казалось, я остался бы на всю жизнь стоять перед ними, и корни их, как змеи, ползли по камням, и сухой кустарник дышал чем-то горьким и праздничным, поехали мы, не заезжая в Монпелье, прямой дорожкой – в Сет, в память о Поле Валери, столь много значившем для меня в молодости; добравшись до Сета по автостраде, поев на какой-то не запомнившейся мне площади возле канала, смутно текущего сквозь забвенье, местных устриц, слегка обрызнутых, понятное дело, лимоном, отправились на знаменитое «морское кладбище», воспетое Валери в не менее знаменитом одноименном стихотворении, единственном, может быть, стихотворении его, говорил я Двигубскому, однажды меня восхитившем, еще в той самой, от нас обоих уже так сильно и безнадежно отдалившейся молодости, когда Константин Павлович впервые дал мне почитать тоненький томик «Чар», этих, несмотря на название, расчетливых и холодных стихов, скорее оставивших меня равнодушным. Я тоже чужд этим чарам, сказал Двигубский, парафразируя другого поэта. То ли дело его эссе и тетради, сказал я, его фрагменты и записи – и этот бесподобный господин Тэст, мифологический персонаж моей, опять-таки, молодости, один из ее тайных спутников и незримых героев. Этот Тэст, сказал

вдруг Двигубский, выходя из машины, захлопывая за собой переднюю дверцу, на сожженной солнцем стоянке перед кладбищем, этот Тэст есть, в сущности, не что иное, как попытка изобразить картезианское *cogito* в виде немолодого господина с военной выправкой, спекулирующего на бирже, – попытка, согласитесь, одновременно величественная и немного смешная. Я согласился, я помню; я подумал, что он, Двигубский, никогда еще первым не заговаривал со мной ни о каком *cogito*. Кладбище оказалось по-южному каменным, с крестами и башенками надгробий, встававших, как мелкий лес между нами и морем. Кладбище спускалось к морю, и море поднималось за ним. Потому оно было сразу же за каменным лесом надгробий, на одном уровне с ними и с нами, там, где возле других холмов, не морских, бывает просто воздух, пустое пространство. Потому Валери и написал в своем «Морском кладбище», что этот «тихий кров» (*ce toit tranquille*) «трепещет» (*palpite*) «между могил и пиний». Море трепетало, действительно, искрилось во весь охват бухты, перерезанной пирсом. Я вспомнил, как мы стояли с Двигубским на гребне поросшей соснами дюны, в счастливую эпоху жизни, в Латвии, в 1987 году, как солнечный блеск бежал к нам сверху от горизонта. Еще я вспомнил русские кладбища, где так часто деревья поднимаются среди православных, со второй, косою поперечиною, крестов – деревья, например, сосны, высоко-высоко возносящие если не души умерших, то, может быть, на мгновение, души тех, кто стоит и плачет возле милой могилы. Здесь, в мелколесье надгробий, ни сосен, ни только что упомянутых пиний не было, во всяком случае, я их не помню, не могу теперь вспомнить. Этот южный свет любой ваш взгляд превращает в событие. *Un long regard sur le calme des dieux*, «долгий взор на покой богов», сказал Двигубский, глядя на море и цитируя, в свою очередь, Валери – могилу которого мы не сразу и обнаружили среди каменных домиков и крестов; она ничем не отличалась от прочих. Смирение в смерти, пробормотал, я помню, Двигубский. А ведь и в самом деле, сказал он, глядя по-прежнему на море, на блеск и трепет, бегущий от горизонта, а ведь и в самом деле, этот средиземноморский свет придает некую окончательность, некую непреложность нашим мыслям, действиям, или... чему же? Времени, сказал я. Вот этому мгновению времени, которое, кажется, никогда не пройдет, не прейдет. Сила присутствия, дающаяся нам даром. Вот, сказал он, чего не бывает там... он взмахнул рукою... там, на хлюпком севере. Так, я помню, он выразился, очевидно радуясь найденному эпитету. А между тем, упоминание о хлюпком севере разрушило мгновенные чары, ткань времени порвалась, мы пошли обратно к машине.

66.

В тот же, кажется, день, на каком-то случайном пляже, куда мы заехали, чтобы в последний раз, может быть, искупаться и погреться на солнце, Двигубский, едва мы сели с ним на песок, во второй раз в жизни заговорил со мною о картезианском *cogito*, о трансцендентальном субъекте, о Гуссерле, которого, как выяснилось, весьма и весьма усердно читал в последнее время в Париже, перед поездкой на юг. Он – читал Гуссерля? Да, представьте себе. Он читал и Гуссерля, и Декарта, и Канта, и даже полузабытых в наши дни неокантианцев, Наторпа, Эмиля Ласка, Фридриха Риккерта – и прежде всего Фридриха Риккерта, Гришиного учителя. Я даже не сразу понял, о каком Грише он говорит. Ну да, он пытается представить себе круг *его* чтения, прочитать *его* глазами те книги, которыми *он* увлекался, – и чем внимательнее читает их, тем сильнее увлекается ими сам, тем больше привлекают они его. О, конечно, конечно, мы все помним, что первоначально-синтетическое единство апперцепции является важнейшей предпосылкой феноменологической редукции, но на самом деле, перестаньте смеяться, на самом деле, есть, несмотря на ужасы философского воляпюка, что-то совершенно восхитительное, упоительное, он не находит другого слова, в этих поисках, и в этой возможности найти, вот что важно, некую неразрушимую, непреложную точку, в себе, вне мира, вне времени, противовес и противоположность всему этому текучему и сыпучему, случайности жизни, необязательности событий и обстоятельств. Ему это нравится, ему нравится это все больше и больше. Я подумал, что это необыкновенно смешно, обхохочешься. Необыкновенно смешно, подумал я, что вот он, Павел Двигубский, сидящий со мной рядом, пересыпая длинными руками песок, Павел Двигубский, с которым в молодости у меня никак не получалось поговорить на мои темы, на моей территории, теперь сам заговаривает со мною о том же, и упоминает те понятия, и тех авторов, о которых я уже разучился и думать, которых пятнадцать лет не брал в руки. Смешно, подумал я – но почему-то мне смешно отнюдь не было, скорей было грустно. Дул какой-то странный ветер в тот день, откуда-то сбоку, не с моря, но и не с берега. Я сходил к машине за полотенцем, соломенной подстилкой и купальными трусиками; Двигубский, решивший все-таки не купаться, закатал брюки до острых колен, снял рубашку, остался сидеть на песке. Почему-то я очень хорошо помню, как шел к машине и затем снова на пляж, по горячему песку, по заметенному этим песком дощатому проходу между низенькими и тоже дощатыми изгородями, предохранявшими он туристского топота кустики колючей травы. Был, как часто бывает во Франции, небольшой пляжный ресторан неподалеку от того места, где

мы оказались; плетеные стулья и столики за плетеной же загородкой. Большие флаги полоскались над ним. Маленькие треугольные разноцветные флажки, похожие на тибетские, трепетали и бились над тележкой с мороженым, орешками, кока-колой, обычным набором «Сникерсов», которую толкал перед собою по самой кромке воды невозмутимый, загорелый, с седой грудью дядька, очень ловко, в самом деле, развесивший эти флажки на канатах, укрепленных как такелаж на воткнутом в тележку шесте. Никто не подходил к нему, никто не покупал у него ни мороженого, ни фисташек, ни кока-колы. Он выглядел счастливым, шагал легко, летучей походкой. Вот с кем я поменялся бы местами и судьбами... Я вошел в воду и поплыл в чуть подернувшееся дымкой, открытое, мерцающее пространство. Когда же повернул обратно, вдруг почувствовал, что течение сносит меня в сторону и не дает приблизиться к берегу. Совершенно отчетливо видел я этот берег, видел Двигубского, сидевшего на песке, обхватив острые колени руками, глядевшего на море, не видевшего меня, видел арабское семейство с толстой мамой, четырьмя ребятами и множеством подстилок, расположившееся от Двигубского справа, видел счастливого обладателя фисташково-кока-кольной тележки, с тибетской невозмутимостью шествовавшего в другую сторону по кромке воды, видел, как трепещут и бьются его разноцветные флажки на ветру, – но приблизиться ко всему этому не мог и уже выбивался из сил. Стало страшно. Уже я начал задыхаться, захлебываться. Был, на мое счастье, небольшой деревянный причал, выдававшийся в море довольно далеко от того места, где я вошел в воду; в его сторону меня и сносило; не в силах доплыть до берега, я сумел все-таки доплыть до этого причала; уговорил себя успокоиться, держась руками за скользкие бревна, глядя на сказочные водоросли, мерно, мирно колыхавшиеся под водой. Свет был все тот же, средиземноморский и непреложный, невозмутимая чайка искала что-то среди мелких ракушек у воды. Я ничего не сказал П.Д., просто лег на подстилку; я не мог забыть о случившемся ни в тот день, ни на другой, ни даже на третий, как ни старался. Как будто не я о нем помнил, но упорно помнили и руки, и ноги, и спина, и грудь, и все тело.

67.

В Эг-Морт (Aigues-Mortes) он прочитал мне лекцию о Крестовых походах, которую я здесь опускаю; мы долго сидели, я помню, на площади со статуей Людовика Святого, как раз и отправившегося в эти самые Крестовые походы, седьмой и восьмой, из этой самой крепости Эг-Морт, им и построенной, возникающей, когда едешь к ней,

воинственным видением среди болот и соляных россыпей, в сплетении каналов, со своими суровыми стенами, беспощадными башнями. На Двигубского напал совсем не воинственный приступ сладкоедства, как он выражался. Доедая третий эклер, к умилению толстой кондитерши, заговорил он об исчезновении прошлого, утекании истории, о том, что вот, нам уже и дела никакого нет до этого Людовика Святого, христианнейшего короля, этих Крестовых походов, седьмого и восьмого, вот здесь начавшихся, закончившихся, особенно восьмой, столь плачевно. Все это, как вы видите, туристический аттракцион. Я скорее занят был девушкой-англичанкой, сидевшей со своими, похоже, родителями в соседнем ресторане, отделенном от нас и от площади низенькой, красненькими цветочками уставленной загородкою. А ведь уже и в окопы Первой мировой войны начинают водить туристов. Вот, наверное, сказал вдруг Двигубский, почему я никак не могу написать того, что пишу. Почему же? довольно, кажется, рассеянно переспросил я, переглядываясь с англичанкой, поднявшей голову от огромной пиццы, которую с не меньшим, чем сама пицца, аппетитом уплетала она до этого. Ей было, наверное, лет двадцать пять, у нее были вьющиеся, длинные и густые, темно-белокурые волосы, собранные в пушистый хвост на спине, молочные щеки, смущенные и смеющиеся глаза. Какая-то последняя надежда на счастье еще живет во мне, может быть. А потому, говорил Двигубский, что и двадцатый век уже кончился. Уже все это в прошлом, и все уже об этом, наверное, сказано, уже сами эти темы исчерпаны. Ну был, да, кто же спорит, в начале двадцатого века прорыв демонических сил, наступление бесчеловечности, вторжение хаоса и так далее, и так далее... В голосе его почувствовалось вдруг раздражение, то ли к этому вторжению хаоса относившееся, то ли к моим заигрываниям с прелестной островитяжкой, то ли к собственным его неудачам. Ну да, ну и что же? Ну, было и было. Уже столько всего написано и сказано обо всем этом. Он постучал своими длинными пальцами по столу. Ну, может быть, тогда, когда-то, в начале восьмидесятых, когда мне все это впервые увиделось, это был еще не совсем вчерашний день, еще, так скажем, самый конец сегодняшнего. А теперь, что же? Теперь ведь все это кончено. Теперь ведь начинается какая-то другая история... и мы еще не знаем какая. А с другой стороны, невозможно ведь не думать и не писать о прошедшем... Значит, как-то надо писать иначе, не пересказывая все один и тот же сюжет (о прорыве демонического, о вторжении хаоса...). А впрочем, вам, похоже, не до того. Мне было и вправду не до того в ту минуту. Родители англичанки тоже стали, я помню, оглядываться, пытаюсь понять, на кого это она так пристально смотрит... Одиннадцатое же сентября застигло нас уже по дороге на хлопкий север, в

Оранже.

68.

Я чувствовал себя счастливым в тот день, хотя мне и жаль было расставаться с возлюбленным югом. Мы пообедали, я помню, на очередной площади со статуей очередного крестоносца; пообедав, отправились, конечно, к знаменитому римскому амфитеатру, высокой внешней, мощноглыбистой стеною выходящему на шумную, булыжную улицу. Мопеды тархтели во всю свою вонь, грузовики, пикапы и просто машины грохотали по неровной брусчатке. А все же эта внешняя стена, по ту сторону которой – сцена, и дальше – полукружие вырезанного в скале амфитеатра, каковой амфитеатр и каковую сцену можно увидеть, заплатив небольшую плату за вход, – все же не сам амфитеатр и не сама сцена, но именно эта задняя внешняя, с полукружиями навсегда, как кажется, закрытых дверей, стена, доступная любому прохожему, отделенная от противоположного тротуара, на котором мы и стояли, мопедной вонью и грохотом грузовиков, – именно эта задняя стена поразила нас обоих своей монументальной мощью, архаической непреложностью, своей почти какой-то вавилонской величественностью, какой-то извечностью и (сказал Двигубский) навечностью. На века строили, не просто так себе надолго, а так, чтобы до скончания мира, до конца Рима стояло. Он как-то весь, я помню, подтянулся и вытянулся перед этой стеною. Затем, перейдя через мопедную вонь, долго трогал своими длинными пальцами, узкими ладонями громадные ее глыбы, словно надеясь выщупать, выпросить у них тайну их неизбежности. Вот это могли только древние, сказал он, вот это вместе с Римом погибло. А спросите меня, что – вот это, я и сам не сумею ответить. Я и не думал спрашивать. Я предложил ему, когда мы осмотрели амфитеатр изнутри, подняться на холм над ним, где оказался просторный тенистый парк, по которому мы довольно долго бродили, затем сидели на какой-то скамейке, не помню уже о чем разговаривая, ни о чем не разговаривая, быть может. Вновь и вновь видна была гора Ванту (Ventoux) с ее сине-снежной вершиною, та самая гора Ванту, оваянная ветрами, которая в этой местности видна почти отовсюду и на которую Петрарка взбирался когда-то в странном качестве первого альпиниста... Мы шли, я помню, обратно к машине, чтобы отправиться, наконец, на поиски гостиницы; не дойдя до нее, увидели в каком-то очень затрапезном полубаре-полукафе – столпившихся, уже, похоже, подвыпивших – и, похоже, на мгновение протрезвевших завсегдатаев, остановившихся, как и мы сами, случайных прохожих, всех с почти одинаковым выражением

растерянности и ужаса на лице, застывших, задрав голову, перед маленьким экраном повешенного на стену за стойкой бара хрипучего телевизора, где вновь и вновь, с перерывом в несколько минут, в роковой повторяемости, вечном возвращении кошмара сначала первый самолет влетал в первую, затем второй во вторую нью-йоркскую башню. Хорошо помню чувство нереальности, меня охватившее. Я видел то, что я видел. Видел падающие небоскребы, бегущих людей, шквал щебня в пространстве между домами..., но никак не мог соотнести то, что видел на экране, с тем, что видел вокруг, с этим Оранжем, этим днем, этим баром. То, что я видел на экране, было само по себе, а все остальное само по себе. Потрясенные комментаторы, французские и американские, рассказывали, перебивая друг друга, о чем-то, что никакого отношения не имело ни вообще к жизни, ни к моей жизни. Я знал, что это не фильм, не голливудская инсценировка, не science-fiction. Я знал это, но не чувствовал этого. Я сам как будто выпал из реальности на две или три минуты. Двигубский, в конце концов, даже слегка толкнул меня локтем. В глазах его были слезы. Ну вот антракт и закончился, проговорил он очень тихо, так, чтобы никто, кроме меня, не расслышал, но почему-то по-французски. Добро пожаловать в новый век. *Bienvenu dans le nouveau siècle...* Мне показалось, он нарочно сказал это, чтобы я не увидел его слез, не заметил его ужаса. Я тоже думал, конечно, о людях, чьи телефонные голоса, молящие о спасении, мы еще слышали и которых, когда мы шли к машине, искали гостиницу, в живых уже не было. В гостинице, довольно, опять-таки, затрапезной, грязноватой и душной, где тоже было что-то вроде бара и стойки с телевизором на стене, мы провели почти весь вечер перед экраном; поужинали и возвратились опять к телевизору. Двигубский, к алкоголю всегда равнодушный, заказал один «скотч» и сразу за ним другой; уже довольно поздно вечером постучал ко мне в номер; сказал, что не может спать и не сможет; мы снова вышли на улицу. Все мопеды и грузовики уехали и уснули; стучали только наши собственные шаги по бульжнику. Подсвеченная откуда-то сбоку, она вновь явилась нам в своем совершенном молчании, простоте и величии, эта внешняя стена римского амфитеатра, глыбистой гладью возносившаяся в темное небо, неотменяемо вот такая, какова она есть, чистое воплощение всеохватного замысла.

69.

После этой-то нашей поездки, если я правильно понимаю, он и предпринял последнюю большую, самую решительную попытку – все-таки, вопреки всему, несмотря ни на что,

борясь и споря с судьбою – написать свою повесть, «Город в долине»; зима 2001-2002 года была для него зимою надежд и отчаяния, отчаяния и надежд. Я пытаюсь теперь, конечно, представить его себе – там, где-то сидящего, в их двухкомнатной *квартирешке*, по его выражению, в так называемом НЛМ'е, французском, если угодно, эквиваленте *хрущобы*, где я никогда не бывал и фотографии которой я пару дней назад попросил Свету прислать мне по электронной почте, что она сделала, как показалось мне по тону ее письма, без большой охоты, но все-таки сделала, так что я могу теперь увидеть, в разных ракурсах, эти две комнатки, впрочем, сильно изменившиеся после его смерти, поскольку Света, как она пишет мне, сразу же, через месяц после похорон все переставила, не могла больше видеть этот пустующий письменный стол, теперь снесенный в подвал, эту вечную фотографию Ключевского на стене, которую в ту осень и зиму 2001 года окружали, по ее рассказам, довольно многочисленные фотографии начала двадцатого века, людей, лиц и зданий начала двадцатого века, со стены впоследствии снятые, сложенные в пакет и присланные мне вместе с рукописями осенью 2004, не могла больше видеть и эти две старинные большие гравюры с французскими и русскими надписями, на одной из коих изображен Большой фонтан в Петергофе, на другой – так называемый Пиль в Павловском парке, гравюры (я тут же их вспомнил), которые висели когда-то у Двигубских в столовой, в Москве (под углом к пресловутым портретам), которые она, Светлана, ухитрилась вывезти за границу в конце девяностых, бесстрашно обманывая и болтовней отвлекая таможенника, и которые она все-таки тоже снесла в подвал, не в силах смотреть на них, заменив их видами Сены и Нотр-Дам, написанными одним ее парижским приятелем-художником из старых русских эмигрантов, отчетливо видимыми на присланных ею мне фотографиях. Я просил ее, в особенности, сделать снимок, лучше пару снимков, из окна его комнаты; я вижу теперь, пусть в компьютере, то же, что видел он, поднимая глаза от рукописи; тот же невеселый вид на другой и соседний, двенадцатиэтажный, если я правильно считаю, НЛМ, закрывающий, хотя и не целиком закрывающий небо, еще один НЛМ, в отдалении и под углом к этому, просвет между ними, небо в этом просвете и, в этом же просвете, далекий, тоненький, только в ясную погоду, наверное, и видимый, но все-таки схваченный Светиной камерой, шпиль Эйфелевой башни, робкое напоминание о том, что действие все же происходит в Париже, а не в другом каком-нибудь, неважно каком европейском городе, посреди, как он бы, наверное, выразился, охватившего весь мир *вторичного упрощенья*. Вот на это-то небо, эту паутинку Эйфелевой башни и смотрел он, следовательно; вот на эти, если вставал от стола и

подходил вплотную к окну, совершенно такие же, как везде, как в России, рядом с горками для съезжания на попке, песочницы и качели, где вечно играли, орали, вечно дрались друг с другом арабские, африканские дети. Света уходила в больницу, Оля в лицей. Двигубский, если ему не надо было ехать на другой конец города рассказывать любознательным старушкам о том, что Россия это большая страна на востоке, где по улицам гуляют медведи в обнимку с красавицами (Татьяна ах, медведь за ней...), оставался дома один, раскладывал свои рукописи, склонял лысеющую голову над исписанными его поспешным почерком тетрадями и страницами, городом и героем, очередным продолжением, очередным поражением. Какие-нибудь часы тикали, наверное, рядом с ним; звонил, изредка, телефон (телефон, впрочем, в эмиграции не звонит почти никогда); арабско-африканские крики доносились до него снизу; голоса его неудачи. Он написал, тем не менее, за зиму самый большой, самый связный фрагмент из всех, впоследствии присланных мне; довел действие, с большими пропусками, с едва намеченными ходами, до ареста героя, Григория; к весне понял, что ничего у него не получится. В 2002 году мы не виделись; весну и лето он провел, как впоследствии мне рассказывал, в оцепенении отчаяния, с чувством окончательного крушения, отсутствия большой задачи, способной дать жизни смысл, блеск и упругость...; осенью начал преподавать в университете в Монпелье, где неожиданно получил годовой контракт на полставки, что, в свою очередь, было довольно бессмысленно, поскольку деньги, им зарабатываемые, почти целиком уходили на дорогу и на ночлег; он надеялся, конечно, на какое-то, опять, продолжение; продолжения опять не последовало. С октября 2002 по июнь 2003 года, за вычетом рождественских, понятное дело, каникул, снова ездил он, как когда-то в Дижон, на два или на три дня в неделю, на сей раз – на юг, на тот благословенный, столь любимый им юг Франции, по которому мы с ним путешествовали, не заехав, как будто нарочно (говорил он мне по телефону), в Монпелье, чтобы (говорил он) не портить то путешествие отсветом скучного будущего; сам Монпелье, по его словам, был город скучнейший, пыльный, промышленный, очень арабский... Зимой пошла полоса потерь; Константин Павлович, вдруг задохнувшись на еще новогодней, в светящихся елочках, улице, умер в Москве, в самом начале января 2003 года; Павел, к тому времени выправивший себе паспорт, слетал в Россию, впервые за девять лет, на три дня – и затем говорил мне, в оцепенении отчаяния, что нечего было спешить обратно, можно было бы поспеть и на другие похороны, в Петербург. Любимая его тетка, мной никогда не виданная, старшая сестра Константина Павловича, столь же внезапно и без видимых причин умерла, через

неделю после похорон брата возвратившись в свою пустую большую квартиру на Петроградской стороне – квартиру, оказавшуюся вдруг переписанной на имя, как запомнил я со слов Двигубского, некоей гражданки Кондыриной, Евгении Степановны, жительницы Лодейного Поля, каковая гражданка Кондырина, оставаясь, впрочем, невидимой и действуя через рычащего в телефон адвоката, тут же и предъявила, разумеется, свои права на *жилище*, вкупе с имеющейся у нее *дарственной*. Вскрытие показало инфаркт; экспертиза подтвердила подлинность подписи. Бизнесмен Сережа, к тому времени уже владелец туристической фирмы, посылавшей счастливых представителей нового среднего класса отдохнуть на Канарах, Багамах, Бермудах, взял на себя, как единственный в их семье деловой человек, судебные вязкие хлопоты, не забыв, впрочем, предложить своим безденежным брату и сестре разделить с ним грядущие расходы, и в случае выигрыша, и в случае проигрыша их дела весьма, по-видимому, значительные... Полагаю, что необходимость каждую неделю ехать с сумкой на Лионский вокзал, спешить, в железнодорожной толчее, к нужной платформе, покупать газету, апельсиновый сок в пластмассовой баночке и пару длинных узких французских сэндвичей в ларьке и киоске, затем три с половиной часа сидеть в скоростном поезде (так называемом TGV) «Париж-Перпиньян» (с остановкой в Монпелье и следующей остановкой, до которой никогда не доезжал он, в незабываемом Сете), глядя на пролетающий мимо, все более южный, все более пиниевый пейзаж, добираться на автобусе до той комнаты в общежитии, которую он снимал, готовить занятия, выслушивать студенческие рефераты и читать домашние работы все о той же революции и Гражданской войне в России, о великих реформах и реформах Столыпинских, о Серебряном веке и религиозно-философском ренессансе, столь многое суливших, столь страшно закончившихся, затем, в конце недели, проделывать всю дорогу в обратном порядке, добираться на автобусе до вокзала, покупать круассан и газету, садиться в поезд, смотреть на пинии, реденющие за окнами, – полагаю, что все это если не помогало Двигубскому справиться с его горем, то хотя бы помогало ему отвлечься, забыться. Странное дело, но именно тогда, если я правильно помню и понимаю, он вдруг попытался возвратиться к своей давным-давно заброшенной докторской (в русских терминах) диссертации, к которой, и тоже – давным-давно, утратил всякий интерес, о которой вновь и вновь напоминала ему, разумеется, Света, надеявшаяся, и в общем не без оснований, что завершение и защита оной повысили бы его шансы получить постоянное место...; вновь и вновь, дома ли, в поезде, разложив свои тетрадки на столе или на откидном столике, приделанном к

спинке переднего сидения, возвращался (все-таки, вопреки всему, отбрасывая ученые книги, споря с судьбою) к своей безнадежной повести, Григорию, городу, гибели, вновь и вновь приходя в отчаяние от аргамаков и армяков, поручиков и управ, от литературности литературы, невозможности сюжета и фабулы, роковой вторичности зловещих тем двадцатого века, неуместности их в двадцать первом. Моя, если угодно, *проблема*, говорил он мне осенью 2003, когда я снова, в очередной раз, приехал в Париж, моя *проблема*, знаете ли, Макушинский, вовсе не в том, что я никак не могу написать эту проклятую повесть, Бог с ней и черт с ней, в конце концов, с этой повестью, но проблема моя в том, что я никак не могу перестать писать ее, отстать от нее, наконец. Это она не отстает от меня, разумеется. Я не схожу с ума и не впадаю в экзальтацию, уж поверьте. В лице его ничего экзальтированного, действительно, не было; была только печаль. Но кто-то словно поселился во мне, какой-то, вот, персонаж, да: Григорий, как в конце концов я его назвал, когда-то, когда мне самому было двадцать с чем-то лет, столько же, сколько было ему ко времени его гибели, поселился, и начал жить во мне, и прожил во мне все эти годы, со мной переехал в Париж, со мною ездил в Дижон, в Монпелье, со мной летал зимою в Москву. Я состарился, а он все такой же. А я сначала и не понимал, может быть, что это значит. Сначала, сказал Двигубский, глядя в сторону, в серое небо, я и не замечал ничего, все еще было просто, понятно, в той молодости, которую я почти уже и не способен представить себе, еще все можно было, наверное, переменить, перевернуть, переделать, еще моя жизнь была моей, или хоть казалось мне моей собственной, никому другому не подвластной, не принадлежащей. А между тем, уже очертания ее смещались, уже сдвигались контуры, уже чужие тени, чужие отблески по ней пробегали... Я понял это только здесь, в Париже, сказал он. Париж лежал в этот миг перед нами, под нами, весь целиком, как тот безымянный маленький город, город в долине, лежал перед героем его повести, в осенней, как и тот город, сизо-серой, светящейся дымке.

70.

Он спросил меня в тот мой приезд, бывал ли я на Defense; я не бывал там. В таком случае, Алексей, вы обязаны; это надо увидеть, хотя бы однажды. Мы и встретились с ним на Defense, в воскресенье. Я стоял, я помню, озираясь по сторонам, на ступенях зеркальностенной Большой арки, слишком огромной для нашего мира, в толчее сверкающих небоскребов, расступившихся, казалось мне, лишь для того, чтобы изумленный маленький человек, потомок пушкинского Евгения, мог увидеть, в

отдалении, превосходящем его самые дерзкие мысли, в глубине проведенной Гулливером-архитектором перспективы, крошечную, игрушечную, настоящую Триумфальную арку, символ забытых побед в доисторических войнах, тех войнах, думал я, в которых комические короли с коронами на седеющих локонах вели в бой оловянных бравых солдатиков и пороховые дымки поднимались как нежное «ах» над идиллическими полями...; и появившийся непонятно откуда Двигубский в новом желтом плаще и неизменном своем, по-парижски причудливо замотанном шарфе, в линялых, к моему изумлению, джинсах, и новых тоже, по виду замшевых, с толстыми веревочными шнурками и твердой, пупыристой подошвой ботинках, не совсем таких, может быть, но все же очень похожих на те, которые так хорошо видны на известной фотографии Набокова, сделанной Хорстом Таппе (единственным, кажется, немцем, которому Набоков простил, что он немец, уж слишком хорошие получились, действительно, снимки...) на лужайке перед пресловутым Палас-отелем в Монтрё, где я стоял, помнится, весной 1997, приехав туда вместе с моей мамой, жившей у друзей в Берне и попросившей меня свозить ее в это обиталище бессмертных теней, на поклон к ним, – той известной фотографии, на которой счастливый старый ВВ, закинув одну ногу на колено другой и тем самым выставив упомянутый ботинок на передний преувеличенный план, сидит на скамейке рядом с покровительственно улыбающейся ему ВЕ, показывая ей что-то плохо различимое в его нетонких пальцах, похожее на маслянистый гриб, срезанный под ближайшим кустом, совершенно такой же, конечно, какие росли когда-то под Вырой, в бабушкином Батово и в рождественском парке, возле той беседки, где Ганин целовал свою Машеньку..., ботинках, вернемся к ним, которые я сам примерял несколько раз в разных обувных магазинах разных европейских стран, всякий раз убеждаясь, что носить их не в состоянии, что они жмут мне со всех сторон, справа, слева, сзади, спереди, сверху и снизу и что я двух шагов, значит, не способен пройти по стопам любимого автора; – Двигубский, следовательно, в этом плаще, этих джинсах и этих ботинках появившийся – непонятно откуда, уселся, предложив и мне сесть с ним рядом, на одну из тех высоченных ступеней, по которым поднимался, наверно, наверх, к своей никому не ведомой цели Гулливер-архитектор, зодчий, созданный Франкенштейном, Прометей строительной страсти и на которых сидят теперь, лежат теперь, как ни в чем ни бывало, греясь на солнышке, всевозможные приезжие перуанцы, девушки с обручем на голове и *косяком* в тонких пальчиках, счастливые студенты, погруженные в перелистывание комиксов, в чтение Платона, в мечты об экзамене. На такой-то ступеньке сидючи, Двигубский, без долгих

предисловий, извлек, я помню, из холщевой сумки, висевшей у него на плече, черный увесистый том, оказавшийся восемнадцатым томом альманаха «Минувшее», выходившего в девяностые годы в России; он сам не понимает и не может сказать почему, но он только вчера наткнулся на него в библиотеке. В этом восемнадцатом выпуске альманаха «Минувшее» (Москва, Санкт-Петербург, 1995) опубликован большой блок материалов, посвященный Г.И. Мясникову, организатору убийства великого князя Михаила Александровича в Перми в июне 1918 года, материалов, среди которых основное и почетное место занимают воспоминания самого этого Г.И. (Гавриила Ильича) Мясникова с характернейшим и бомбоподобным названием «Философия убийства». Название взорвалось; дымок поднялся над притихшим полем далекой и страшной битвы. Я вспомнил, что мы уже говорили когда-то об убийстве великого князя Михаила Александровича – в электричке, казалось и кажется мне, это было, по дороге в Царское, восемнадцать лет тому назад, в день моего знакомства со Светой; вспомнил, вспомнив это, проплывающие за окнами станции, петербургское рваное небо, Овечкина, забывшего в гараже свою свечку. А кавторанг умер, сказал Двигубский, впервые, может быть, после своего появления непонятно откуда на ступенях Большой арки глядя мне прямо в лицо. Брови его все той же совершенной линией, чертою и чайкой взлетали над отчаянными, с отраженным в них морем, глазами. Кавторанг умер. Теперь все умирают, сказал он. Биография же Г.И. Мясникова вполне подходит для серии «Библиотека приключений»; помните, была такая в нашем советском детстве?

71.

В тетрадях, в 2004 году присланных мне Двигубским, в последней, собственно, из этих тетрадей (которую тем самым я получаю возможность датировать), содержится, среди прочих исторических материалов, подробный конспект этой биографии, действительно – примечательнейшей, и этого сочинения, в своем роде единственного, более ни на что не похожего. Мясников родился в 1889 году; он был простой рабочий на оружейном заводе в Мотовилихе, возле Перми. В 1906 году он вступает в РСДРП, участвует в экспроприациях оружия, в нападениях, иными словами, на полицейские участки, где оружие-то и было, а заодно была и возможность прикончить кого-нибудь из стражей проклятого режима; неизвестно, впрочем, убивал ли уже Мясников своих сочеловеков на этом самом раннем этапе героической своей деятельности или еще не убивал, лишь хотел. За все это, как бы то ни было, попадает он, конечно, в тюрьму, бежит из нее,

попадает снова, опять бежит, скрывается, скрыться не может. С 1913 по 1917 год сидит в Орловской каторжной тюрьме (знаменитом «Орловском централе»), весной 1917 возвращается в Мотовилиху, летом 1918 организует убийство великого князя Михаила Александровича, в 1920 становится председателем Пермского губернского комитета победившей «по всей линии» партии – с которой, впрочем, тут же и начинаются у него расхождения; советская карьера его длится недолго. Мясников был революционер стихийный, он и великого князя убил ни у кого не спросив, вопреки прямым указаниям Ленина и Свердлова, весьма довольных, впрочем, его действиями, не желавших лишь отдавать прямого приказа об убийстве, потиравших, однако, кровавые свои руки от радости, когда убийство, без всякого их приказа, само собой совершилось. Мясниковская «революционная воля» совпала в данном случае с их, революционной не менее, лишь менее честной, а потому и более подлой. Все-таки он поступил не по их, а по своей воле, не по их, а по собственному своему разумению. Партии же, понятное дело, такие своевольцы не нужны. Чем дальше идет время, чем более она укрепляется, тем менее нужны они ей. Ей нужны послушные души, ручные звери, простые исполнители прямых и ясных приказов. Так Мясников оказывается в «рабочей оппозиции»; в 1922 его исключают из партии, в 23 арестовывают, высылают почему-то в Берлин, заманивают обратно, арестовывают опять, после объявленной им голодовки, попытки самоубийства приговаривают к трем годам тюрьмы, затем отправляют – пойдешь пойми, опять-таки, почему – в Ереван, откуда в 1928 он бежит в Персию, год проводит в иранских и турецких тюрьмах, в Турции встречается с Троцким, наконец, в 1930, попадает во Францию. Во Франции счастье тоже ему не сопутствует. Какие-то пытается он организовывать «рабочие группы», какую-то издавать газету (с чудным названием «Оппозиционная правда»); ничего не выходит из этого. Для бывших белых он убийца великого князя, для рыскающих по Европе чекистов – оппозиционер и предатель, для французских властей личность вообще подозрительная, которую неплохо при случае и в тюрьму посадить. Кончается тем, что живет он по подложному паспорту и работает на заводе (жить-то надо на что-то). Роман Гуль рассказывает в своих мемуарах («Я унес Россию») о мимолетной с ним встрече: «захожу как-то к Б.И. [Николаевскому, известному историку-меньшевику], стучу в дверь его комнаты и захожу», пишет Гуль. «Б.И. – за столом, а в кресле какой-то смуглый, муругий, плотный человек с бледно-одутловатым лицом, черными неопрятными волосами, черные усы, лицо будто замкнуто на семь замков. При моем появлении муругий сразу же поднялся – невысокий, крепко сложенный. “Ну, я пойду, Борис Иванович”, - и протянул ему руку.

Николаевский пошел проводить его до выходной двери. Возвращается Б.И., спрашивает с улыбкой: „Видали?“ – „Видел, кто это?“. - Б.И. *со значением*: „А это Григорий Мясников...“ [тут, конечно, ошибка, он был Гавриил – не Григорий] – Я, пораженно: „Как? Лидер рабочей оппозиции? Убийца великого князя Михаила Александровича?!“ Б.И. подтверждающе кивает головой: „Он самый. Работает на заводе. Живет ультраконспиративно по фальшивому паспорту, французы прикрыли его. И все-таки боится чекистской мести. Совершенно ни с кем не встречается. Только ко мне приходит. Рассказывает много интересного”». Не могу все-таки удержаться, чтобы не процитировать еще кое-что: «Б.И. передал мне рассказ Мясникова, что когда он был еще молодым рабочим и впервые был арестован за революционную деятельность и заключен в тюрьму, то, беря из тюремной библиотеки книги, читал Пушкина, как говорит, “запоем” (оказывается, Пушкин - “любимый поэт” Мясникова!). И вот Мясников наткнулся на стихотворение „Кинжал”. „И он, - говорит Б.И., - рассказывал, что „Кинжал“ произвел на него такое потрясающее впечатление, что в тюрьме он *внутренне поклялся* стать вот таким революционным „кинжалом“. Вот где психологические корни его убийства великого князя. И говорил он об этом очень искренне...» Конец цитаты. Об убийстве этом сам Мясников тоже не мог, конечно, не думать, хотя для него-то, по всей вероятности, оно было лишь эпизодом кинжальной его биографии; во Франции, как бы то ни было, пишет он свою «Философию убийства»; не просто пишет, но посылает ее – кому? – а прямо Сталину, вот кому! прямо в Кремль (с какой целью и рассчитывая на что? пойдя пойми сих философов...); кремлевский горец, сам знавший толк в такой философии, не удостоивает его ответом. Приключения на этом не кончаются. В 1941 году теперь уже немцы арестовывают его, в 1942 он бежит в неоккупированную зону Франции, где и хватают его французы, отправляют в свой, французский, оттуда опять в немецкий концлагерь, из которого снова бежит он, снова живет по подложным документам в Париже – а затем все-таки отдается в лапы родной советской власти, налаживает связи с советским посольством в уже освобожденном Париже, получает разрешение вернуться в СССР, в январе 1945 (война еще не закончилась!), действительно, возвращается. Ему пятьдесят шесть лет в сорок пятом году (пишет Двигубский в последней из своих тетрадей); просто, может быть, устал человек... Тут уж, понятное дело, расправляются с ним окончательно, сажают на Лубянку, девять месяцев допрашивают, 16 ноября 1945 года расстреливают. Так погиб Гавриил Мясников, честный убийца, кинжал и мученик революции... Между прочим, у него была семья (пишет Двигубский); в 1920 году, в короткую пору своего

советского благополучия, женился он на некоей Дарье Григорьевне, родившей ему трех сыновей, Юрия, Дмитрия и Бориса – сколько раз в жизни видели они своего папу? После ареста Мясникова в 1923 году семью отправили куда-то в ссылку; сыновья, к сорок первому году, как легко подсчитать, едва ли двадцатилетние, погибли на фронте (все трое); жена, после возвращения Одиссея на Итаку и полученной на Итаке пули («итак, Одиссей», сказали итаковцы, «так, так, так...»), сошла с ума и вскоре скончалась, а кто оплачет теперь эти ненужные жизни?

72.

Мясников решил убить Михаила просто потому, что узнал, что тот – в Перми, совсем рядом (Мотовилиха тогда – рабочий поселок, теперь – район города). Не узнал – не убил бы. Но Михаил был рядом, был в Перми, жил в гостинице и почти без охраны. Этого Мясников стерпеть не мог. То есть как же так, в самом деле? Боролись-боролись, на каторгу шли и по тюрьмам сидели, а теперь это царское отродье гуляет тут на свободе... А с ним еще какой-то секретарь-англичанин, какой-то чуть ли не лорд. Черт с ним, с лордом, «пусть себе лордствует», но чтобы он, Мясников, потерпел живого Михаила Романова в двух шагах (верстах...) от пролетарской родной Мотовилихи... Он приводит, конечно, рациональные доводы в пользу задуманного убийства – по крайней мере, они кажутся ему таковыми – Михаила-де могут выкрасть, он-де «может стать знаменем, программой для всех контрреволюционных сил. Его имя сплотит все силы, мобилизует эти силы, подчиняя своему авторитету всех генералов, соперничающих между собой. Фирма Михаила II с его отказом от власти до Учредительного Собрания очень удобна как для внутренней, так и для внешней контрреволюции. Она может мобилизовать такие силы, которых никакая генеральская фирма и фирма Николая II мобилизовать не сможет. Она удесятерит силы контрреволюции». И так далее, и так далее. Простая мысль о том, что негоже без суда и следствия убивать человека, который ничего еще не сделал, но только может сделать, или хочет сделать, или именем которого кто-то что-то мог бы когда-то сделать, или (пишет Двигубский) еще более простая мысль о том, что человека вообще можно как-то наказывать или как-то преследовать лишь за то, что он *делает*, а не за то, что он *есть*, за то, что *совершает*, а не за то, чем *является* (Михаилом, к примеру, Романовым, а не Петром Сидоровым или Гавриилом, например, Мясниковым...) – все эти простые мысли, кажется, даже в голову ему не приходят. Или все-таки приходят? Все-таки приходят, отдадим ему должное. Еще заповедь «не убий» не совсем выветрилась у этого убийцы из головы – иначе не

пытался бы он ее опровергнуть. Опровергает он ее рассуждениями почти патетическими в своей примитивности, пишет Двигубский. «Но дело-то не в том, что Моисей написал на скрижалях „не убий“, чтобы потом убивать целые народы и колена. Ведь революция без убийств не бывает. Хорошо написать „не убий“, а практически? Лучше было бы не убивать, но вот эта война, разве миллионы жертв ее не ложатся тяжелой ответственностью на все господствующие классы всего мира, в том числе на эту разбойничью коронованную шайку? И разве истребление этой шайки не является началом конца всех и всяческих войн?» Успокоив свою совесть таковыми рассуждениями – если он и вправду рассуждал так в 1918 году, а не придумал все это задним числом, в 1935, – переходит он к вопросу, куда более важному, к вопросу – как? Как так сделать, чтобы, по собственному его, если вдуматься – вопиющему, выраженью, и овцы были целы, и волки сыты? Убивать «центр» не разрешает, но и не убить он не может (а он не может, конечно! тут уже сила, его сильнейшая, им овладела). Так приходит он к блестящей мысли «убежать» Михаила («...убивать опасно, а не убивать еще опаснее. Что же делать, как быть? А что если бежать? Да, взять да и убежать? И неистово, неудержимо заработала мысль в этом направлении. Правда. А почему нет? Они [офицеры, которых Мясников подозревает – только подозревает, не более – в заговоре с целью освобождения Михаила Александровича] хотят ему устроить побег, они его хотят выкрасть и увести? Так почему же мне нельзя? ... Какая счастливая, простая и ясная мысль. Убежал и... Что поделаешь? Убежал и только. ... Это как раз то, что надо. Это не расстрел, не убийство, но он исчез, его нет. Он будет убит, это ясно, но ясно это мне и моим товарищам, кому я доверю свою тайну, но для всех он бежал. И хорошо»). Каково, однако, словоупотребление! замечает Двигубский. «Мы бежали Михаила», «я бежал Михаила» - эта формула, в самом деле, вновь и вновь повторяется в тексте. В тот парижский день, на ступенях Большой арки, Двигубский, я помню, тоже, глядя на лежавший под нами и перед нами город, взлетая бровями над морем, вновь и вновь, почти мечтательно, повторял это чудное выраженьице; «я бежал Михаила», «я бежал Михаила». Вот, значит, как они говорили... В последней своей тетради особенно выделяет он, то есть подчеркивает несколько раз, то есть сначала переписывает (тонким почерком, с глубокими у и д...), затем подчеркивает, затем обводит черными чернилами, затем опять обводит – красным фломастером, то место поразительных сих мемуаров, в котором Мясников, пользуясь все тем же умопомрачительным выражением, приказывает каким-то местным чекистам, подвернувшимся ему под руку, сразу после инсценированного

побега арестовать – и расстрелять, понятное дело – все окружение великого князя за содействие этому самому побегу: «Ну, а теперь дело так обстоит», говорит Мясников чекистам. «Если бы вы не увидели и не узнали, что Михаила «бежали» мы, а узнали об его исчезновении завтра, то что бы вы сделали с оставшимися?» - «Арестовали бы», отвечают оба. – Вот и арестуйте и расстреляйте их всех, говорит Мясников... «А по всем телеграфным, телефонным линиям дайте знать: Михаил Романов и его секретарь Джонсон бежали в ночь с такого-то на такое-то...» Уже все готово, уже группа заговорщиков, исполнителей и палачей составлена и сколочена (имена их истории известны, вот они: А.В. Марков, И. Колпащиков, Г. Мясников, В.А. Иванченко, Н.В. Жужгов), но тут последние сомнения овладевают героем – и вот это место я просто обязан вам прочитать, говорил Двигубский на ступенях Большой арки, листая черную книгу своими длинными пальцами, отстраняя ее от себя (как делают люди, у которых начинается дальновзоркость...). А мне, между прочим, не очень-то и хотелось его слушать. Какое дело мне было, собственно, до Г.И. Мясникова в тот парижский дымчатый день? Он настоял все-таки на своем. «Михаил и его приближенные – это штаб, главный штаб, от которого зависит многое, а может быть, и исход войны. И имея этот штаб в руках, не уничтожить его, это значит быть тряпкой, а не революционером, значит помочь врагу бить нас. Этого-то я делать не собираюсь. А напротив. Надо привести в исполнение приговор истории. И колебаниям нет и не должно быть места». Тут он сам себя перебил, заложил книгу пальцем... Вот их мотив – привести в исполнение приговор истории. Удивительно все-таки, как они сами себя не слышат. Ведь это палачи приводят приговор в исполнение... А главное – зачем стараться? вот я чего никак не могу понять, говорил Двигубский, на меня не глядя по-прежнему. Ведь история сама собой идет туда, куда надо, ведь они же марксисты, они же точно знают, куда все идет. Чего ж беспокоиться, убивать, *убегать*? Вы это понимаете? спросил он, поворачиваясь ко мне. Я честно ответил, что нет. Вот и я не понимаю, сказал Двигубский, отворачиваясь снова к Парижу. Ну ладно, еще Желябов говорил, что история движется слишком медленно и что надо ее подталкивать. Так ведь Желябов – народоволец, он еще не знает, как все повернется... У Гитлера тоже могло так выйти и так, могла победить арийская раса, а могло и мировое еврейство. Но у этих-то все рассчитано, все известно, у них никак иначе повернуться не может, враг будет разбит, победа будет за нами. За них же – *наука*, законы истории. Что им за резон *подталкивать*, объяснил бы мне кто-нибудь... А ведь это их категорический императив, их *ultimo ratio*, они *должны*, они иначе не могут. А колебаниям все-таки

место – есть, говорил П.Д., вновь принимаясь за книгу – и вот это место я обязан вам прочесть, Макушинский, уж потерпите. Я усмехнулся, он тоже. Я впервые за всю нашу встречу почувствовал, что это, действительно, он, Двигубский, не кто-нибудь, давний друг мой, с которым я не видался два года, которого рад видеть (которого никогда уже теперь не увижу). Россия все же страна удивительная, говорил П.Д., усмехаясь по-прежнему. О чем думает наш *кинжал* накануне убийства? О литературе, дорогой мой, вот о чем думает он. Он не только Пушкина читал, оказывается, в тюрьме... «Все, говорю, решено твердо и бесповоротно, а как-то не могу оторваться от мыслей, не могу их обрубить и не думать. И нет-нет да опять начинаю. Вот и сейчас ловлю себя на том, а как бы посмотрел Толстой на моем месте? Если бы Толстому предстояло убить Михаила и спасти многие тысячи жизней трудовиков, то решился бы он убить? Если бы ему нужно было убить тифозную вошь, разносящую заразу, и спасти множество людских жизней, то убил бы он эту вошь? Да, убил. Убил бы и не задумался. А Михаил? Разве он лучше тифозной вши? Ведь тифозная вошь может сделать отбор, умертвить слабых и оставить в живых сильных, а эта вошь будет истреблять всех, а пройдя через горы трупов, воцарится и будет угнетать, давить, поработать... И борьба возгорится снова, и снова реки крови и горы трупов. Толстой убил бы эту вошь. Он должен был бы убить. Хотя... он предпочел отдать свое имение семье, а не крестьянам, и это после революции 1905 года! ... Проповедь непротивления имела целью укрепить это помещичье царство. И потому, если бы ему предстояло убить одного помещика и спасти сотни тысяч крестьян, то он отказался бы это сделать: пусть гибнут сотни тысяч крестьян, но не тронь помещика. А ко всему этому придумал бы хитроумную словесность для успокоения своей помещичьей совести: огнем, мол, огня не потушишь, а насилие насилием не убьешь. ... Да, так-то! А Достоевский? Этот откровенный защитник православия, самодержавия и народности. Он еще меньше стал бы думать, чем Толстой. Тот не убил бы помещичий строй (помещика), а отдал на растерзание миллионы трудовиков, но прикрыл бы это елейной ложью от Евангелия, а Достоевский был бы откровеннее. Какую силу презрения нужно было иметь в груди Достоевского к трудовому народу, чтобы нарисовать два типа, Ивана Карамазова и Смердякова? Теперь время смерда. Сам смерд берется решать свою судьбу. Он разоряет дворянские гнезда, он идет на сокрушение промышленного феодализма, он трясет основы поработительского строя, и ему самому надо решать вопросы войны против поработительского неба и земли. Надо думать, что скоро появится художник сильнее Достоевского и нарисует нам тип великого смерда, великого Смердякова, вкусившего

от древа познания добра и зла, и трусливого, гадкого помещика-буржуа, чувствующего, что ни сила небесная, ни сила земная не могут спасти его от сурового приговора истории. История дала заказ. Найдется достойная рука выполнить эту историческую миссию. Достоевский – охранитель помещичьего строя, с величайшим презрением и брезгливостью впустил он смерда в свою комнату и пустил его для того, чтобы опоганить его, превратив этого смерда, вкусившего от древа познания добра и зла, в полное собрание всех мыслимых пороков, дабы напугать либеральствующих и умствующих лукаво Иванов Карамазовых. Надо реабилитировать Смердякова от гнусностей Достоевского, показав величие Смердяковых, выступающих на историческую сцену битвы свободы с гнетом, попутно рассказав всю правду о поработителях – богах». Конец цитаты, еще раз. Неплохо, да? сказал, я помню, Двигубский, закрывая, наконец, свою книгу. Вот вам – апология Смердякова, формула революции. А читал он, я помню, под конец почти с пафосом, отстраняя от себя книгу в левой и потрясая вытянутым указательным пальцем правой руки. Надо реабилитировать Смердякова от гнусностей Достоевского... Смейтесь, смейтесь, говорил он, а вот я вам сейчас возьму и признаюсь, что на фоне Ленина и Свердлова Смердяков наш кажется мне почти симпатичным. Да, и не смотрите на меня так. Те ведь хотели прежде всего власти, а ему власти самой по себе не нужно. Он готов убить великого князя, но он уже борется с начинающимся террором против *своих*, уже в ужасе, что расстреливают рабочих-эсеров, рабочих-меньшевиков, о чем сам и пишет в своем сочинении. Как же так, рабочих расстреливают, а Михаила, тифозную вошь, оставляют гулять на свободе? Так я сначала Михаила прикончу, а потом за рабочих вступлюсь... Вот его логика. Он и вступился. И тут его самого, конечно, прикончили. Долго приканчивали, потому что сильный был человек, но в итоге, разумеется, расправились с ним, как со всеми. И он, значит – побежденный, и он – проигравший. А я люблю побежденных, говорил Двигубский, глядя по-прежнему не на меня, на Париж. А ведь подумать, что он где-то там ходил, вон там где-то, говорил П.Д., своей плохо привинченной, уже очень худой рукою тыкая в дымчатую даль перед нами, ходил там где-то по улицам, этот Мясников-Смердяков, проигравший свою историческую партию, отброшенный в сторону, затравленный зверь. А что он увидел, что он понял в Париже? Да ничего, наверное, не увидел, не понял, жил в своем страшном мире, в собственном мире схем и сражений... На фотографиях Мясникова, которые с тех пор удалось раздобыть мне, виден типичный рабочий, густо-брюнетистого южного типа, чуть-чуть, действительно, как его и описывает Гуль, одутловатый, с жесткими усами и

взглядом, с прямым носом, прямой линией сдвинутых суровых бровей, с тяжелым лбом и решительным подбородком, с презрительно и победно, прямо по-наполеоновски, сложенными на широкой груди руками.

73.

Мы проехали на метро те несколько остановок, которые отделяют одну арку от другой, титаническую от триумфальной...; а впрочем, сказал Двигубский, это наши масштабы, наверное, изменились, кто знает, девятнадцатый век и в этой арке видел, может быть, то сверхмерно-монументальное, что мы видим в той? Разве Эйфелева башня не кажется нам теперь почти уютной, а как относились к ней современники, слишком известно. Я сказал ему, что наблюдать за сумасшедшим движением машин вокруг Триумфальной арки всегда доставляло мне некое садо-мазохистское удовольствие; минут пять, может быть, стояли мы, глядя на эти, даже воскресением не утихомиренные, потоки вырывающихся на площадь машин, замирающих на площади, пропускающих соседний поток, вновь дергающихся, готовых столкнуться, не сталкивающихся с другими, шалеющих от собственной дерзости, шарахающихся от какой-нибудь одной, особенно наглой, поросячье-розовой, крутолобой машинки, вылетающей на площадь, как балерина из-за кулис на подмости, в чудесный мир опасностей и безумств, страсти, гибели и восторга...; затем пошли, наконец, по толкливым и шумным, как всегда, Елисейским полям; шума не выдержав, свернули направо, на авеню Георга Пятого, и сразу налево, в улицу Франциска Первого, одну из прелестнейших улиц Парижа, одновременно тихую и парадную. Как я все-таки завидую вам, Двигубский, что вы живете в этом лучшем из городов. Он ответил, что завидовать нечего, зависть чувство не плодотворное, и вообще, как писал, если я помню, Бодлер, жизнь – это госпиталь, где все больные мечтают поменять койку. Один хотел бы страдать у печки, а другой надеется выздороветь у окна... Я подумал о Константине Павловиче, конечно; он тоже о нем подумал. Я не решался заговорить с ним об отце; он сам заговорил со мною о нем. Время уходит, Макушинский, сказал он, вот прошло уже девять месяцев, пошел десятый, уже скоро год, уже случились разные вещи, о которых отец его никогда не узнает, уже он, Двигубский, что-то пережил, понял, почувствовал и прочитал, о чем отцу не расскажет никогда, никогда... Он перекрутил шарф, провел длинными пальцами по остаткам рудинской шевелюры. Мы сели за наружный, с золотыми ножками, столик какого-то кафе, не могу теперь вспомнить, где именно, на углу, наверное, авеню де Монтень, если там есть кафе... впрочем, неважно. Прошла, вот это я

помню, сухая дама, типично парижская, с холеной и злобной, состоявшей из жирных складок, набегавших на тупую мордочку с набок высунутым, каким-то омерзительно человеческим язычком, собачонкой той неопределенной породы, которая сделалась в последние годы модной, одной из тех, сделавшихся в последние годы модными собачьих пород, как будто соревнующихся друг с другом в приближении к некоему недостижимому идеалу уродства. Собачонка попыталась зарычать на нас, дама ее одернула. Он разбирает теперь бумаги отца, привезенные из России, говорил Двигубский; из бумаг этих выясняется многое; подтверждаются многие его подозрения. Он спросил у бойкого гарсона в красном фартуке кофе и сэндвич с сыром; я ждал, что он скажет. Выясняется, например, что отец его, о чем он никогда не говорил со своими детьми, все-таки вынужден был проделать тот путь разочарования в коммунистической идее, в великой утопии, который прошли столь многие в его поколении. Не может быть! сказал я. Константин Павлович! быть не может. И все же это так, как ни странно; его юношеские дневники полны рассуждений о непогрешимости марксистского учения, о том, что партия, при всех досадных ошибках и неприятных недоразумениях, вроде ареста его же собственного отца, моего дедушки, ведет весь мир к светлому будущему, и если не весь мир и не к совсем уж светлому будущему, то, во всяком случае, никак нельзя отрицать заслуги большевиков в деле ликвидации безграмотности и электрификации всей страны, и вообще великие идеи справедливости и социального равенства вдохновляли уже, как сказано в дневнике сорок седьмого, кажется, года, мудрецов древности и великих учителей человечества. Автору в это время семнадцать лет, отец его, то есть мой дедушка, уже год как в лагере, мама работает машинисткой в какой-то строительной конторе и тоже, кажется, еще верит, что Сталин кровавый негодяй, а вот Ленин был хороший, и вообще революция была неизбежностью и величайшим событием всей мировой истории. Они оба поверили в это в юности, мои дед и бабушка väterlicherseits, говорил Двигубский, растирая ложечкой коричневую кофейную пену по бортикам керамической чашечки, дедушка, как я уже, наверное, рассказывал вам, был химик и учился во Фрейбурге. Брат его в двадцать третьем году ухитрился уехать в Берлин и оттуда во Францию. Дедушка мой тоже часто бывал в Германии в двадцатые годы, закупая, кажется, какое-то оборудование для первых советских лабораторий. Вот эти-то лаборатории, значит, и должны были вывести несчастную отсталую Россию из мрака невежества на чистый солнечный свет современной науки, а уж наука-то точно должна была устроить все по-новому, разумно и правильно... Нам теперь легко смеяться над этим, говорил Двигубский, а они платили

за все свои иллюзии по самой полной цене. Другое дело моя мама, говорил он. У мамы, мне кажется, никаких иллюзий не было никогда, даже в детстве. Это заслуга моей бабушки *mütterlicherseits*, так я думаю, единственной из моих *grands-parents*, кого я знал. Я вспомнил, конечно, как и теперь вспоминаю, фотографию, показанную мне Двигубским когда-то, чудесные портреты в их московской столовой, введенные им в его повесть, подаренные герою. Отец, когда они познакомились, продолжал он, по-прежнему размазывая кофейную пену по стенкам чашечки, как будто гадая по ней и спрашивая ответа, если не о будущем, то хотя бы о прошлом, отец, судя по его дневникам, был даже отчасти шокирован откровенной и намеренной старорежимностью своей будущей тещи, всего их уклада. Старорежимность, в самом деле, была вызывающая, это уже на моей памяти. А познакомились мои родители, между прочим, в дни двадцатого съезда, странно, да? говорил Двигубский, то есть не то странно, что именно в дни двадцатого съезда, а просто странно теперь, через столько лет, читать его дневниковую запись от 24 февраля 1956 года, за день, следовательно, до пресловутого закрытого доклада, о знакомстве с белокурой девушкой Леной, студенткой филологического факультета. Уже никаких иллюзий у него, наверное, не было, но слухи о закрытом докладе его потрясли, это видно. Наступает счастливое время, так у него и написано. А оно как наступило, так и закончилось. Брак их счастливым, во всяком случае, не был, говорил Двигубский. И потому, разумеется, не был, что отец его был ловелас... быть не может! снова сказал я... да, отец его был завзятый и убежденный ловелас, о чем он, Павел, начал догадываться лет, пожалуй, в пятнадцать. То есть до самого, кажется, последнего времени, последних болезней были какие-то романы с аспирантками его кафедры, сотрудницами его института. Была одно время как бы официальная любовница, умопомрачительной, что называется, красоты... Он чувствовал себя брошенным в детстве, да, говорил Двигубский вставая, после смерти бабушки, просто-напросто брошенным. Отец был весь в своей науке, своих романах, а мама всегда жила, и до сих пор живет, какой-то совсем особенной, действительно – внутренней, то есть где-то внутри протекавшей и протекающей, наружу не проникающей жизнью. Мне всегда казалось, заметил я, что ваша мама постоянно думает о чем-то своем. Так оно и есть, разумеется, ответил Двигубский, только она сама, наверное, не смогла бы сказать о чем именно. Это какой-то смещенный мир, в который никто никогда не заглядывал. При этом она все решала в доме; все мы ее боялись; боялись ее внезапного гнева, ее язвительных шуток; зависели от ее настроения. Мама сегодня встала добрая... А если встала недобрая, то лучше

было ей на глаза не попадаться. Мы шли уже дальше, по рю Байар к Сене, через мост Инвалидов на левый берег. Отец еще любил приближать к себе кого-нибудь, вас, до вас Мороза, Сашу Морозова, помните, я рассказывал вам? как будто находя в этих, собственно, моих приятелях что-то, чего я не мог дать ему, или, наоборот, находя в себе возможность, или способность, или силы, дать им что-то такое, чего он не мог дать мне, или Сереже, или Марине. Сережа вообще очень рано перестал с кем-нибудь разговаривать; Марина, сколько я помню ее, мечтала выйти замуж и зажить своей жизнью; так и случилось. Муж ее – чудака на букву «м», как мы выражались в молодости, но не в этом дело. Теперь она, кажется, направо и налево ему изменяет. Это я оказался каким-то моногамным существом, прибавил Двигубский, с презрением к себе самому в глухом голосе. Уже смеркалось, я помню, по Сене шли, как всегда, разноцветные *Vateaux Mouches*, внизу, у булыжной набережной, покачивались черные лодки, валялись бутылки, бумаги, битое стекло под платанами. Все это ерунда, сказал, наконец, Двигубский; а вот хочу ли я знать, кого он на днях встретил в одной случайной компании? я, конечно, хотел. Ику, вот кого! художника Ику, помню ли я такого? Ика, оказывается, уехал в конце восьмидесятых сюда, в Париж, но здесь почему-то не задержался, перебрался в Америку, в Америке преуспел, пишет огромные, многометровые, почти безлюдные, не то, что в прошлом, полотна, очень выразительные, судя по каталогам, которые Двигубскому довелось видеть, пустые призрачные пейзажи, охотно покупаемые разными музеями в разных странах, и в Токио, и в Торонто, – и теперь, похоже, собирается опять и надолго обосноваться в Париже. Сам он стал старый, совершенно седой, но старость ему идет; старость такая упругая, уверенная в себе; свободная и спокойная. Какая же старость? сказал я; ему сейчас может быть от силы лет пятьдесят... Ну, значит, старость, как некий обретенный им *ego* возраст, правильный для него возраст. Я подумал, конечно, о моих, застывших в соприродном им возрасте французских друзьях, в тот, очередной, раз пригласивших меня жить у них в пятнадцатом округе. Возраст, вдруг сказал Двигубский, до которого я сам не дожил, которого не нашел... Хотите, зайдём к нему? Он снимает мастерскую здесь где-то рядом, в шикарном месте, чуть ли не на *Boulevard Saint-Germain*. Мы не попали к Ике в тот день; Двигубский, обращаясь с извлеченным из холщевой сумки мобильным телефоном как с опасным зверьком, который может, чего доброго, оцарапать или укусить, несколько раз набирал Икин номер, всякий раз заново, не в силах справиться с кнопкой повтора, считывая его с визитной Икиной карточки, очень большой, как в Париже тогда было модно, с расплывчатым деревом и лазурными

облаками на обороте; автоответчик всякий раз сообщал ему по-английски и по-французски, что Ика недосыгаем, так что я встретился с ним только через три года, без Двигубского, уже лежавшего в пригородной больнице для безнадежных, и побывал, в самом деле, в роскошной его мастерской, если и не совсем, как некогда, на чердаке, то, во всяком случае, над последним жилым этажом, где Ика снимал, в придачу к мастерской, небольшую квартиру, в одном из тех восхитительных, безумно и безудержно дорогих парижских домов, доставшихся нашему стеклянному и бетонному времени в наследство от Belle Epoque, в каких ни, к примеру, Двигубский, ни я, ни кто другой из наших эмигрантских знакомых даже не мечтал никогда поселиться; сидя перед занимавшей всю высокую стену до, почти, потолка, действительно прелестной в своей пустоте и отрешенности, с едва намеченным в прозрачной голубизне неба далеким и сказочным ландшафтом, картиной, над которой седой и счастливый Ика тогда работал и которая теперь висит, если я ничего не путаю, в Аделаиде, подливая себе и друг другу терпкий, затем горький зеленый чай из чугунного черного японского чайника (Ика, к несказанному моему изумлению, оказался тоже отчасти буддистом), говорили мы, я помню, о том, что в жизни ничего не кончается, все, однажды наметившееся, получает какое-нибудь, но продолжение, все отзывается, все находит эхо и отклик. А вместе с тем, все исчезает бесследно, как будто ничего и не было, в лазурном небе, в дымке дальнего плана... Куда мы еще пошли с Двигубским в то осеннее воскресенье 2003 года, после неудачной попытки повидаться с Икой, и где расстались, я не могу теперь вспомнить. Через день после моего возвращения в Эйхштетт я узнал о внезапной, невероятной, в пятьдесят шесть лет, в гостях у пациента, смерти Ф.Е.Б., моего дорогого друга, лучшего и умнейшего человека, мне встретившегося. Так полоса потерь началась и в моей жизни тоже; моя мама умерла еще через два года, в декабре 2005, после второго инсульта, в регенсбургской больнице.

74.

Осенью 2004 года я получил по почте пухлый пакет из Парижа. Разрезав и размотав желтую клейкую ленту, которой он был перевязан, я обнаружил в нем три большие, толстые, синие, русские, с истрепавшимися тесемками, папки и шесть общих тетрадей, пронумерованных и с пронумерованными страницами, среди них одну, опять-таки, русскую, в пожелтевшей картонной обложке, с надписью «Общая тетрадь», сделанной тем косеньким почерком, каким в нашем детстве писали фильмовые титры («Фитиль») и уличные вывески («Кулинария»), почерком, не изменившимся годов, наверно, с

сороковых, будто бы свойственным прилежным советским школьникам, со вздохом встающим из-за парты, под критическим взглядом товарища Молотова; и пять (перелетаем в другую эпоху, на другую планету) тетрадей французских, темно-фиолетовых, со светло-фиолетовыми, вертикальными и горизонтальными полосами – дизайн французской фирмы Clairefontaine, очевидно, однажды ему приглянувшийся, тетради же этой фирмы, продающиеся и в Германии тоже, отличаются необыкновенной гладкостью и белизною бумаги, так что я очень хорошо представляю себе, как скользило по ней открытое золотое перо его ручки, привезенной еще из России (перелетаем обратно), подаренной ему родителями после окончания школы (на моей памяти он никогда не писал другой; возил ее всюду с собою; хранил, вообще, верность вещам...). В одной из папок лежали (и лежат до сих пор; вот она) старые, в основном, фотографии, которые Двигубский, о чем он сам однажды рассказывал мне, отыскивал и покупал у букинистов и у старьевщиков, на блошиных рынках, вырезывал из газет, из иллюстрированных журналов. Фотографии, как и вырезки, упакованы в большие почтовые конверты, конверты сложены в эту папку с тесемками. Почему та или иная карточка лежит в том конверте или ином, непонятно; кажется, что он просто запихивал их куда придется. Всего более лица интересовали его, лица начала века, столь не похожие на лица теперешние. Попадают лица людей известных; фотография Распутина; почему-то Блаватской; вообще лица медиумов. Белые генералы и офицеры в бесчисленных вариациях. Тут же рядом комиссары, чекисты. Из двух папок с рукописями первая, кажется мне, восходит к началу девяностых, если не к восьмидесятым годам; уже по самым ранним, насколько я смею судить, фрагментам видно, как он вновь и вновь принимается за свою повесть – и как ни один из вариантов не удовлетворяет его. Первая глава переписана, может быть, тридцать раз. Раз тридцать, если не больше, встречается страница с подчеркнутой надписью «Город в долине. Повесть». За каковой надписью следует, с ничтожными разночтениями, эта первая глава, которую он переписывает как будто вновь и вновь, надеясь, очевидно, взять разгон и справиться, наконец, с продолжением, с главой второй, где терпит, вновь и вновь, поражение. Всякий раз герой, в самых ранних фрагментах еще безымянный, затем уже однозначно и навсегда – Григорий, смотрит сверху на город, видит его весь целиком, со всеми его куполами – и как только спускается в долину, все разваливается, разваливаются фразы, распадаются образы, не успев возникнуть, теряются персонажи. Не удивительно, что он помнил ее, эту первую главу, наизусть... Чернильными кляксами, росчерками, прочерками, профилями на полях отмечен путь его неудачи.

Вторая папка, если я смею судить, начинается с уже упоминавшегося наиболее подробного варианта повести, написанного после нашей южной поездки, зимой 2001-2002 года, состоящего из пятидесяти пяти, в эти годы каким-то особенно убористым, словно сжавшимся от напряжения почерком, исписанных им страниц. Вариант этот, как и все другие, обрывается, почерк делается на последних страницах почти нечитаемым, растекается очередными кляксами, отменяет себя же в яростных и безнадежных зачеркиваниях. Отдельные листочки бывают сцеплены поржавевшими за годы его мучений железными скрепками, рыжий след оставляющими на бумаге; некоторые, включая пятьдесят пять страниц, упомянутых только что, вложены в целлофановые прозрачные папочки. Но есть и просто листочки, две или три странички, образующие, очевидно, единое целое, во всяком случае, написанные, надо полагать, в один день, или за два-три дня подряд, в промежутке между вновь вспыхнувшей надеждой и очередным поражением, но все же, видимо, не показавшиеся ему достаточно важными, чтобы положить их в отдельную папочку или скрепить, по крайней мере, металлической скрепкой. Есть и просто листочки, ни к чему, как кажется, не относящиеся, сами по себе, лишённые продолженья... Я сидел, я помню, в Эйштетте, разложив перед собой все это на журнальном столе в гостиной – и только диву давался; солнечный день за окнами дивился вместе со мною. Никакого сопроводительного письма не было. После некоторых колебаний я сам написал Двигубскому (по электронной, разумеется, почте). Если, дорогой Павел, вы действовали в состоянии аффекта и теперь раскаиваетесь, то я могу послать Вам все бумаги обратно; если нет, то сообщите все-таки, как мне ими распорядиться. Ответ пришел недели, кажется, через две. А как хотите, хоть в газетах печатайте. Или велите патронов из них наделать... Если же говорить всерьез, то он просит меня сохранить эти бумаги, пока; буду ли я читать их, ему все равно. Он просто не мог больше держать их у себя дома, а уничтожить их у него рука не поднялась. Надо как-то покончить с этим наваждением, не возвращаться к злосчастному мороку, заставить себя заняться чем-то другим. А если рукописи дома, он рано или поздно опять их раскроет, и все начнется сначала. Он действовал и вправду в припадке отчаяния, но он не раскаивается в содеянном. Рукописи у меня в сохранности, а он все-таки должен, пока не поздно, попытаться выйти из этого тупика, вывернуть этот сорвавшийся винт. Он принимает свое поражение, пусть так... Света написала мне сегодня, отвечая на мой вопрос, что нет, осенью 2004 никаких признаков его болезни еще заметно не было, первые признаки появились позже, примерно через полгода, она очень хорошо помнит, как

вдруг, в один весенний, уже почти летний, жаркий и горький день осознала, что его худоба не просто так себе худоба, и что его вечно обложенный, с желто-зеленой слизью язык, кислый вкус во рту и боли в верхней части живота, на которые он начал в ту пору жаловаться, что все это суть симптомы и что надо немедленно, так выразилась она в сегодняшнем своем письме, класть его на обследование. Они, как я, наверное, догадываюсь, не всегда были счастливы вместе. Она только теперь понимает, как сильно его любила.

75.

Вот *схема действия*, как он называет ее, записанная им в тетради № 4, воспроизведенная, с довольно значительными изменениями, в тетради № 5, и, еще раз, уже почти без изменений, в шестой тетради, до конца не исписанной; привожу этот последний вариант: Григорий; въезд в город; площадь, вокзал, сад, раскоряки; поездка в имение с кап. Степановым; возвращение, разговор с полковником; испрашивает себе отпуск; на другой день остается один; гостиница, хозяин гостиницы; обходит город еще раз; дом, где жила Лидия; все повторяется, вокзал, площадь, сад, раскоряки; из-за сцены выходит тов. С., разговор с ним; опять гостиница; отсыпается там; перемена погоды; еще персонажи; ему все советуют уехать; вокзал; не уезжает; налет. Город захватывают «зеленые»; батька, Кудеяр, царь-Иван. Кудеяр уходит, остается «правительство». Зеленое правительство, «коалиционное правительство»; «республика», анархисты, большевики, местный сброд. Лидия! Лидия, учительница, подруга Кудеяра. Григорий пытается бежать; прячется у Лидиной тетки; его схватывают. Товарищ Сергей, главный чекист. Тов. С. хочет расстрелять его. В город приезжают Кудеяр и Лидия. Лидия узнает его. Просит за него Кудеяра. Кудеяр не позволяет расстреливать. Товарищ Сергей инсценирует побег. Финал. Гибель.

76.

Одну и ту же историю, пишет Двигубский (и эту мысль тоже записывает он несколько раз, в разных тетрадях, в разные годы...), одну и ту же историю можно, разумеется, рассказать по-разному, очень или не очень подробно, к примеру, совсем кратко, допустим, с диалогами или без диалогов, соотнеся или не соотнеся ее с каким-то определенным временем, узнаваемым местом. Рассказанная по-разному, останется ли она сама собой, той же самой, одной и той же историей? Я не знаю, пишет Двигубский. Если – да, пишет он, то, значит, она каким-то таинственным образом существует сама

по себе, по ту сторону слов, помимо всех вариантов... Помимо всех вариантов и по ту сторону слов рассказать ее, разумеется, невозможно, но никакому сомнению не подлежит теперь для меня, что во всех своих тетрадах и рукописях, при всем разнообразии испробованных и отвергнутых им ходов, при всей путанице ветвящихся, всякий раз в тупик и в никуда заводящих дорог, дорожек, тропинок, он рассказывает все одну и ту же, ту же самую, все время, историю, рассказать которую он все-таки не сумел, ни более, ни менее подробно, к примеру, ни совсем кратко, допустим, ни с диалогами, ни без диалогов; историю, думаю я теперь, разбирая его бумаги и рукописи, которая сама, может быть, не позволила ему себя рассказать, предпочтя остаться где-то там, по ту сторону слов, в мире чистых идей и не осуществившихся, не запятнанных осуществлением возможностей; мысль, сама по себе, конечно, абсурдная; все-таки не покидающая меня.

77.

Вновь и вновь, в разных тетрадах, в разные эпохи жизни, возвращается он к самому, надо полагать, для него главному, к герою, Григорию, продумывая его биографию, основную канву которой он рассказал мне некогда в Гейдельберге, вновь и вновь, в разных тетрадах и рукописях, варьируя все те же и те же темы – например, тему детства и юности, людей юности и людей детства, как он называет их. Есть люди детства, пишет он, люди замечательного, яркого, незабываемого детства, сверкающего, как роса на траве, и есть люди юности, люди значительной, часто трудной, полыхающей то зарницами, то пожарами юности, патетической юности, задающей тон всей их дальнейшей жизни. Первые все помнят, вторые осуждены вспоминать. «Между помнить и вспомнить, други...», цитирует он Ахматову. Людям детства вспоминать незачем, они все помнят и так, детство их всегда рядом, всегда за углом. Таким человеком был, конечно, Набоков, не зря писавший в «Других берегах» о своей бездарной во всех отношениях юности. Юность не нужна таким людям, они живут тем огромным зарядом счастья, который получили в детстве, запасом счастья, которого хватает им на всю жизнь. Люди юности вдруг начинают жить. В шестнадцать лет, на даче, он вдруг проснулся и начал жить, говорит Мандельштам. «Где-то на даче потом в лесном переплете шагреновом вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым...». Детство далекий сон для таких людей, пишет в другом месте Двигубский. Где-то там, когда-то там было детство... Ну, было и было. Интересно становится потом, когда прочитаны первые книги, подуманы первые мысли. Григорий

– человек детства. Всеволод – человек юности. Поэтому Григорий ничего, собственно, и не вспоминает, возвратившись в город, это я, автор, за него вспоминаю, пишет Двигубский. Он видит вокзал, или площадь, или, в городском саду, раскоряки, просто видит их, ни о каком прошлом не думая. Прошлое само о себе позаботится, оно уже здесь, он идет и проходит сквозь него. Он живет сразу во всех временах, сам этого, быть может, не замечая. Потому он для Всеволода загадка. Он вообще для Всеволода загадка. Мы же и смотрим на него глазами Всеволода, изумленными глазами Всеволода, пишет Двигубский – развивающий эти мысли не только в своих рабочих тетрадях, конечно, но и в самом тексте, много раз, в разных рукописях. Вспоминать, пишет он, например, о Григории в самом, как уже сказано, подробном варианте 2001 года, вспоминать, вообще говоря, ему не было свойственно. Вспоминать – дело Всеволода (говорил он когда-то). Удел и дело (отвечал Всеволод). Come on, old punster... Всеволод, в самом деле: Всеволод, его, Григория, старший, на пять лет старший брат, которого он, Григорий, если думал о нем, всякий или почти всякий раз воображал себе в том кафе в любезном его, то есть Всеволодову, сердцу Париже, где он, Григорий, в последний раз его видел – в том левобережном, конечно, кафе, с золотоногими, на тротуаре под красным тентом стоящими столиками, где Всеволод некогда был и (но этого Григорий не знал) скоро снова должен был сделаться завсегдатаем – Всеволод, в самом деле, *вспоминал* всегда, с юности; очень рано начал *оглядываться*, сводя брови, всматриваясь – и вновь всматриваясь в исчезающее, исчезнувшее, уходящее, проходящее, прошлое..., ужасаясь исчезновенью, еще не зная, конечно, но уже втайне, быть может, догадываясь, что вот так и будет потом всю жизнь, что вот так он и будет потом, всю жизнь, *оглядываться*, сводя свои брови, сидя в кафе, доставая *Голуаз* из кармана, записную книжку оттуда же, черную, с резинкой, не дающей ей в недолжное время раскрыться, со следами долгого ношения в царапающем соседстве с ключами, монетами, прочей мелочью, книжку, наполненную этими обратными взглядами, удержанным прошлым, ужасом времени. Потому что все оттуда исходит и туда возвращается; оттуда, откуда-то, из этого сумрака, этого первого дня среди каких-то, темных, деревьев... Григорий, почти никогда не вспоминая, все помнил. И если не все помнил, то помнил так ясно, столь многое, как и сколько Всеволоду вспомнить не удавалось; уже в четырнадцать каких-нибудь лет поражал своего в то время девятнадцатилетнего брата точностью сохранных, верней: сохранившихся, поскольку он как раз не хранил их, не думал о них, не берег их, деталей; мог сказать, например, что вот, когда они ездили в Биарриц (а ездили они туда

всего один раз, когда ему, Григорию, было четыре года), там, в Палас-Отеле, с его великолепным, приглушенно-гулким, мраморным холлом и цветными окнами в так называемой чайной гостиной, была полубезумная англичанка, мисс Флоренс Джонсон, правда Джонсон, и правда, что менее удивительно, Флоренс, старая дева, утверждавшая, что общается с духами. Да, я помню, говорил Всеволод, но ты помнить не можешь. Как же я не помню, я помню, она говорила с отцом, в гостиной, о Сведенборге, а я стоял рядом и слушал, я, конечно, не знал, кто такой Сведенборг, и она вытаскивала из ридикюля анисовую конфету, самую невкусную в моей жизни, и протянула мне со словами, что духи всегда вокруг и всегда со мной рядом, *about you, my dear child, always about you*, и потом принялась смотреть в камин и уже ничего не сказала, и отец, пожав плечами, увел меня от нее, и когда бывал сильный ветер, и мы все сидели на застекленной веранде, она одна выходила на пляж, и, пошатываясь, что-то кричала волнам. Просто какой-то король Лир в юбке, говорил... кто говорил это, автор так, похоже, и не придумал, в рукописи пропуск, начинается следующая глава.

78.

Григорий все помнит, пишет он в предпоследней, пятой тетради, и он сразу весь *дан*. Всеволод – задание, Григорий – данность, пишет Двигубский. А жизнь ведь вообще есть задание, задание которое мы не можем выполнить. *Das alles war Auftrag, aber bewältigtest du's?* Но Григорий сам есть данность, и жизнь для него просто данность. Просто вот она, без всяких заданий. Поэтому он не *ищет*. Он покоится в себе, кажется Всеволоду. Всеволод ищет, Григорий уже нашел. Нет, не так! восклицает Двигубский. Григорий и не искал никогда, ему искать незачем. Григорий кажется Всеволоду, пишет П.Д. в другом месте, человеком не ищущим, но нашедшим, изначально нашедшим, еще до начала всех поисков, до начала всей жизни, что-то такое, выходит, преджизненное, предвечное знающим. А сам он, Всеволод, ищущий, нет! не столько даже ищущий, сколько изначально отчаявшийся найти. Вот в чем дело. Всеволод даже и не верит, что сможет найти что-то, какой-то *ответ* в жизни. Ответ, может быть, есть, но он не верит, что сможет его найти. Поэтому он, Всеволод, пишет Двигубский, я же, когда читаю это теперь, думаю, конечно, что не зря он называл Всеволода то своим заместителем, то своим представителем в повести, поэтому Всеволод всегда живет на грани отчаяния, в самом его преддверье. Только писательство спасает его; иногда. Григорию отчаянье не знакомо. Жизнь для него просто жизнь, вот такая, какая есть. Он живет чем-то иным, каким-то предмирным знанием, как дети. Он наивен (в шиллеровском смысле).

Всеволод сентиментален, Григорий наивен. А между тем, он ведь занимается философией; зачем может заниматься философией такой человек? А я знаю, что он занимается философией, пишет Двигубский, я не могу сделать его ботаником или химиком. Опять-таки: почему? Он сам настолько целен, или, лучше, философским языком: сам настолько *целое*, что не способен увлечься на всю жизнь какой-то *частной* дисциплиной. Он способен увлечься на день, на месяц и даже на год. Но он знает, что никогда не сможет посвятить всего себя какой-то частной дисциплине, определенной науке. Цельность перед лицом целого. Разговор целого с целым. Философия предполагает исканья, сомненья... В этом смысле он не философ. Но он хочет выразить свое предмирное знание о мире. Он как будто сверяет его с тем, что знают о мире Платон, Кант, Шопенгауэр. И его увлекает игра ума. Не в частностях, но в целом. Он занимается логикой, но он никогда не стал бы логиком. Его увлекает игра и мощь мысли, стремящейся охватить целое, помыслить целое, создать целое в себе же самой. Для него философия не поиски ответа на вопрос, как быть и что делать, но всеохватывающий взгляд на мир, но позиция целого пред лицом целого, ответ цельности на целое. Он, как философствующий субъект, равновелик миру и внеположен ему. Он буквально – не от мира сего (в жизни вполне – от мира). Ему нужна и важна эта неотмирность, внемирность... Какой-то (от тетрадей перехожу снова к рукописям): какой-то – и даже, быть может, важнейшей – частью нашей, если угодно, сущности мы все живем, разумеется, вне – чего бы то ни было, вне происходящего вокруг нас, и даже вне происходящего с нами, по ту сторону нашей собственной жизни. Он очень остро чувствовал, отчетливо сознавал в себе эту часть; ценил в себе сознание этой части – не прямым, но в высшей степени косвенным образом связанное с его философскими штудиями, которые, в свою очередь, казались ему временами не столько попыткой определить или, например, описать эту *внешнюю жизни*, хотя и самую, может быть, внутреннюю часть души, сущности... (все *такие* слова приблизительны), сколько способом (одним из способов) развить ее и расширить; или, может быть, наоборот (на полный оборот всех понятий) одним из способов ее – в нем, Григории, – проявления, осуществления... Одним из способов, разумеется; любое, в конце концов, продлеваемое усилие укрепляет в нас неподвластное миру. Собственно философия, с такой точки зрения, оказывалась чем-то как бы случайным; можно было читать философские книги (он рано начал читать их, в шестнадцать лет штудировал уже Шопенгауэра), но можно было и не читать, читать другие, не читать вообще никаких... Эта миру неподвластная *часть* не исчезала и даже не уменьшалась в нем, вот что

странно, несмотря на его *участие* в событиях, называемых историческими, в великой войне и гражданской: и как если бы две эти *части*, участие в истории и непричастность к ней, скажем так, не исключали, но лишь усиливали друг друга. Надо быть посреди совершающегося, чтобы иметь возможность со стороны посмотреть на него. Возвращаюсь к тетрадам. Григорий – участвует, Всеволод – убегает, пишет Двигубский (тетрадь № 4). Всеволод никак не может понять, почему, собственно, Григорий дает забрать себя в армию, в 1916 году, почему заканчивает эту дурацкую школу прапорщиков, почему уезжает на фронт, тем более почему вступает в Белую армию. Всеволод, может быть, трус, может быть нет. Но Всеволоду, во всяком случае, есть, что терять, или так ему кажется, его будущие книги, еще не написанные. Книги, которые написаны никогда не будут, если он даст себя укокошить. А Григорий, что же? А Григорий чувствует, что он не может оставаться в стороне. Нет никаких разумных причин ему не оставаться в стороне. Но здесь не разум, а чувство. *Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas*. Чувство родины. Вся Россия, и я вместе с ней... И ему не нужен никакой результат жизни. Ничто, им сделанное, или написанное, или, наоборот, не написанное, не сделанное не может иметь для него такой ценности, какую имеет для него – что же? вот именно: что же? Сказать: сама жизнь, значит ничего не сказать. Но есть что-то, постоянно им ощущаемое, сознаваемое, бесконечно ценнейшее для него, чем все, что он, или кто-то другой, мог бы в жизни сделать, или создать, чего мог бы достигнуть, или добиться. Поэтому ему себя в каком-то смысле не жалко. Не потому что он не боится смерти, все боятся, и он тоже боится, а потому что где-то, каким-то образом, в каком-то высшем, лучшем плане бытия не так уж и важно, когда именно эта жизнь закончится, от нее не убудет. В отличие от Всеволода он ничего не должен успеть. Он никуда не спешит. Ему не важен результат жизни, и жизнь не нуждается для него в оправдании... Но вот что еще удивительно. Григорий никогда не интересовался политикой. Это Всеволод волновался, читал газеты, имел мнения, спорил за чайным столом, вступал в журнальные сшибки. Григорий приехал на каникулы в Россию в июле 1914 года, сразу после окончания летнего семестра во Фрейбурге, то есть как раз вовремя, в последнюю, не сознавая того, минуту – и откровенно, вызывающе сожалел, что не может вернуться к любимившемуся ему и, в той мере, в какой немецкий профессор вообще способен на человеческие чувства, или, скажем, на проявление оных, любимившему его, Григория, Генриху Риккерт, в 1915 году переехавшему, кстати, в Гейдельберг, и что придется, значит, заканчивать образование в незнакомом и чужом Петербургском университете. Никаких *немцевских* чувств он, конечно же, не

испытывал; *от Канта к Крупну* не говорил никогда; над громогласно-патриотической пошлостью, шокируя знакомых, смеялся. А все-таки именно он, Григорий, не Всеволод, дал забрать себя в армию, пошел на фронт и т.д. Здесь было еще мальчишество, пускай чуть-чуть, пускай лишь каким-то крайним краем души, радость риска, желание доказать самому себе, что он может, что не боится.

79.

Всегда помнить, взывает Двигубский к себе же (тетрадь № 3), что я пишу о замечательном, исключительном человеке. А в чем, собственно, его замечательность? его исключительность? Разумеется, не в чем-то сделанном, или, к примеру, написанном. Ничего и не было им написано, две-три статьи по истории философии, побочный продукт фрейбургских семинарских занятий. Он не осуществлен. Его «идея» (в платоновском смысле) не воплотилась. Она лишь просвечивает сквозь него. Он сам и есть своя собственная идея. Он идеален, а не реален, он возможность, а не действительность. Поэтому его как бы нет. Непонятно, кто он такой. Какой он, собственно? Он еще никакой. Отсюда изумление перед ним. Удивляется Всеволод, удивляется простой человек Степанов... Все чувствуют в нем эту возможность, эту «идею», эту громадность замысла. Он как бы «еще кто-то», не только он сам. Они смотрят на него – и вдруг верят, и затем не верят, и затем опять верят, что он «еще кто-то». Он намек на что-то, он отсылает к чему-то, к кому-то... Мороз! (вдруг восклицает в самой поздней тетради Двигубский). Мороз, конечно, Саша Морозов. Но Мороз был живой, был весь насквозь живой, Мороза я вижу, закрывая глаза, вот сейчас, так ясно, сквозь время... А Григорий не живой, он идеальный, он только идея. А все равно я люблю его как брата, *comme un frère*, все равно.

80.

Эта формула повторяется много раз. *J'aime Zenon comme un frère...*, пишет он вновь и вновь, цитируя столь много и часто читанную нами обоими Маргерит Юрсенар. Я люблю Зенона как брата. На юрсенаровского Зенона, героя ее второго большого романа *L'Oeuvre au Noir* (название, не совсем удачно переведенное на русский как «Философский камень») Григорий, разумеется, не похож; он чем-то похож, пожалуй, но только отчасти, на другого ее персонажа, Эрика, *Eric von Lhomond*, главного героя ее, еще до войны написанного, короткого романа *Le coup de grâce* (вот тоже трудно-переводимое заглавие: «Выстрел из милосердия»? «Последняя милость»?), романа,

который Двигубский на моей памяти несколько раз (всякий раз с восхищением) перечитывал; что и понятно. В конце концов, действие этого и вправду блистательного сочинения происходит не когда-нибудь и не где-нибудь, но во время все той же, или отчасти той же, гражданской войны, во время гражданской войны в Прибалтике, в Курляндии и Ливонии (*en Livonie et en Courlande...*), где местные бароны боролись с местными большевиками..., и что-то напоминающее манеру этого романа мерещилось, очевидно, Двигубскому, та самая сухая французская проза, с ее краткостью и аналитическим напряжением, которую так любил в свое время Константин Павлович, которая так и не удалась его сыну. Чем-то, еще раз, похож Григорий, думаю я теперь, на этого Эрика фон Ломонд с его приверженностью к проигранному делу, его готовностью защищать до кровавого конца погибающее прошлое, даже зная об обреченности этого прошлого, с его военной выправкой, с его беспощадностью к себе самому, жаждой действия, жаждой тех острых, иногда страшных, но все-таки, вновь и вновь, усиливающих чувство жизни, тонус жизни поднимающих впечатлений, которые дает нам действие, дают нам, точнее – действия, в смысле – военных действий, поход, схватка, война. Немножко, совсем чуть-чуть, он – вояка, чуть-чуть (снова – и снова пишет Двигубский), самым крайним краем души – искатель приключений, вечный мальчишка, неисправимый авантюрист. И что-то – даже не от героев Эрнста Юнгера есть в нем, хотя с безымянным героем и автором «Мраморных утесов» можно найти в нем сходства, но что-то, прежде всего, от самого Эрнста Юнгера есть в нем, пожалуй; и не случайно, конечно, среди собранных Двигубским и присланных мне в 2004 году вместе с рукописями фотографий есть несколько фотокарточек Юнгера, в частности та известная, воспроизведенная в первом издании «Стальных гроз» (1920; через год, следовательно, после Гришиной гибели...), на которой герой и вояка с мальчишеским, но уже опаленным огнем и сталью лицом стоит в нарочито небрежной позе, в фантастической, мехом подбитой шубе, показывающей, что война закончилась и соблюдать форму не надо, но все же так распахнутой, чтобы виден был мундир с орденами, с «Железным Крестом» и с орденом *Pour le Mérite*, высочайшей наградой прусского королевства, кайзеровской Германии. Юнгер ведь тоже – участвует, замечает в одном месте своих тетрадей Двигубский. Он сторонний наблюдатель, но он же и участник событий. Его ранили в Первой мировой войне четырнадцать раз, он вернулся с нее с двадцатью шрамами на теле... Он должен участвовать, чтобы иметь возможность смотреть, он развивает в себе позицию стороннего наблюдателя посреди стальных гроз, в самом средоточии взрывающегося мира. В окопах и под шрапнелями

обостряется в нем и чувство жизни, и способность к отстраненному созерцанию. К сознанию себя и к сознанию сознания. Трансцендентальный субъект, картезианское *cogito*. А Декарт разве не участвовал в Тридцатилетней войне? А Григорий человек декартовского склада, конечно! человек естественно картезианский... Все это, полагаю я, были для Двигубского только намеки, только подспорья фантазии, стропила воображенья. Все же я нахожу теперь среди его вырезок, карточек и открытку со знаменитым франс-хальсовским портретом Декарта, уже немолодого, длинноволосого, смотрящего загадочным в своей ясности взглядом из-под приспущенных век. Нахожу, между прочим, и открытку с портретом Карла Смелого, приписываемым Рогиру ван дер Вейдену, висящем в Берлине, где недавно я его видел; Карл Смелый, последний Бургундский герцог, всем рискнувший, все потерявший, с орденом Золотого руна на шее и деревянной рукоятью отрезанного рамой меча в странно спокойных руках, смотрит, кажется, в свою собственную, печальную и торжественную мечту; во всем его облике, в легкой одутловатости возле губ, в чуть заваленном назад подбородке тоже чувствуется то подростковое и мальчишеское, что так часто бывает в лицах у смельчаков и авантюристов, сохраняющих присутствие духа посреди кровавой сечи, на залитых кровью и озаренных славой полях проигранных ими сражений... Не будем, впрочем, и преувеличивать всех этих сходств. Все это, повторяю, лишь подспорья фантазии, отражения в очень далеких зеркалах. Григорий, каким задумал его Двигубский, явно – не Эрик, не Эрнст. Подросток, жаждущий приключений, лишь одна из его личностей (мы все состоим из многих), причем побочная, не особенно интересная ему самому. Ему и в голову не пришло бы записаться добровольцем, когда началась война, как сделал это, уже, кажется, 2 августа, Юнгер, он спокойно дождался своей очереди. Никакого пафоса войны в нем не было (я цитирую вновь П.Д.; тетрадь № 3). Да и вообще в России не было, кажется, того милитаристского безумия, какое было на Западе, то есть было, конечно, но все-таки не в такой степени, не до такого накала. Безумие пришло позже, через три года хлестнуло оно изо всех щелей и пор жизни... Все-таки он дал забрать себя, не сопротивлялся, не жаловался, пошел на фронт, даже, пожалуй, с охотой. И уж, конечно, знаменитая юношеская эскапада Юнгера, когда восемнадцатилетний гимназист бежал во Францию и записался в Иностранный легион, чтобы таким образом добраться, наконец, до вожделенной Африки, сожженной солнцем подросткового воображения – как не вспомнить тут Гумилева –, откуда был вскорости возвращен родителями через посредство германского консула, причем отец героя послал ему телеграмму с советом перед

отправкой домой не забыть все же сфотографироваться на память в полном легионерском великолепии – эскапада эта наверняка встретила бы его, Гришино, совершеннейшее, сочувственное понимание.

81.

J'aime Zenon comme un frère... Я люблю его как брата, вновь и вновь пишет Двигубский. Как старший брат – младшего. Мне хотелось бы его спасти, защитить. Избавить его от ужасной его судьбы. От которой я избавить его не могу, без которой бы и повести не было. Он, конечно, лучше меня. Лучше, умнее, добрее. Я люблю его как старший брат любит младшего брата, а все же смотрю на него снизу вверх, с восхищением, с обожанием... Этот обожающий братний взгляд снизу вверх, думаю я теперь, разбираясь в его бумагах, и побудил его, очевидно, причем очень рано, ввести в повесть Всеволода, своего, как выразался он, заместителя, отдать ему часть себя, свои летучие брови, к примеру, упоминание о которых я нахожу теперь уже в самой ранней, еще русской, картонной тетрадке, свою привычку записывать что-нибудь в черную книжку с резинкой, которую Всеволод всегда носит в кармане, как носил ее сам Двигубский (где теперь эти книжечки? что с ними стало? Светлана не отвечает...), свое отчаяние и свою долговязость. Всеволод же, как сказано в нескольких рукописях, начал смотреть на своего младшего брата этим обожающим, изумленным (снизу вверх в переносном, хотя и сверху вниз в прямом смысле...) взглядом – не сразу; в их петербургском и усадебном детстве вообще не замечал его, может быть; впервые *увидел* его в Париже, куда Григорий приехал к нему весной 1912 года, перед началом летнего семестра во Фрейбурге. Всеволод, все эти годы, почти и не думал, наверное, о своем младшем брате, которого, уезжая некогда за границу, оставил едва ли не, на его тогдашний, самоуверенный взгляд, ребенком, братиком Гришею, совершенно не интересным ему; молодой человек, представший перед ним под грязно-стеклянными сводами *Gare du Nord*, Северного вокзала, в железнодорожной, паровозной гарью пахнувшей толчее, не имел с тем, забытым, ничего, разумеется, общего. Не имел он, показалось Всеволоду, и той особенной манеры, характерной черты, которую он, Всеволод, по уже почти не сознаваемой им привычке, всегда и сразу же, если не был слишком рассеян, искал у тех, с кем впервые встречался – и которую, которых несколько, с легкостью находим мы (пишет, улыбаясь Двигубский... вижу его улыбку) у самого Всеволода, четкую, к примеру, черту его сросшихся над переносицею бровей, его манеру дергать узким плечом, теревить что-нибудь длинными пальцами... Ничего

подобного у Гриши обнаружено не было; на роль *черты* не годились, конечно, ни его темно-карие (темно-карие и все тут...) глаза, ни средне-хороший рост (скорее средний на фоне сутуловато-долговязого Всеволода), ни общее (пишет Двигубский... затем зачеркивает, затем пишет снова) ощущение подтянутой ладности, исходившее от него. Просто молодым человеком он тоже, однако, не был; чем лучше узнавал его Всеволод, тем сильнее удивлялся. Чему именно? Тому-то именно и удивлялся он в первую очередь, что и сам не мог сказать, чему же именно удивляется он... Удивление во Фрейбурге не уменьшилось, тем более выросло во время их совместного путешествия (путешествий?), в которое (или в которые?) собирался отправить их автор, путешествий и путешествия, в которых и котором я нахожу теперь (потери непоправимы...) следы и отзвуки наших собственных, Двигубского и моих, поездок и встреч. Из Фрейбурга, куда, в свою очередь, Всеволод приехал к младшему брату осенью все того же 1912 года, отправились они, на поезде, понятное дело, в Гейдельберг, где сам Всеволод, прежде чем перебраться, как впоследствии выяснилось – навсегда и на всю жизнь, в Париж, проучился некогда два или три семестра. В Гейдельберге Двигубский приводит их на тот самый мост, тогда еще подлинный, не взорванный и не построенный заново, где мы стояли с ним вместе, глядя в долину Неккара, на холмы слева и справа, гигантские, нависающие над долиной развалины замка; и точно так же цитируют они Гёльдерлина, мечтательное, меланхолично-восторженное, Григорию, как сказано в тексте, скорее, впрочем, чуждое и даже чем-то неприятное увлечение которым тогда, в предвоенной Германии, как раз начиналось. Traurigfroh wie das Herz, wenn es, sich selbst zu schön, liebend unterzugehen, in die Fluten der Zeit sich wirft... Броситься в стремнины времени, чтобы любя погибнуть... В 1912 году слова эти звучали, конечно, совсем по-другому, чем в 1998, когда мы повторяли их. В стремнины, волны и мутные потоки времени ему, Григорию, еще только предстояло броситься, к очередному изумлению Всеволода, пишет Двигубский; еще он сам не подозревал об этом, в тот осенний золотой день в Гейдельберге. А вот через семь лет, тоже осенью, возвратившись в свой безымянный маленький город, город в долине, пишет Двигубский, на другой день после своего возвращения оставшись один, вышел, вновь обходя город, на тот бревенчатый, темный, всегда чуть-чуть шатающийся и скрипящий мост через местную, низкую, в как бы добавочном, углубляющем долину овраге струившуюся и отражавшую высокое небо реку, и стоя, совершенно один, на этом длинном, так хорошо просматривавшимся, для любой шальной пули любого местного большевика, любого, вообще, охотника *пошалить* великолепно открытом мосту, вспомнил, не

вспоминая, тот, гейдельбергский, мост, die Fluten der Zeit, и как Всеволод вдруг заговорил с ним о разнице звука, о том, как по-разному звучит немецкий мост, каменный, с разнообразными его экипажами, грохочущими по булыжникам мостовой, и бревенчатый русский, по которому с гиканьем неслись когда-то (пишет Двигубский, переписывая, мне кажется, Бунина, стыдясь и тоскуя) на своих телегах зареченские слобожане, мукомолы и мясники, с тех пор, к этой ранней осени 1919 года, куда-то исчезнувшие, провалившиеся в бездну, ту же самую, разумеется, что и разверзалась теперь под ним, Григорием, когда он стоял вот так, в совершенном одиночестве, на мосту, перегнувшись через перила, склонившись над мутными потоками времени.

82.

Из Гейдельберга они должны были отправиться обратно на юг, через Карлсруэ и Баден-Баден, через тогда, в 1912 году, германский Эльзас, через Страсбург и фахверковый, как пишет Двигубский, Кольмар, во Францию, прежде всего – в Дижон, в Дижон, разумеется, где автор не мог, конечно, не подвести их к собору, не вывести их на круглую, за герцогским дворцом, площадь, не посадить их в то кафе, в котором мы с ним когда-то сидели, в котором он не раз сидел в свои дижонские годы, один. Кафе этого в 1912 году, возможно, и не было... Через Лион они едут дальше на юг, заезжают в Экс, в Ниццу и Канны, затем в Геную, в Лукку, в Ливорно. Автор то ограничивается простым перечислением, то расцветчивает их путешествие подробностями, дорожными встречами, случайными, ни о чем, разговорами в купе вагона, разговорами (пишет Двигубский в одной из, как мне кажется, относительно ранних рукописей), которых Всеволод вообще не любил, во время которых скучал, зевал и томился – и потому с удивлением (опять с удивлением, растущим, перерастая себя, удивлением...) смотрел всякий раз на Григория, когда тот, разговорившись со случайным попугчиком, с каким-нибудь владельцем виноградников, коротконогим и быстроглазым, возвращавшимся из Парижа домой, с такой легкостью пускался в рассуждения о сравнительных свойствах вин, курортов, устриц или гостиниц, как будто устрицы и гостиницы перемещались, на время разговора, в самый центр его мироздания; Всеволод, откидываясь на своем сидении, закуривая толстую папиросу, смотрел на олялякавшего винодела, на Гришу, затем в окно, на проплывавший в нем рыжий Прованс, с далекими, предположим, очертаниями той благословенной горы, которую (пишет Двигубский) всего за несколько лет до их путешествия Сезанн рисовал так настойчиво, как будто стремясь подойти к ней все ближе, приближаясь и приближаясь к ней, вновь и вновь, - смотрел,

удивляясь всему этому, и горе, и рыжей равнине, по которой тащился поезд, пыхтел паровоз, и как если бы то удивление, которое он, Всеволод, все острее чувствовал, глядя на Гришу, сообщалось и горе, и равнине, переходило с Григория на гору, даже на винодела... Наш маршрут 2001 года, проделанный в обратном направлении, приводит их, в конце концов, в опустевший, пансионно-курортный, прозрачно-солнечный городишко, в двух, кажется, вариантах, называемый Кастильоне, в остальных, поскольку курортность Кастильоне в 1912 году сомнительна, не называемый никак, но для меня всякий раз узнаваемый, с молотом и мысом, крепостью на холме и воздушными очертаниями какого-то далекого гористого острова в притихшем, по-осеннему успокоенном море; городишко, пишет Двигубский в одной из своих рукописей, где прожили они полторы недели, в заброшенном, некогда роскошном отеле, от которого каменная, усаженная кипарисами лестница вела прямо к морю. К морю-то им и хотелось, всегда, по крайней мере – Всеволоду, хотелось, конечно же, к морю. Новалис неправ, говорил он, все дороги ведут не домой, к морю ведут они. Ты так не думаешь, говорил Гриша, обегая долговязого Всеволода, со свойственной ему нескладной неторопливостью спускавшегося по выбитым, еще прохладным в тени ступенькам. Ты сам так не думаешь... Выйдя на пляж, сидели они в плетеные, услужливым, наглоглазым, вертлявым гостиничным кельнером тут же при их появлении выносимые кресла; Всеволод, перекидывая длинную, тощую, остроколенную, ногу через еще более острое колено другой, закуривая, вспоминая Бодлера (*homme libre, toujours tu chériras la mer...*) смотрел с не покидавшем его, еще и еще раз, изумлением на Гришу, тут же вновь, бывало, встававшего, подходившего к самой воде, выбиравшего, среди прочих, какой-нибудь плоский, легкий, но все же не самый легкий камушек и, пару раз подбросив его в руке, посмотрев на него, как будто простившись с ним, пускавшего его отскакивать от чистой глади по-осеннему спокойного моря (*calme plat, grand miroir de ton désespoir*, думал Всеволод), затем пускавшего следующий, в этом пускании превращавшегося в *мальчишку*; Григорий, действительно, ни о чем в такие мгновения не думая, но, как это бывало ему свойственно, забывая настоящее и проваливаясь, соответственно, в прошлое, в им, Гришей, как раз не забытое детство, ощущая его всегда в себе, вокруг и повсюду, пускал эти плоские и гладкие камушки, с их щербинками, впадинками, с их как бы отдельным лунным ландшафтом, никакого отношения не имеющим к нам и всей нашей жизни, с таким сосредоточенным и веселым вниманием подпрыгивать по воде, как если бы (думал Всеволод, наблюдая за ним из своего кресла), он сам, Гриша, был ближе к камням, чем к людям, был частью

этого лунного, каменного ландшафта, персонажем внечеловеческой драмы, как если бы всякая связь пресекалась вдруг между ним и миром, Всеволодом, гостиницей, кельнером, цивилизацией, плетеными креслами, или той (пишет Двигубский) французской дамой, с которой познакомились она на другой день по приезде и которая, со своими двумя испуганными детьми и пышногрудой бонной выходя, если не было ветра, на пляж, располагалась в плетеном кресле, перекладывая то так, то этак принесенные с собою предметы, зонтик, книгу, лорнет. Девочке было лет восемь, мальчику, наверное, семь. Подбежав к воде, замирали они недалеко от Григория, не решаясь к нему приблизиться, не в силах от него оторваться, глядя на него с тем же, казалось Всеволоду, изумлением, с каким он сам, Всеволод, смотрел на него из кресла, стряхивая пепел, вспоминая Бодлера и понемногу втягиваясь в разговор с француженкой, не без кокетства сообщавшей ему, что ее муж, *mon pauvre mari*, уже скоро два года, как оставил сей бранный мир и ее одну, *toute seule*, в этом мире. Она покрывала пледом колени, смотрела на море, смотрела на свои тонкие руки в браслетах, раскрывала и закрывала книгу, снова принималась устраиваться. Солнце делалось все сильнее, грубые итальянские голоса слышались откуда-то с берега, одинокая чайка шла по самой кромке, отшатываясь от тихо плескавших волн, две длинные лодки беззвучно двигались к острову. Григорий, побросав свои камушки, к не прекращавшемуся удивлению Всеволода, умиленному удивлению француженки, вступал все-таки, приседая на корточки, в разговор с поначалу дичившимися его, с каждым днем все сильней привыкавшими к нему детьми, всегда почему-то испуганными, *toujours un peu effrayés*, сама не знаю, почему это так, хотя я, казалось бы, все, все, *mais tout*, для них делаю (говорила француженка Всеволоду), терявшими свой испуг, в конце тех полутора недель, которые они, Всеволод и Григорий, прожили в Кастильоне (или не Кастильоне), уже только к нему и бежавшими, учившимися у него пусканию все тех же, плоских, лунных, холодных, в тугих детских ладонях так быстро согревавшихся камушков, лопотавшими с ним на их общем, уже не французском, никому, кроме них, не понятном, конечно же, языке.

83.

Замечательно, что Всеволода, которому он дал так много от себя самого, Двигубский все-таки не сделал историком. Историком, очевидно, должен был быть их, Григория и Всеволода, отец, в остальном похожий, как мне кажется, на Константина Павловича Двигубского – в той мере, в какой он вообще может быть похож на кого-нибудь, этот

смутный образ, так и оставшийся ненаписанным, невоплощенным. То же относится и к матери героя, едва уловимой тенью мелькающей в двух или трех придаточных предложениях; то же, по сути, и к Вере (Лизе?), старшей сестре Григория, младшей Всеволода; и к какому-то безымянному дяде, затерянному в разрозненных рукописях. Только бабушка героя, тоже, надо полагать, списанная с *grande-mère* автора, обретает, причем, если я правильно понимаю теперь его замысел, далеко не сразу, но скорее в поздних частях повести, уже почти под занавес, живые контуры, осязаемые черты; бабушка – и вот, значит, этот Всеволод, с которым, как мы видели, автор вновь и вновь Григория своего сравнивает, биографию которого он продумывает не менее, или, может быть, лишь чуть менее тщательно, чем биографию его младшего брата. Не сделав его историком, он отправляет его изучать – в одной версии историю искусств, в другой романскую филологию, в остальных неизвестно что – сначала в Гейдельберг, затем, через семестр или два семестра, в Сорбонну, где он очень быстро превращается в русского парижанина, каковым на всю жизнь и остается. Всеволод родился в 1889 году, пишет Двигубский (тетрадь №2); в 1905 году ему шестнадцать лет; он гимназист, сочувствующий, понятное дело, восставшим рабочим, борцам за народное дело, низвергателям самодержавия, героям подполья. В одном из вариантов Двигубский записывает его прямо-таки в Тенишевское училище, по следам двух любимых авторов; тут же, отдадим ему должное, отбрасывает эту вздорную мысль. Между тем, сам выбор университетов отсылает все-таки к биографии Мандельштама, спроваженного, как известно, испуганными родителями учиться в Европу от революционного греха подальше. Революционность Всеволода в Европе тоже проходит довольно быстро – что не помешало ему (цитирую по рукописи 2001-2002 года), когда в Париже объявился вдруг *товарищ Сергей*, как раз тогда бежавший за границу из очередной ссылки, с ним сблизиться, почти подружиться, пуститься вдруг, слава Богу ненадолго, во все парижские тяжкие. Ко времени Гришиного приезда во Фрейбург все это уже в прошлом; тем отвратительнее Всеволоду внезапное появление *товарища Сергея* и во Фрейбурге тоже, его знакомство с Григорием, вечер, проведенный ими вдвоем в ресторане... В 1914 году Всеволод, как и Григорий, возвращается, конечно, в Россию; слабая грудь, плоскостопие и отцовские связи спасают его армии. Он осознает себя писателем очень рано; об его сочинениях не узнаем мы, впрочем, почти ничего. По-видимому, соблазн ввести его в круг знаменитых современников, привести его на «Башню», в «Религиозно-философские собрания», познакомить с Мережковским и Гиппиус, с Андреем Белым и Блоком был довольно силен; вновь и вновь, в разных

тетрадах, встречаются рассуждения о том, что Всеволод – ровесник Ахматовой, Всеволод мог встречаться с Мандельштамом в «Бродячей собаке», и т.д. в том же духе. Полагаю, что если бы повесть была написана, дело свелось бы к двум или трем коротким предложениям, быстрым упоминаниям, небрежным, или по видимости небрежным, намекам. Важно вот что (замечает он; тетрадь № 2): Всеволод связан с «Серебряным веком», Григорий вообще никак; Григорий живет еще как бы в до-модернистскую, до-символистскую эпоху... Революция застаёт Всеволода в Петрограде; «Февраль» вдохновляет его (Григория, на фронте, ни на день, ни на час...); «Октябрь» повергает в отчаяние. Бежать ему удастся только в 1919 году, испытав все прелести военного коммунизма, гражданской войны, петлюровского Киева, освобожденной и снова занятой большевиками Одессы; путанные и противоречивые сведения о Гришиной гибели доходят до него уже за границей. Он будет потом всю жизнь о ней думать, пишет Двигубский в одной из своих тетрадей, всю жизнь пытаться представить ее себе. Он этого еще не знает, подплывая к Стамбулу... Сам же Двигубский не раз, мне кажется, пытался представить себе это – будущее, эту будущую жизнь Всеволода, за гранью действия, за рамками повести, долгую жизнь, которую он дарует ему. Всеволод, в самом деле, мог ведь дожить до 1966 года, как Ахматова, до 1972, как Адамович. В 1972 году мне было четырнадцать лет (пишет Двигубский в последней шестой тетради), я отказывался стричься из ненависти к советской школе; в мае 1972 года, в седьмом классе, как хорошо я помню это, когда заболела химичка, Мороз, вставши у доски, читал Гумилева, оглядываясь на дверь, не зайдет ли кто из... предложение здесь обрывается. Облака в окне, гудение города, тепло, первый шмель, залетающий в класс, тополиный пух, счастье, Мороз живой, никто еще не знает, как все... и это предложение обрывается тоже. Всеволод (на следующей странице пишет П.Д.) мог бы стать героем какой-то совсем другой книги. Книги, которую никогда я, конечно, не напишу.

84.

Собственно действие, как уже сказано, настоящее время повести, занимает лишь несколько дней. Григорий входит в город, вместе с наступающими войсками; испрашивает себе отпуск, ему причитающийся; войска, на другой день, вместе с обеспокоенным и огорченным Степановым, уходят дальше; Григорий, в городе, остается. На этот другой день появляются побочные персонажи, в разных рукописях разные и по-разному. Второй день действия – дефиле побочных персонажей (пишет сам

Двигубский; тетрадь № 5). Что он сам очень мало готов был поверить в этих персонажей, видно по его записи уже в самой первой, русской тетради. Персонажи – маски, пишет он. Персонажи – странные существа, сотканные из слов. Неужели вы верите в эту ходячую схему с усиками? В эту абстракцию с пышным бюстом? Блажен кто верует, тепло ему на свете... Появляется, так или иначе, хозяин гостиницы, лучшей гостиницы города на Елизаветинской улице, собственно – единственной порядочной гостиницы города, бывшей Дворянской, где Григорий снимает (тот же самый, с тем же балдахинном над той же кроватью) номер, в котором он останавливался когда-то, пишет Двигубский, приезжая в город на свидания с Лидией... Хозяин этот, Иван Людвигович Губер, советует ему немедленно, *aber sofort und ohne nachzudenken*, не раздумывая и сейчас же, ехать на юг, в тыл, в Ростов, ни в коем случае здесь не оставаться, бежать. А вы, Иван Людвигович? А мне уже все равно, отвечает тот, глядя на Гришу светлыми, усталыми, почти прозрачными, отчаянными глазами... Появляется, в ресторане, куда Двигубский отправляет своего героя завтракать, вертлявый, с проступавшей на щеках небритостью половой, сообщающий Григорию, что ресторан под совдепами переименован был в «Столовую № 1 им. Коминтерна», а добродушнейший, необъятный, с тройным подбородком и ямочками на щеках, всегда пыхтевший, всегда улыбавшийся хозяин заведения расстрелян, в числе прочих взятых большевиками заложников. Дефилируют еще персонажи, присаживаясь за его столик; бывший, к примеру, директор бывшего местного отделения Азиатского банка, член городской думы эпохи Временного правительства, собирающейся вновь, как это по большей части и происходило, замечает автор, в освобождаемых белыми городах, предлагающий Григорию как человеку в городе известному и вообще как представителю Добрармии, возглавить отряд самообороны, составляемый из студентов, гимназистов, пожарных; Григорий отказывается. В одной из рукописей разговор с ним, получающим в этой рукописи имя и облик, бородку и узко посаженные, неискренние глаза, занимает около семи страниц, в другой сокращается до нескольких фраз. Здесь же, в ресторане, а в других вариантах еще раньше, едва лишь Григорий остается один на Соборной (горбатой, безмерной, за себя саму заваливающейся) площади (проводя взглядом уходящие дальше на север, вместе с огорченным Степановым, войска), появляется местный журналист, даже, в некотором роде, писатель, выдающий себя за Всеволодова, в прошлом, приятеля, рассуждающий об оргийности, стихийности и соборности, каковым рассуждениям Двигубский отводит, опять-таки, в одной из рукописей несколько, наскоро, как мне кажется, набросанных им страниц, заодно рисуя и портрет

рассуждающего, в этом варианте повести называемого почему-то Ванькой, получающего фамилию, почему-то, Дукельский, стареющего молодого человека с лосиным профилем, в крагах и со стеклом в руке. А знаете, кто всем заправлял здесь? Прялков (в другой рукописи – Углов), вам известный, *товарищ Сергей*, как он себя теперь называет. Чека была вот здесь, на Соборной, вон там, вон, видите, те окна в подвале. Хотите зайдём? Ну, как хотите. Здесь не расстреливали. Расстреливали в тюрьме, за стеною. А что он сам делал при советах? Работал. В отделе народного просвещения. Вы что-нибудь имеете против народного просвещения? Ну, вот и отлично.

85.

Он остается в городе, пишет Двигубский (тетрадь №3). Это единственно возможное для него решение, он не может не остаться. Но как только решение выполнено, оно тут же утрачивает свою несомненность, свою непреложность. Все повторяется, те же дома, те же улицы, вдруг как будто лишённые смысла. То, что вчера еще казалось единственно-возможным, становится непонятным для него самого. Что, собственно, я здесь делаю? спрашивает он себя. Вдруг выясняется, что он все уже видел, везде уже побывал, а чего не видел, то с легкостью мог бы представить себе, домыслить, довоспомнить. Опять Елизаветинская улица, гостиница, лавки, городская, по-прежнему закрытая библиотека, вокзал, блеск рельсов, пустыри за дебаркадером, паровозная гарь... Зачем все это? Просто взять и уехать... Он не уехал (я цитирую снова по рукописи), он пошел, опять, Садовыми улицами, прошел мимо того дома, старого, серого, по виду не дворянского, но какого-то скорее купеческого, за высоким забором, где, у таинственной своей тетки, ни разу им не виденной, жила некогда Лидия. Лидия, героиня нашей повести, героиня его романа. Несостоявшегося романа, ненаписанной повести... Городской сад повторился тоже (по рукописи цитирую дальше), повторилась раковина, повторились и раскоряки. Он снова сел на одну из них, отчаяние, ему не свойственное, вновь охватило его. Вот так и сиди здесь, вот так и сиди... Были, по-прежнему, в прозрачном небе неподвижные липы, освещенные солнцем, в переборах быстрых теней. Шаги послышались из-за раковины, шаги, по гравию, приближавшиеся к нему. То действие, которое готовилось накануне начаться, сегодня, наконец, началось. Товарищ Сергей, появившись из-за раковины, подошел по гравию, крадучись, к нему, Григорию, сидевшему на раскоряке. Так внезапно, так ниоткуда... Он был в куце каком-то, с чужого плеча, пиджачишке, совершенно невозможном на его грузной фигуре, в

широких, с лампасами – и тоже каких-то невозможных штанах, в лакированных бальных туфельках, крошечных и блестящих. Они смотрели друг на друга, молча, минуту; *товарищ Сергей*, остановившись в двух шагах от Григория, засунув руку в оттопыренный (револьвером?) карман пиджачишки, такой же тяжелый, громоздкий, с тяжеленным, по-прежнему, подбородком и ясно видимым снизу, за те годы, что Григорий с ним не встречался, наметившимся вторым, каким-то нежным, жирно-розовым – не подбородком, но подбородочком, совершенно невозможным, опять-таки, на его, за эти годы еще более заматеревшем, грузно-грубом, с колючими и умными глазами, лице; Гриша, сидя по-прежнему на своей раскоряке, сложив руки, ладонями книзу, на колене перекинутой через ногу ноги, в ясном, горестном, удивленно-неудивленном спокойствии. Вы ведь, я так полагаю, говорит *товарищ Сергей*, не побежите доносить на меня... Нет, конечно, не побежите... (Здесь он садится, конечно, на соседнюю раскоряку, раскоряка, под его тяжестью, вскрикивает). А я, знаете ли, стоял там, за раковиной и... Что же? И совсем, знаете ли, нетрудно было бы вас, Григорий... Константинович (пишет Двигубский, наделяя героя отчеством, своим собственным отчеством, между прочим; а какое же и может быть отчество у лучшего, младшего брата?) совсем нетрудно было бы вас, Григорий Константинович, оттуда... того... С ухмылкой, понятное дело, похлопывая рукой по оттопыренному карману перекошенного револьверной тяжестью, с трудом сходявшегося на круглом животе пиджачишки; поглядывая на Гришу из-под клокастых бровей колкими, сощуренными глазами. Почему ж я не выстрелил? Чувство чести (расхохотавшись, ухая хохотом). Совесть, знаете ли, простая порядочность. Мы, революционеры, из-за угла не стреляем. Все-таки батюшка ваш мне помог, и с братцем вашим мы были приятели... Но какая сцена, а? (продолжая хлопать по карману рукой с черными отчетливыми волосками на толстых, коротких пальцах. Ногти при этом ухоженные, ровные, чистые. *Товарищ Сергей*, заметив его взгляд, поднял руку, поднес ее поближе к лицу, поднес и левую, с перстнем на пальце, сравнил их друг с другом, полюбовался обеими, помолчал). Нет-с, какова сцена, ваше благородие, а? Сидим здесь на солнышке, мирно беседуя. А попадись я вашим, да и вы нашим, скрывать не стану, и... все... хлоп, счастливо оставаться. Он посмотрел снова на руки, сравнил левую с правой; перстень на левой, на безымянном пальце, был тонкий, благородной формы, с черным маленьким камнем; две пухлые складки окружали его, топорщась сердитыми волосками; два кольца вокруг перстня. Кой черт, позвольте узнать, занес вас в славные ряды защитников... единой и неделимой? Долг и прочее? Конечно, конечно. Доблесть? Еще бы. Но вы ведь не

можете не понимать, что дело ваше проиграно. Или все-таки надеетесь дойти до Москвы? Неужели надеетесь? Хотели бы надеяться? Звучит не слишком-то убедительно... а?.. ваше благородие? Надеяться вам не на что, и вы это знаете. Колчака мы уже погнали, вас тоже погоним. И вот спрашивается... Растягивая, на сей раз, а в этом *спрашивается*, изображая кого-то... Вот и спрашивается, как можете вы, умнейший человек, философ... ведь учились у Виндельбанда? Нет? Неважно. У Наторпа... Тоже нет? Все равно... Но как можете вы, философ и умнейший человек, участвовать в столь очевидно безнадежном деле? Классовое сознание? Конечно. Но неужели классовое сознание до такой степени затмевает в вас сознание просто? По марксистской теории вроде бы и должно затмевать? Э, бросьте, не стройте из себя дурачка. Ведь сами знаете, что совсем не должно. Классовое сознание преодолимо, и кому как не вам... Он закурил, наконец; достал из того же, но по-прежнему оттопыренного кармана золотой, плоский, с изумрудной кнопкой портсигар (о каких мечтают бедные гимназисты...); проследил, прежде чем открыть его, за игрой света на его матовых и блестящих *полосках*; одобрил; открыл. Так что классовое сознание мы оставим (подводя итог, выпуская дым из ноздрей). Что еще? Красота поражения? La cause perdue? Бороться до последнего вздоха за дело, заведомо проигранное? Умереть с честью? Да, это красиво, не отрицаю. А все-таки вы не тот человек, чтобы положить свою драгоценную жизнь на алтарь всех этих красотостей... Красота, конечно, великая вещь, но зачем же стулья ломать? (тряся животом, треща раскорякой). История за нас, Григорий Константинович (меняя тон, с сердечной серьезностью). История, между прочим, не оставляет выбора. Ни вам, ни мне, никому. Только не думайте, что я хочу переманить вас на нашу сторону. Другое дело, конечно... если бы вы решились, я мог бы и помочь вам... искупить вашу (снова ухнув...) вину перед трудящимся классом. Подумайте, Григорий Константинович, история... о чем, помнится, мы с вами имели удовольствие беседовать еще в чудном городе Фрейбурге... И вот здесь происходит самое поразительное, конечно, пишет Двигубский, переходя почему-то в настоящее время, от эпоса к драме... Здесь он замечает вдруг, что *товарищ Сергей*, из-под клокастых бровей, смотрит на него тем же самым, совершенно тем же, или почти тем же, удивленным и даже недоумевающим – как если бы смотрящий спрашивал себя, правда ли видит он то, что видит, – осторожно-изумленной заботы исполненным взглядом, каким смотрел на него, бывало, Степанов, каким смотрел на него, бывало, и Всеволод, тем же самым, каким Всеволод *начал* смотреть на него во Фрейбурге, перед войною, куда *товарищ Сергей* в ту пору и появился, чтобы с Всеволодом увидеться и

переговорить, добиваясь от него, очевидно, каких-то писем, каких-то рекомендаций. Вот этим-то, изумленно-внимательным, как будто желавшим его, Григория, от чего-то предостеречь, уберечь от чего-то взглядом, смотрел на него теперь, к его, собственному, Гришиному, немалому удивлению, даже, пожалуй, растерянности, постаревший, потяжелевший, обрюзгший за годы, прошедшие с их фрейбургской встречи, *товарищ Сергей*, скрипя раскорякой, тряся подбородком. И как если бы сам он, *товарищ Сергей*, вдруг поймал в себе это осторожно-бережное удивление – и удивился ему, в свою очередь, недоумение и злость вдруг проступили в его лице, взгляд снова сделался ледяным, колючим, железным. Он раздавил окурок носком лакированной туфельки, внимательно, тщательно, беспощадно. Берегите себя, Григорий Константинович, мой совет вам, берегите себя. Ваши-то все ушли, а мы-то все здесь, знаете ли (ухнув, похлопав по карману), здесь, ждем... И так же внезапно, как появился, исчез он, пошел, снова, к сцене, растворился за раковиной. Ничего как будто и не было, липы, солнце, переборы быстрых теней.

86.

Товарищ Сергей, партийная кличка. Почему именно Сергей, я не знаю, Двигубский об этом не пишет. Он много раз, мне кажется, пытался придумать ему настоящее имя, какое-нибудь мещански-простецкое (Иван Прямов, Филипп Круглов, однажды даже Артемий Углов), отбрасывая их все, оставаясь один на один с рокочущим псевдонимом. А у них и не было никаких настоящих имен (тетрадь №3). Бронштейн, Скрябин, Апфельбаум и Розенфельд... Розенкранц и Гильденстерн. Что за вздор, честное слово. Их псевдонимы и есть настоящие их имена. Они никогда людьми не были, всегда были масками. Его биография? Его биографию Двигубский тоже продумывал довольно тщательно... и в конце концов, довольно безуспешно; в тетрадях я нахожу теперь длинные списки большевиков и левых эсеров, в основном – чекистов, с присовокуплением биографических данных разного рода. Происхождение этих персонажей, как мне кажется, не в последнюю очередь его занимало. Он сын священника, сын учителя, сын нотариуса? Он из купцов, из мещан, из мелких дворян? Автор, кажется мне, так до конца и не сделал свой выбор. Но важно, что он – местный, пишет Двигубский, что он из этого города, что его здесь все знают. Нет, этого мало, пишет Двигубский уже во второй тетради. Как-то отец его должен быть связан с отцом Григория, вот что! Его отец – управляющий именем? Его отец – врач сельской больницы, построенной на деньги Гришиного отца? Все это уже очень сильно

отзывается, конечно, Набоковым. Читал ли он «Круг», побочный продукт бессмертного «Дара»? Там был учитель, и была школа. Школа Двигубскому нужна была для другого, другой...; сделать товарища Сергея (Углова, Прямова...) сыном сельского учителя он, конечно, не мог. А почему бы, пишет П.Д., отчаиваясь, не сделать его просто-напросто сыном священника, в память обо всех Чернышевских? Отец Гришу крестил, сын Гришу убьет... Он отбрасывает, похоже, и эту мысль, потому, может быть, что в приводимых им же самим списках нет, если я ничего не проглядел, ни одного чекиста из духовного звания (а вот дети учителей представлены как раз в немалом количестве). В одной из поздних записей появляется сын ссыльного народовольца, осевшего некогда в городе, окруженного почтительным вниманием местной интеллигенции; мысль, которую автор тоже, тут же, отбрасывает, пугаясь, понятное дело, отмечаемого им самим сходства с «Бесами». Этих сходств и так предостаточно. Ну да, Степан Трофимович и Петруша, пишет он, все это уже было, все это уже было... Послать бы все к черту... Я и послал бы, пишет он (летающим почерком, падающим в полете), давно послал бы, если бы не Григорий... Наша мюнхенская встреча с Виком произвела, похоже, на Двигубского впечатление сильнейшее; в поздних тетрадях и рукописях внешность товарища Сергея, не изменяясь, как будто проясняется для самого автора; появляется, в придачу ко второму подбородку, еще один, третий, а то и два (третий, четвертый); Двигубский делает его, пожалуй, еще более отгалкивающим и обрюзгшим, чем был в Мюнхене Вик, сквозь расплывшийся облик которого все-таки, пускай совсем втайне, просвечивал бывший красавчик. Воспоминания о Вике накладывались, похоже, у П.Д. на облик Азефа, фотография которого (та известная, где великий провокатор стоит рядом со своей кафешантанной толстой красавицей в воде, в комическом купальном костюме начала века, оттопырив нижнюю губу и выпятив круглое брюхо), не знаю откуда вырезанная, соседствует в его бумагах с изображениями Белы Куна, С.А. Саенко (коменданта Харьковской ЧеКи и бывшего каторжника; в мохнатой шапке, с винтовкой наперевес), лохматого Петерса, Ягоды с черными сопельками усиков под ноздрями. Меня всегда поражала неопрятность этих людей (не всех, но многих), их замызганные рубашки, их чудовищные манеры, их чавкание за столом. Неопрятность, особенно отвратительная тем, что сочетается обыкновенно с какой-то мерзкой изысканностью деталей, с какими-нибудь особенными, действительно, усиками, запонками, ногтями. Единственный, пожалуй, персонаж моей юности, про которого я *точно* знал, что он стукач и с которым мне пришлось как-то просидеть часа два за одним поганым застольем, прежде чем нашелся благовидный предлог смыться,

плевался, чавкал, чуть не хрюкал намеренно, угрюмо и радостно, с полным сознанием своей силы и власти; под ногтями была у него двухнедельная грязь; на шее волдырь; пуговицы на рукаве не хватало; с волос слетала ядовитая перхоть. А галстучек был при этом подобран с умыслом, с любовью и шиком, галстучек такой тоненький, черненький, каких тогда не носили, и с золотой, рубинчиком завершавшейся стрелкой, прижимавшей друг к другу узкий и совсем узкий галстучный кончик... Через двадцать лет я встретил его двойника, с той же перхотью на плечах, с теми же засаленными рукавами рубашки и с почти таким же узеньким галстучком в облике немецкого адвоката, после какой-то общественно-полезной, глупейшей лекции, когда публика уже готова разойтись по домам, но зачем-то еще стоит и скучает с бокалом вина в одной и соленым крендельком в другой руке, все пытавшегося, с милейшей, сдобной, слоистой улыбкой, добиться от меня, что я, собственно, делаю *у них в Германии* и не собираюсь ли, наконец, восвосяи; адвокат, сказали мне после, был известный неонацист; на тугой сардельке безымянного пальца тоже сидел у него перстень с печаткой.

87.

Сколько ему лет (возвращаюсь к тетрадам Двигубского)? Тридцать пять, сорок... Он родился в начале восьмидесятых годов; для простоты допустим в 1884 году, то есть он на пять лет старше Всеволода, на десять лет старше Григория. Эти пять лет решающие – в 1905 году ему двадцать один год, он участвует в революции. Первая ссылка, побег, экспроприации, как стыдливо называли они грабеж, рабочие кружки, подпольная типография, заграница. Путь революционера. В 1909 году он оказывается в Париже. Ему двадцать пять лет, Всеволоду двадцать. Нет, пускай Всеволоду девятнадцать, даже только что исполнилось девятнадцать, пускай это будет 1908 год, например. Товарищ Сергей разыскивает Всеволода («земляки»). Давняя связь между ними, Всеволод помнит товарища Сергея (тогда еще Углова, Прямова...) студентом, которому его, Всеволода, отец, помог выпутаться из первой «истории». Всеволод к восьмому и девятому году уже излечился от революционного наваждения; Всеволод изучает историю искусств и собирается стать писателем. А все же этот товарищ Сергей интересен ему, влечет его. Влечет Всеволода как писателя, как будущего писателя – или так, по крайней мере, он говорит себе, пытается себя убедить. На самом деле, это не так. На самом деле, Всеволод подпал под эти черные чары, соблазнился ими, пусть и ненадолго... Тому двадцать пять, он даже еще не очень толстый, он опален подпольем, он рассказывает вещи, для Всеволода почти мифологические, о побегах, о нравах

пересыльной тюрьмы, о спорах ссыльных в Царевококшайске. Вся жизнь у него впереди. Интересная, опасная жизнь. Он и революционер, и бон-виван. Вот сочетание, Всеволода соблазвившее. Он предается партийным полемикам днем и прелестям публичных домов вечерами. В жизни Всеволода начинается, как начинается она в любой жизни, только в моей ее не было, или почти не было (пишет Двигубский), эпоха разврата, разврата образца 1908 года, того замечательного декадентского разврата, который мы себе почти не можем представить, через сто лет. Хотя что, собственно, было в нем замечательного? Ну, бляди и бляди. Парижские дорогие бляди, сценки из Тулуз-Лотрека, чулки, и шляпы, и длинные папиросы в длинном мундштуке. «До самого локтя перчатки». Опиум. Отдельные кабинеты. На все это нужны деньги. У него денег очень много, у этого товарища Сергея, непонятно откуда. То ли он партийную кассу растрачивает, как Парвус, то ли он двойной агент, как Азеф. А Всеволоду вот это, может, и нравится. Ему нравится, что дело здесь нечисто. Ни с какой точки зрения. Ни с революционной, ни просто с человеческой, «обывательской». Разврат, и грязь, и опасность. А вместе с тем вызов, воля и злость. Он чувствует себя победителем истории, этот товарищ Сергей. Сейчас мы в подполье, но послезавтра мир будет наш. Поэтому мы уже сейчас живем полной жизнью, такой жизнью, какая вам и не снилась. Поэтому все озарено светом будущего, даже поход к блядям на Пигале. Никаких связей, кроме партийных, у него нет. Ни среди русских в Париже, ни, того менее, среди собственно парижан. А ему хотелось бы. Он нужен Всеволоду как проводник по кругам порока, а Всеволод ему как Вергилий в совсем других кругах (если не рай, то чистилище...). Есть легкая достоевщина, разумеется, в отношениях этого мещанского сынка с барчуком. Ну, как же, вы вот... аристократы, а мы люди простые, манерам не обучены. Так что вы уж лучше не знакомьте меня, Всеволод Константинович, ни с графиней Паниной, ни с маркизом де Шуазель. А то я возьму и какую-нибудь гадость сделаю в ихней гостиной, рыгну али пукну... хе-хе. Да у меня и перчаток-то нет подходящих, о фраке уж умолчим. А на самом деле только и жаждет, чтобы Всеволод его познакомил. Всеволод представляет его, конечно, как значительную личность, крупного подпольщика, только что из России, инкогнито. Тоже своего рода пропуск в высшее общество. Еще бы, мы же все за революцию. Дамы заинтригованы, господа подкручивают усы. Да-с, приятные господа, воспитанные. А дамы... дамы... где уж нам, обывателям... сплошные тебе позументы, декольте... закачаешься. А качаться все ж таки они будут, да-с, на фонарях, на фонариках. Вот этой вчерашней графинюшке горлышко-то мы перережем. А что вы думаете, кстати, о Пшибышевском? Ему

Всеволод еще нужен как Вергилий по современной («декадентской») литературе. Он же ничего не читал, кроме «Эрфуртской программы». Но теперь он «образовывается», хочет быть *au courant*. Усердие самоучки. Каждый день по два часа. Программа чтения. В ссылке была другая программа: Маркс, Каутский, Маркс, Плеханов, Энгельс, Каутский, Маркс. Теперь: Пшибышевский, Стриндберг, Арцыбашев, Бальмонт, Брюсов, Стриндберг, Метерлинк, Арцыбашев, Мережковский, Стриндберг, Анри де Ренье. Всеволод видит эти списки; старается удержаться от смеха. Есть угрюмое упорство в этом, как во всем, что делает Углов и Прялков. Даже в пьянстве его и разврате есть какое-то упорство. Злость. Как если бы он и здесь добивался какой-то цели. Непонятно только какой. Какая здесь может быть цель, думает Всеволод, это же сама бесцельность, это же *так*. Но у товарища Сергея ничего не бывает *так*, у товарища Сергея все со всем связано, все кажется частью какого-то одного большого плана. Никакого плана, конечно, нет, а Всеволоду все кажется, что есть, что все как-то зловеще осмысленно, как-то чудовищно не случайно... Дело заканчивается внезапным отъездом светлой личности из Парижа, исчезновением, как будто его и не было. Дело, для Всеволода, заканчивается мучительными визитами к венерологу (на рю Монмартр; дорогому, грубому и веселому). Остаются воспоминания, которых он еще долго потом стыдится, мерзкий, горький привкус, от которого долго не может избавиться, который отравляет для него все, что он делает, даже все, что он думает. Запах цинковой мази изо всех щелей жизни.

88.

Тем большую ярость, как уже говорилось, вызывает у Всеволода внезапное, через четыре года, появление товарища Сергея во Фрейбурге, его знакомство и встреча с Григорием. Сам Двигубский ездил во Фрейбург, если я ничего не путаю, в дижонские свои годы, благо это недалеко, уже тогда, наверное, предполагая поселить там героя еще не впавшей в отчаяние повести, а вместе с тем отыскивая следы собственного своего дедушки, отца Константина Павловича, учившегося там – не на философском, конечно, но на естественно-научном факультете, в то же самое время, перед первой мировой войною. Кое-какие следы, действительно, отыскались – чтобы снова потеряться с тех пор. Я знаю, что он знал, на какой улице жил его дедушка; но сам не знаю теперь, и уже вряд ли узнаю когда-нибудь, на какой. Своего героя, Григория, поселяет он, как бы то ни было, почти рядом со знаменитым фрейбургским собором, каждое утро будившим его своим звоном, в тихой и узкой улочке, по которой, как

почти по всем старым фрейбургским улицам (пишет Двигубский в рукописи 2001-2002 года) текла, между мостовою и тротуаром, по узеньком канальчику, чистая, из Шварцвальда сбегавшая в город вода, так что, разбуженный колоколами, Григорий, высовываясь в окно, слышал сменяющее медные и громовые раскаты тихое, всегда спокойное журчание этой чистой воды, дробь редких шагов по булыжнику, в рыночные дни – приглушенный соседними стенами гомон Соборной площади, с отдельными, выбивающимися из него, но все же негромкими голосами, потусторонние переговоры незримых доброжелательных собеседников; Всеволод, в конце лета, в начале осени 1912 года приехав к своему младшему брату, поселившись на другом конце той же улицы в старинной тихой гостинице, старался в гостинице этой не оставаться, но проводить как можно больше времени у брата, Григория, в его, Григория, по-студенчески скромной, хотя и, с не скрываемой ими точки зрения большинства русских студентов во Фрейбурге, все-таки неприлично-роскошной, непростительно-барской, потому что двухкомнатной, даже двух-с-половиной-комнатной, как сам же Григорий и выражался, квартире под крышей, с темными потолочными балками, узкими окнами, выходившими на журчащую улицу, и странным, средневековым, сводчатым сужением стен, опусканием потолка, отделявшим крошечную, как бы добавочную, рабочую комнату от гостиной и смотревшей в тихий двор спальни, – и потому, конечно, старался как можно больше времени проводить в ней, что чувствовал в этой квартире, за один семестр обжитой Григорием так, как если бы он вообще всю жизнь в ней прожил, то же самое, что чувствовал, что за границей впервые почувствовал в самом своем младшем брате, что-то такое, чего он не мог назвать, но что удивительным образом помогало ему – в частности, если не прежде всего, помогало ему, Всеволоду, пишет Двигубский (в этом единственном месте обращаясь к Всеволодовым, не сочиненным им, сочинениям...) в его, пишет Двигубский, писании, в той мучительно (злобно и горестно...) не дававшейся ему повести (названия для нее П.Д. не придумал), которую он, Всеволод, начал еще в свой первый приезд в Париж, а закончить сумел лишь после своего переезда в Париж уже окончательного, после революции, и гражданской войны, и гришиной гибели..., так удивительно помогало ему в этом писании, что он, позавтракав в гостинице, немедленно отправлялся к Григорию и, поскольку Григорий, в свою очередь, отправлялся обычно гулять и в своих попытках заманить на прогулку (туда, наверх, на Замковую Гору, во Фрейбурге видимую почти отовсюду, с ее развалинами крепости, построенной в 17 веке французами и в 18 французами же уничтоженной – чтобы она, понятное дело, не досталась германским

недругам, габсбургским врагам, – с почти дикими, по лесам и лощинам петляющими тропами и восхитительным, обостряющим взгляд и расширяющим дыхание видом на далекие, в солнечной дымке исчезающие Вогезы) – поскольку (пишет Двигубский, явно наслаждаясь нескончаемостью предложения...) в своих попытках заманить на эту свою ежедневную прогулку и Всеволода, Григорий, как правило, терпел неудачу, Всеволод, следовательно, оставался со своими рукописями один, в Гришиной и Гришиным незримым присутствием как будто преображенной квартире, с ее старинными картами, которые собирал Гриша, бюстом Шопенгауэра и гравюрой с франс-хальсовского Декарта над письменным, пустым и чистым столом.

89.

В эту-то квартиру и повадился ходить *товарищ Сергей*, нарочно приехавший во Фрейбург, чтобы встретиться с Всеволодом, упорно, с усмешливой и наглой настойчивостью добивавшийся – и в конце концов добившийся – от Всеволода каких-то рекомендательных писем, связей и адресов, не замечая, лучше – делая вид, что не замечает, Всеволодова к нему отношения, отращения... Всеволод, завидев в узком окошке тяжелой походкой, с твердокаменной решимостью подходившего к дому Прямова (Углова, Круглова), чертыхался, не открывал, просил Григория, если тот был дома, сказать Углову (Прямкову), что его, т.е. Всеволода, здесь нет, не будет, не бывает, не может быть; однажды вечером, когда Всеволода у него и вправду не было, Григорий, то ли из любопытства, то ли из чувства неловкости, он сам не знал толком, пригласил Прямова поужинать вместе с ним; тот, с наигранной и злой радостью, согласился. Поужинали они в «Золотом ангеле» на все той же площади у собора, узко-сводчатом, в доме 14-го, кажется, века расположенном ресторане, существующем в самом деле (я съездил во Фрейбург на прошлые выходные, прежде чем приняться за вот эту главу), не знаю, существовавшем ли сто лет назад; Двигубский, тоже, выходит, взявший себе на заметку этот сводчатый ресторан, разукрашенный ныне (будем надеяться, что сто лет назад их все-таки не было) репродукциями Рафаэля и позолоченными ангельскими головками, взирающими на посетителя изо всех углов, со всех подоконников, балок и перекрытий (и я так ясно представляю себе теперь, как хохотал про себя заглянувший туда П.Д. посреди этой вакханалии китча, почти уже трогательной...) – Двигубский, следовательно, все в той же рукописи 2001-2002 года, уделяет их трактирной беседе несколько, мелким почерком исписанных им страниц, богатых обведенными вставками, стрелочками, чащобами и глушью зачеркиваний. Был

голоден, пишет он о Круглове (Углове), ел жадно, причмокивая, почавкивая; видел, конечно, что Гришу это шокирует; показывал, что ему наплевать. Доев жаркое с огромной картофельной клецкой, долго, нагло водил языком по губам, по зубам, с внешней их стороны, отчего, естественно, щеки его надувались и губы выпячивались; наконец, перестав водить, отхлебнув еще пива из пузатой кружки, заговорил о *новейших течениях философии*, о феноменологии, о Бергсоне, о *наших идеалистах*; процитировал Ницше, упомянул Метерлинка, Верхарна. Давал понять, что его усилия по самообразованию не прошли даром, что и он не лыком шит, видал виды и книжки читал; дав, успокоился; заявил, что все это совершенно не нужно пролетариату, что надо дело делать, а не разговоры разговаривать; откинулся на застонавшем стуле; спросил еще пива. Григорий скучал – как всегда скучал, в общем, разговаривая с *деятелими освободительного движения*; и как всегда, пытался что-то понять в них, проникнуть куда-то по ту сторону их слишком очевидных мотивов, убогой аргументации (свинцовой ненависти к *царскому режиму*, чугунных надеж на *всеобщее счастье...*), и как всегда, думал, что ничего, может быть, и нет *по ту сторону*, никакой, может быть, и нету *той стороны*. Все же какая-то своя философия, не сводившаяся к цитатам из «Капитала», была, как выяснилось, у Прямова, Углова, если, конечно, он не только паясничал и кривлялся. Паясничал он откровенно, показывая, что – паясничает, тем самым предлагая Григорию не принимать его паясничанье за чистую, звонкую монету, но – увидеть, но – оценить, что и он, Углов, Прямов и Круглов, хотя у профессора Риккерта и не учится, семинаров по Аристотелю, лекций по Дунсу Скоту не посещает, а все-таки и он, товарищ Сергей, имеет свои собственные, дорогие ему мыслишки. Субъект, знаете ли! восклицал он, возводя очи к сводчатому потолку и поднимая жирный указательный палец к нему же. Человеческий, знаете ли, субъект тогда только сможет преодолеть исконное свое отчуждение, когда – что? – когда овладеет историей! Вот, Григорий Константинович, дорогой, вот о чем идет речь, не о ваших там трансцендентальных тонкостях, да-с. Вы думаете, говорил Прямов, упираясь тяжелыми руками в деревянный некрашенный стол, за которым они сидели, склоняясь к Григорию, обдавая его пивным жарким дыханием, вы думаете, мы, практики революции, так-таки ничего себе и не думаем? А мы думаем, думаем... В Царевококшайске найдется время подумать. Субъект, Григорий Константинович, субъект страдает! восклицал товарищ Сергей с таким видом, как будто он и был этим страдающим субъектом, взывавшим к жалости собеседника. Субъект чувствует себя объектом, объедком... Тут он, ухая голосом, расхохотался; несколько удивленных

студенческих голов повернулось в их сторону. Хорош каламбурчик, ась? Обьедком истории ощущает себя субъект. История что захочет, то с ним и делает... А он должен – что, Григорий Константинович? по Гегелю, по Гегелю, батенька! – к себе вернуться, с собой совпасть, обрести свое «у себя». Овладеть историей, преодолеть отчуждение. Так-то, милс-государь. А как можно овладеть историей, а? подскажите-ка мне, господин филозофус, вопрошал Углов, вновь откидываясь на стуле. Глаза у него были ясные, беспощадные, умные, без всякого смеха в них. Только действием, Григорий Константинович, вот как. Не sola fide, но sola actione, если оно приятней вам того-с, полатыни. Только прямым, решительным, революционным действием, сударь. Безоглядным и беспощадным действием, вот каким, Григорий вы наш Константинович. А преодолеть отчуждение... это знаете, что такое? сказать вам? (вкрадчивым шепотом). Это значит победить случайность, вот что я вам скажу. Это значит, избавиться, наконец, от поганой случайности жизни. От поганой жизни, где все всегда не так, все всегда не по-нашему. А мы сделаем так, что будет всегда по-нашему, понимаете? понимаете! О, я вижу, я вижу, я кривляюсь, я ломаюсь, но я и вправду вижу возражения ваши, ученейший вы человек. Есть, есть неотменяемая... хе-хе... контингентность партикулярного... хе-хе-хе-хе... существования... еще пива! noch ein Bier! Все слова мы и без профессора Риккерта выучили. И мне может кирпич упасть на голову (ладонью похлопал себя по макушке), и меня могут повесить (схватил себя за горло пухлой рукою), сгноить на каторге, прикончить из-за угла. Но я часть великого целого, я на столбовой дороге истории. Моя жизнь не случайна, моя смерть не случайность. А вот вас прикончат, Григорий Константинович... а вас непременно прикончат, когда *начнется*, обещаю вам, уж простите, мой драгоценнейший... прикончат вас и – что? и ничего от вас не останется. Или вы думаете, что вы можете – сами? (тут уставился он в упор на Григория). Что вы сами можете – что? Овладеть жизнью, вот что! Сами, своими силами, на свой страх и риск? Ах, нет, вы так не думаете? Он так не думает... И правильно, что не думаете. Вы думаете, что ей и овладевать-то не надо? Ну, это вы врете. Это вы лукавите со мной, мил-сударь. А меня, Прямова, на мякине не проведешь, я, Углов, насквозь вас всех вижу. Я умный. Вы же не обыватель, чтобы прожить жизнь просто так, как бог пошлет. Да вы и не верите в боженьку, не отпирайтесь. И вы, и вы, Григорий Константинович, хотите неслучайного, обязательного, великого смысла, власти над жизнью. Власти, власти, главное – власти. Или вы думаете, что вам все само собой дастся, само собой упадет с небеси? Само собой, мой светик, ничего не дается в жизни. Надо уметь брать (распуская и снова

сжимая тугую, волосатую, с короткими пальцами, руку). Братъ надо уметь, хватать, хапать. Благодати – нет! Нет, noch ein Bier! благодати. Есть только воля и власть, воля и власть. Непреклонность воли, неотменяемость воли... Это я вам по секрету говорю, шепелявил Прямок, приканчивая пятую кружку пива. По секрету говорю, потому что вы мне нравитесь, Григорий Константинович, не то что братец ваш Всеволод, зазнайка и недотрога. Ишь, важным каким стал, братец ваш! А я бы вам такого мог порассказать про него... Хорошо, не буду, бровкой не дергайте. А вы не такой, вы чистый. Вы такой еще молоденький, чистенький, бормотал Углов, отстраняясь, хмельными, вправду хмельными или наигранно хмельными, глазами всматриваясь в Григория. Такой чистенький, такой юный... Могу, кстати, помочь вам чистоту вашу утратить... хе-хе... если вы, конечно, желаете. Не желаете? Ну и правильно, и правильно, сударик мой драгоценнейший. Храните, так сказать, белизну ваших риз, позолоту крылышек ваших... пока их вам не оторвали. Оторвут, оторвут непременно-с. А слова мои попомните, да. Власть над жизнью, вот чего мы хотим. Над этой жизнью... сухой этой поганой. Жизнь... жизнь ведь это женщина, mein Herz. Это женщина, не дергайте плечиком, готовая нам отдаться. А наше дело взять ее (распуская и сжимая ладонь). Возьми ее – или останешься в дураках. В дураках и с носом, гу-гу. Глаза его сделались уже совсем хмельными, шальными, почти безумными; взгляд расплылся. Это сука, шлюха, жизнь, понимаете, да? надо взять ее и выебать, вот и все тут. Плечиком-то не дергайте, сами знаете, что я прав. Я всегда прав, я Прямок! Изнасиловать эту блядь, вот чего мы хотим. Все прочее розовые сопли, сентиментальные слюни. Вам будут всякое рассказывать, а вы не верьте. Я вам сам расскажу, когда протрезвею... а вы все равно не верьте. Вы мне сейчас верьте. Я вам сейчас правду говорю, по секрету... потому что очень уж вы мне нравитесь, не то, что братец ваш, задавала несчастный... писатель. Все врут, подлецы, все вокруг притворяются. Страданья, мать их так, трудового народа... Нет, Григорий Константинович, мы посильнее будем, нам большего надобно. И не смотрите на меня так, не смотрите, не могу я больше выносить этого чистого взгляда вашего, чтоб вам здесь провалиться. Идите просто домой, мсье Круглов, сказал на это Григорий... Всеволод, когда он рассказал ему на другой день об этом очаровательном ужине, симпатичнейшем разговоре, сдвинул брови, потемнел всем лицом, немедленно, возвратившись в гостиницу, написал все взыскиваемые Угловым и Прямоковым письма, после чего принялся торопить Григория со сдачей курсовой работы (о мастере Экхардте), чтобы уже отправиться с ним, наконец, в задуманное ими путешествие, сперва в Гейдельберг, затем обратно на юг, в Эльзас, в

Бургундию, в Прованс и так далее..., как будто стремясь увезти его от греха подальше, уберечь от опасности, защитить от беды.

90.

Все это, позволю себе напомнить, только реминисценции, взгляды в прошлое, вновь и вновь бросаемые, не столько даже героем, сколько автором, по ускоряющемуся ходу повести, устремленной к своей ужасной развязке. Иногда, впрочем, замирающей в этом стремлении. На другой день, к примеру. На другой день, пишет Двигубский, переменялась погода; небо надвинулось рваными черными облаками; капли то и дело принимались бить по карнизу; в гостиничном саду что-то хлюпало, всхлипывало; деревянная бочка под желобом колебалась, покачивалась; пузыри бежали по ее черной, в цвет неба, через край плескавшей воде, с дрожащими веточками, кружащимися березовыми желтыми листьями в ней. Григорий, собиравшийся поехать снова в имение, посмотрев на все это, закрыл окно; снова заснул. Он вдруг почувствовал всю усталость последних трех лет; всю сразу; всю эту тяжкую, безрадостную усталость, которая как будто собиралась, сгущалась в нем...; вот вырвалась, вдруг, наружу; захлестнула его. Он пролежал в постели до вечера, просыпаясь, вновь засыпая; даже не пытаясь читать; в полудреме вспоминая вдруг что-то... отрадное, страшное. И точно так же пролежал он весь следующий день, такой же всхлипывающий, смутный и сумрачный – понимая, конечно, что *отлеживаться* следовало бы в каком-нибудь другом месте, не столь опасном, но не в силах встать, изменить что-нибудь, убаюканный этим дождем, боем капель, привычностью комнаты, кровати, балдахина, комода. Лишь под вечер этого второго дня, после обеда, как и накануне принесенного ему в номер – все тем же, с по-прежнему проступающим на щеках небритостью, вертлявым, наглым и скрыто неприязненным половым, начал, понемногу, приходить в себя, просыпаться; вышел на улицу, снова, впрочем, пустынную, замершую; дошел до Соборной площади, безлюдной, с мокрым блеском на безмолвном булыжнике; возвратившись в номер, взял ванну; полистал бумаги, привезенные из имения... язвительные бабушкины письма, отцовские записи о падении всего, прощании с прошлым. И когда опять заснул, наконец, то заснул уже здоровым, спокойным сном; проснувшись, сказал себе, что сегодня или завтра уедет, что вот и этот эпизод жизни закончился; вот и отлично; вскочив с постели, обнаружил за окном мерцающе пасмурный, без дождя, с просветами, день; обнаружил уже осенний, бодрый, яблочный холод. Кололи дрова где-то рядом, в каком-нибудь, наверное, из соседних дворов;

отчетливый, глухо-древесный стук поленьев, ударяемых о колоду, разносился в этом холодном и бодром воздухе как будто с легкой заминкой, задержкой, словно задумываясь после каждого удара о чем-то своем, ни одному человеку не ведомом. *Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu'on clou en grande hâte un cercueil quelque part...* Вслед за Бодлером вспомнился, конечно же, Всеволод, повторяющий, глядя в пространство, эти волшебные строки об осенней колке дров, убаюкивающей, а все-таки похожей, слишком похожей на заколачивание гроба, где-то там, в соседнем парижском дворе... А вместе с тем, было что-то привычное, милое, мирное, что-то почти домашнее в этом мерном далеком стуке, ударе и отскоке поленьев. Уездный русский город, осень, пахнет дымком и яблоками, колют дрова. Ничего плохого не может с тобой случиться. Иван Людвигович Губер, заглянувши к нему в номер, изо всех сил уговаривал его уехать не завтра и не сегодня, а уехать сейчас и немедленно, скоро должен быть поезд, он точно знает, на юг, на Ростов. Вот и уезжайте в Ростов, на юг, в тыл. Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Ведь вас же первого схватят, если... *Gott bewahre*, не дай Бог. Уезжайте, уезжайте же, наконец, Григорий Константинович, говорил он, пристально и с мольбою глядя на Гришу усталыми, светлыми, выцветшими, отчаянными, отчаявшимися глазами. А что же сам он, Иван Людвигович? А ему уже все равно. Ему уже недолго осталось. И... он, пожалуй, больше не хочет. Уже насмотрелся... на все это, ну и... довольно. Да, вот так, не спорьте, Григорий Константинович, не возражайте. Он простой человек, *Gastwirt*, но он... он больше не согласен. Не согласен больше с этой жизнью, этим миром, этим светом, слишком не белым. *Nicht mehr einverstanden*. Вот так-то.

91.

Есть варианты повести, в которых Двигубский отправляет его для начала и еще раз – в имение, где, собственно, делать ему – не столько даже герою, опять-таки, сколько автору, а вместе с ним и читателю – уже нечего; все уже было; все повторяется (и лёва, и Мнемозина...); соответственно и разваливается; почерк становится почти нечитаемым, фразы обрываются, недотянув до точки, на полу- и четвертьслове. Еще в некоторых вариантах (ранних) возникает земельный вопрос (говоря языком официально-газетным). Григорий ведь в сущности – местный помещик, сын крупнейшего в губернии землевладельца. Он отказывается от своих притязаний. В одной из ранних рукописей нашел я длинный разговор на эту тему с уже упомянутым выше побочным неубедительным персонажем, бывшим директором бывшего

Азиатского банка, членом городской думы эпохи Временного правительства (бородка, неискренние глаза). Григорий в разговоре этом заявляет, что стоит на позициях непредреждения земельного вопроса вплоть до созыва Учредительного собрания; прямо так в газете и напечатайте. Разговор этот вряд ли дожил бы до окончательной правки.

92.

Были люди на этот раз, в зданье вокзала; крестьяне, сидевшие на мешках; какие-то непонятные *личности*, каких много перевидал он за эти годы, всегда едущие куда-то, что-то везущие, с наглыми мордами, кокаилическими глазами; один какой-то седой господин, почтенный, сердитый; две сестры милосердия; одна из них хорошенькая, с нежной, легко красневшей, как у блондинок часто бывает, кожей; в самом деле покрасневшая при Гришином появлении: розовым, снизу вверх, от шеи к щекам идущим румянцем; опустившая глаза; вновь, сквозь вторую волну румянца, поднявшая их на Гришу. И было одно какое-то, краткое, как щелк пальцев, мгновение, когда он уже готов был подсесть к этим двум сестричкам, заговорить с ними о поездах и погоде; и совершенно ясно, с веселым удовольствием представил себе, как о совсем другом говорили бы они глазами с блондинкой, как смеялись бы ее глаза, отвечая на его взгляд; и затем вышел все-таки на дебаркадер, как будто вновь возвращаясь в уже сделавшийся за эти несколько дней ему привычным строй мыслей и чувств, один, с горестным сознанием тяжелой значимости этого, в его жизни скорее всего последнего отъезда отсюда, с этой станции, с которой и на которую он всю жизнь приезжал, уезжал. Но можно ведь и вести две темы сразу; легкую рядом с тяжелой; и вернуться, и заговорить с блондинкой, почему бы и нет? и кто знает, что может из этого получиться; и он все равно будет помнить, навсегда запомнит, этот последний отъезд, эти рельсы, этот черный угольный блеск между рельсами. Он не вернулся в зал ожидания; он бросился бежать вместе с выбежавшей на дебаркадер толпой, под треск выстрелов, звон стекла, визг, крик, стук. Слово «налет» перекрыло, на мгновение, все звуки. Григорий, прыгнув с платформы, перемахнув через рельсы, по осыпавшемуся под ногами щебню сбежал с железнодорожного полотна, поскользнулся на мокрой траве, не упал, выровнял бег. Он все сознавал и все видел, этот щебень, эту траву..., с той ясностью, которую так ценил в себе, которая так блаженно обострялась в нем в минуты опасности; с привычным удивлением перед чем-то. Хорошо бежать, легко, весело. И весело, что весело; смешно, что весело. Трава, небо. Холод, уже осенний. Как же они так ловко... Сестричек не было видно, наглomorдых личностей тоже. Начались сараи,

огороды, заборы; выстрелы смолкли; Григорий остался один; рукопись обрывается. Какими-то этими огородами, задворками, переулками, берегом реки, огибая железнодорожный мост, где стояли, конечно, покуривая, поплеывая в воду увешенные пулеметными лентами головорезы, Григорий, судя по наброскам, которые я и цитирую, должен был пробраться обратно в гостиницу; хозяин оной, Иван Людвигович Губер, прячет его на чердаке; достает для него штатский костюм. Вот на этом-то на чердаке сидючи, и видит он Кудеяра с Лидией, торжественно едущих по Елизаветинской улице.

93.

Лидия, героиня не осуществившейся повести, не состоявшегося романа. Роман – был, или его не было, по замыслу автора, тоже в прошлом, в шестнадцатом году, перед отъездом Григория на еще не развалившийся Юго-Западный фронт. Никакого романа не было, пишет Двигубский (тетрадь № 5); роман – мог быть, роман – наметился, приготовился – быть, но не стал, не случился, погас и рухнул, как Григорию казалось – бесследно, оказалось, что не совсем. Лидия – учительница, пишет Двигубский в предпоследней, пятой, тетради; ну, конечно! она сельская учительница в какой-то земской школе, возле города, на полдороге к имению, в деревне. Она живет в городе у тетки; ходит в школу пешком. Школа двухэтажная, маленькая, красно-кирпичная, чистые классы с партами и цветами на подоконниках, свежевывмытые деревянные полы, выкрашенные темной бордовой краской; построена в каком-нибудь тринадцатом году, не без участия Гришиного отца. Среди прочих, собранных и присланных мне Двигубским, есть фотография, изображающая такое темно-красное, почти коричневое кирпичное здание с палисадником и раскидистой березой у входа, с выкрашенными голубенькой краской карнизами продолговатых, по-русски поделенных на части окон; на обороте, незнакомой мне рукою и твердым карандашом, написано «Яблоново, 2001 г.». Кто это писал, откуда эта фотокарточка и что такое Яблоново, я не знаю; Света, которой мои электронные расспросы начинают, похоже, надоедать, не знает этого тоже... Она сельская учительница по идейным соображениям, пишет в другой тетради Двигубский; она эсерка, по крайней мере, сочувствующая. Для нее Григорий – «идеалист», к тому же и «барин». А для него она – чистая чудная девушка, которой заморочили голову революционным интеллигентским вздором. Он ходит с ней пешком из школы в город, через овраг и вдоль речки. Счастье, пишет Двигубский. Какое счастье идти с ней вдоль этой вьющейся, петливой, заросшей травой речки, мимо этих ветел, склоняющихся к воде, шевелящих длинными листьями, мимо мостков и заводей,

баб, стирающих вечное свое белье, обратив к зрителям толстый зад и голые грубые, в земляных трещинах, пятки, мимо плескающихся в воде, белобрысых, классических ребятишек, не теряющих надежды наловить раков и продать их у ближайшей дороги, будущих колхозников, будущих раскулаченных, не знающих, что их ждет, затем по страшному, шатающемуся, скрипучему, в провалах и трещинах, подвесному бревенчатому мосту и дальше, по местам, уже пустынным, свободным, где река, еще не зажата холмами, как в городе, течет неспешно, спокойно, и только изредка подходят к ней ленивые большие коровы, выпущенные на заливные луга. Покой полей, простая песенка бескоробной земли. Она спрашивает его, конечно, о Европе, о Фрейбурге, о Провансе. Для нее он человек из чуждого, непонятного, по все тем же идейным соображениям – враждебного, но втайне, конечно, влекущего и манящего мира. Изредка она вступает с ним в спор, заставляет себя вступить с ним в спор, считает себя обязанной. О России, о революции, о преступлениях самодержавия, о безлошадных крестьянах, о материализме, о героической личности... Слова ничего не значат, или значат что-то другое, говорят о другом. Только к этому другому он и прислушивается, на это другое и отвечает. Она и сама это чувствует, улыбается, молчит, смотрит на воду. На ней намеренно скромное платьице, какое-нибудь – «в горошек», хотя она не бедная, тетка ее тем более, но таковы требования идейности, лучше – «в рубчик», нет, не «в рубчик», но – «огурцами», пишет Двигубский (тут же рисуя на полях хвостатые загогулины), нет, тоже нет, не «огурцами», и не «в рубчик», и не «в горошек», а просто серое, однотонное, строгое, застегнутое на все свои (мелкие) пуговицы. Она при этом высокая, крупная, красивая. Вернее, была бы красивая, если бы до красоты снисходила. Она не снисходит. Понемногу начинает, может быть, снисходить. Она ко всему готова, а он не видит, вот в чем все дело. Он видит литературность их отношений – и радуется этой литературности. Она для него – цитата, Наташа, Лиза, Татьяна. Какие только романы и повести не оживают в нем. Героиня старинного романа, барышня, месяц в деревне. Барышня-крестьянка... «Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности». Он-то чувствовал, да она, пожалуй, не чувствовала, пишет Двигубский. Наслаждений невинности ей было мало, ей совсем не того хотелось. Он вполне себе живой и чувственный человек, что вовсе не противоречит его «идеальности». Он еще не успел, не сумел, а может быть и вообще ему не суждено «воплотиться». Но при этом он еще и просто молодой человек из хорошего дома с соответствующим набором эротических

приключений в недолгом прошлом. Случайные немки во Фрейбурге, незабываемая горничная в Трувилле. После этих немок и горничных, и после веселых петербургских домов, декадентствующих замужних дам, их кокаиновых дочек с ядовито накрашенными губами, проклятье литературы, вот – героиня задушевного русского романа, как он ее видит, никакое не проклятье, но счастье! счастье литературы, и какое же счастье, действительно, просто идти с ней вдоль ветвящейся и тенистой реки, ни о чем больше не помышляя. А она влюблена в него, она еще девушка, она ждет. Она сама себе в этом не признается, а в глубине души все-таки не может понять, почему он... Да просто взял бы и повалил ее на лугу. Она так не думает, но так чувствует, может быть. Удивление в ее глазах. Растущее удивление в ее глазах, пишет Двигубский. Дело ограничилось поцелуями. Не потому что он не хочет ничего другого, а потому что он не торопится. Ему, пока, не так это важно. Он ведет себя, как будто у него «все время мира», *tout le temps du monde*. «Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем». А следовало бы подумать, времени-то у них как раз не было. Но он не может заставить себя торопиться, как если бы существовало какое-то естественное течение их любви, которое он боялся нарушить, естественный рост, который боялся спугнуть. И все было возможно, конечно. Все могло повернуться иначе, вся его жизнь могла совсем по-другому сложиться. Как моя жизнь, если бы я не расстался вдруг с Т., сам не знаю, почему и как это вышло, пишет Двигубский, я же не знаю теперь, кто эта Т., та девушка, может быть, в которую он влюблен был, когда учился в аспирантуре и учил древне-греческий, о которой он однажды мне говорил. Вместо этого, пишет Двигубский, Григорий уехал на фронт. А потом с разваливающегося фронта бежал в Петербург, а из Петербурга на юг, в Добрармию. Он что же, забыл о ней? Он не забыл о ней, но он как будто думал о ней вне всякой связи со своим настоящим, с фронтом, окопами, крысами в этих окопах. Вот если бы он вдруг перелетел каким-то чудом обратно в город, и там, в городе, все было бы так же, как прежде, никакой революции, и она, Лидия, жила бы все так же у своей тетки, и так же ходила бы пешком в сельскую земскую школу, мимо тех же ветел, вдоль той же реки, он бы снова попал, наверное, в тот строй чувств и мыслей, в котором был до фронта, и любовь их началась бы с того места, на котором прервала ее война, история, падение всего, союз ума и фурий. Но когда он действительно вернулся в город, там все уже было иначе, и Лидия была уже подругой Кудеяра, о чем ему, Григорию, тут же, конечно, и рассказали.

Кудеяр, или царь Иван, как еще называет его Двигубский, тоже появляется, странным образом, только в предпоследней, пятой тетради, как если бы этот образ, так долго, полагаю я, волновавший его воображение, по крайней мере – с того времени, как он обнаружил историю «царя Глинского» в одном из своих многочисленных «источников», как он иногда называл их по профессиональной привычке, то есть с конца, примерно, восьмидесятых годов, лишь постепенно вступал во взаимодействие с замыслом его повести, с другими образами, ему предносившимися, в магический и заклятый круг идей и понятий, обозначаемый им «Город в долине». Лидия становится подругой Кудеяра, пишет он в этой предпоследней тетради – и это было, кажется, открытием для него самого, внезапным озарением, его поразившим. Именно с этого момента Лидия окончательно делается учительницей, а Кудеяр тут же, со свойственной ему решительностью, начинает играть в повести одну из ведущих ролей. Теперь все ясно! восклицает Двигубский, подчеркивая эти три слова жирной чернильной чертой, с возбужденной кляксою на конце. Возникает, и уже до конца не меняется, та конstellляция персонажей, как он называет ее, конstellляция, которую он несколько раз выписывает в этой пятой и затем шестой, последней тетради, как будто пытаюсь убедить этих персонажей осуществиться, явиться. Лидия – подруга Кудеяра... Кудеяр, «царь Иван», «Иван-царевич». «Ну-с, и начнется смута!», говорит Верховенский Ставрогину. «Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-та мы и пустим... Кого? – Кого? – Ивана-царевича». Народный царь, самозванец, Лжедмитрий, Пугачев, Петр Третий. «Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою». Вот в чем все дело! вновь восклицает, все в той же тетради, Двигубский. Кудеяр – Пугачев. Товарищ Сергей – Швабрин. И значит, хоть этого он не пишет, но такая мысль напрашивается, Григорий – Гринев, а Лидия, соответственно, Маша, капитанская дочка, душа-читательница, провинциальная барышня. Затем еще раз, через пару страниц: Товарищ Сергей – Швабрин. Кудеяр – Пугачев. Но в революции побеждает не Пугачев, побеждает Швабрин. Швабрин обманывает и предает, в конце концов, Пугачева. «Горжество Швабрина, или Город в долине». Нет, конечно, он не собирался называть свою повесть так. Он выписывает, мне кажется – в шутку, два раза подряд, на пустой левой странице, рядом с процитированными только что рассуждениями, это возможное (невозможное) заглавие, затем, наверное – забывшись, рисует сверху, как он иногда рисовал их и в тетрадях, и в рукописях, два мужских профиля, один с тяжелым диктаторским подбородком, другой какой-то скошенный, скривленный, не попытка портрета, но игра ума и пера, завитки

рассеянной мысли. «Торжество Швабрина. Город в долине». Это потом его тоже кокнут, новые Швабрины, лет через двадцать. А пока он торжествует. И Маша ему достанется. Не эта, так другая какая-нибудь... Григорий ничего этого не увидит, Григорий погибнет раньше. А Пугачев от Швабрина его не спасет, и никакой волшебный заячий тулупчик ему не поможет, и никакой шубы с царского плеча никто ему не пожалует.

95.

Григорий видит зато их обоих, Кудеяра и Лидию, из чердачного окна гостиницы, торжественно въезжающих в город. На чердаке свалены старые стулья и пахнет мышами. Уже, значит, прячется он, пишет Двигубский (конец пятой тетради), уже попадает в такие места, в какие мы попадаем в детстве – или в беде. Осинные гнезда, брошенные осами, темные и трухлявые. Чердачное круглое окно; паутина. Они едут, Лидия влюбленными глазами смотрит на Кудеяра. Кудеяр большой мужик с черною бородою. Одновременно сухой и тяжелый. С впалыми, вдавленными щеками, а все-таки грузный. В роскошной белой черкеске с серебряными газырями. А Лидия! Лидия – красавица. Расцветшая, пополнившая. Тоже в черкеске, но красной, расшитой золотом, с золотым шитьем на газырнице. Влюбленными глазами, шальными глазами смотрит на Кудеяра, царя Ивана, грозного мужика. Тут все вдруг становится ясно Григорию. Кудеяр, конечно, взял ее грубо и просто, не спрашивая, хочет она или нет. Давно, поди, приглядывался к учительке. А как вошел во власть, так взял, изнасиловал. Никаких мужчин у нее не было до того. Была только идейность, любовь к народу и мечта о всеобщем счастье. То самое, значит, сделал Кудеяр, народный царь, чего Григорий, ангел, не сделал. Вот она и полюбила народного царя, отдалась ему, покорилась ему. Да она бы на край света за ним побежала, душа-читательница, идеальная русская барышня. Даже с каким-то... да, почти с уважением смотрит на Кудеяра Григорий из чердачного своего окошка. С уважением и ужасом. С той странной симпатией, которая объединяет двух мужчин, любивших одну женщину. «Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку». Между тем, Лидия, прекрасно, легко сидящая на вороном (каком-нибудь...) жеребце, поднимает вдруг голову, смотрит в Гришину сторону. Она Григория не видит, конечно. Но что-то заставляет ее смотреть на это чердачное окошко

гостиницы, подняв голову, ясным, шальным, замороженным, ворожащим взглядом, взглядом ведьмы, взглядом ворожеи. Он видит даже дыхание ее, видит, как грудь ее поднимается и опускается под черкеской. Это длится долго, почти вечность. Это (думает он) никогда, никогда уже не закончится. Тем не менее, заканчивается и это. Он понимает, что надо бежать, но не знает куда. Он чувствует себя в ловушке на этом мышинном чердаке, подходит к двери, прислушивается, отходит, припадает снова к окну. Там, в окне, нет уже ни Кудеяра, ни Лидии, ни присягающей Кудеяру толпы. Елизаветинская улица, угол Соборной площади, горб. Прямо перед входом в гостиницу лежит Иван Людвигович Губер, навзничь, с раскроенным черепом, с раскрытыми мертвыми глазами. В пыльных брюках и башмаках. Руки раскинуты. Глаза мертвые, глубокие, синие. Как если бы они видели – и небо, и ветви ближнего тополя, и Гришу на чердаке. В эту минуту Григорию становится страшно. Так страшно, как еще никогда ему не было в жизни. Даже не за себя. Ему становится вообще страшно. Ужас охватывает его. Он бьется и рыдает, один, на этом мышинном, паутинном, проклятом, ловушечном чердаке. Никто не придет, никто не поможет, спасения нет, не будет, не может быть.

96.

Он может бежать – или спрятаться, в надежде, что белые возвратятся. Он прячется, пишет Двигубский (тетрадь № 4). Он прячется у Лидиной тетки, вот у кого! Он прячется у Лидиной тетки, не зная, кто она, пишет Двигубский. Вдруг прошлое его настигает... Начать с калитки, пишет Двигубский. С той калитки в глухом и заднем заборе, к которой уже подходил он в свой первый день в городе, возле которой, провожая некогда Лидию из школы домой, он всякий раз прощался с ней, очень быстро, по ее настоянию, как если бы она, Лидия, боялась свидетелей, доносчиков, соглядатаев, уже торопилась, уже была мыслями в каком-то другом месте, среди других каких-то людей, – и потому очень быстро, на щелочку, сквозь которую только и мог он разглядеть, что запущенный сад и высокие травы, открывая эту низенькую, вырезанную в высоком заборе, испуганно поскрипывавшую на заржавленных петлях калитку, проскальзывала в нее и скрывалась за ней, оставляя его одного, у гнилого мостика возле крапивной канавы, в счастливейшую пору его жизни, в шестнадцатом году, навсегда. Возле этой-то калитки и оказался он теперь, в девятнадцатом. Он сам не знал, куда он бежит; ему бежать было некуда. Он попробовал эту калитку – заперта ли? – Бог весть какому наитию повинуюсь. Калитка не была заперта; он проскользнул в нее,

как некогда Лидия; проскользнув и прежде чем закрыть ее за собою, в последний раз выглянул – нет, в переулке никого не было... кажется, никого – затем пошел крадучись к дому, смутно серевшему за деревьями, почти не думая, что он делает, для чего это делает, но очень ясно, с той ясностью, которая так неожиданно его посещала, которую он так ценил в себе и воспитывал, видя себя – со стороны и откуда-то – идущим – по глинистой и влажной, разъезжавшейся под ногами тропинке, между высоких трав, стегавших его по ногам, все ближе к дому, серому и, ему казалось, необитаемому. К чему-то мы всегда приближаемся; всегда и всю жизнь приближаемся мы к чему-то. Дверь открылась, как только он поднялся по скрипучим ступенькам; хриплый, старческий, но отчетливый и решительный женский голос предложил ему зайти поскорее, не испытывать судьбу и ничего не бояться. Он не боялся, конечно; он был почему-то, сам себе удивляясь, смущен. Он понимал, что это и есть пресловутая Лидина тетка; в темных сенях, где оба они стояли, где ясно, мило и по-домашнему пахло мятой, она показалась ему очень высокой, стройной и строгой старухой, какой, поскольку он вообще о ней думал, он не представлял себе эту Лидину тетку; он понял вдруг, что, сам не сознавая того, все эти годы воображал ее себе седенькой скромной старушкой, чуть ли не в чепчике. А между тем, только такая тетка и могла быть у Лидии, никакой другой не могло быть, конечно. По темным и путаным, с порогами, коридорам, певучим полам идет он, повинувшись ей, вслед за нею; наконец, оказываются они в светлой, после темных коридоров блеском начищенного паркета почти слепящей гостиной с крутобоком комодом и прелестным, карельской березы, колченогим лакированным столиком, опираясь на который старческой, большой и красивой, с выступающими красноватыми костяшками пальцев, рукою, глядя прямо на Григория темно-карими, спокойно смеющимися глазами, она принимает позу почти торжественную, воскрешающую в памяти те портреты, которые еще висят, может быть, где-то там, в имении, в погибающем прошлом, порезанные вандалами, иронической, в то же время и в pendant к выражению глаз, в уголках губ, улыбкой оттеняя парадную прямизну этой позы, этого взгляда. Такая улыбка бывала у его *grande-mère* – и на портрете его *grande-mère*, еще висящем в порезанном вандалами прошлом. «А ведь я вас знаю, Григорий Константинович. *Je vous connaissais... comme un enfant*». Ему и в голову не могло прийти до сих пор, что таинственная Лидина тетка и ближайшая подруга его *grande-mère*, ее, *grande-mère*, единственная подруга в городе, прекрасно памятная ему по самым ранним, самым детским, невозвратимым и немеркнущим впечатлениям, – что это одно и то же, постаревшее, но, в общем, не очень даже

изменившееся, им теперь, с почти каким-то замиранием, задыханием испуга и радости, узнанное, его узнающее, признающее, уже открыто и откровенно улыбающееся лицо. «Вот как бывает, Григорий Константинович, вот как бывает...» Что, собственно, побудило Двигубского дать этой так неожиданно возникающей в повести, в жизни героя, в слепящей гостинной Лидиной тетке и подруге Гришиной бабушки – не совсем обыкновенное имя, точнее – отчество, Вера Филаретовна, я не знаю, и Света не знает тоже, Марина, сестра П.Д., не отвечает на мои письма. Григорий, пишет Двигубский, обожал ее в детстве за это фиолетовое, необыкновенное отчество; всякий раз, когда она приезжала в имение, старался как-нибудь так устроиться, чтобы остаться в той синей гостинной, где *grande-mère* обыкновенно принимала ее; забирался, бывало, просто под стол, под диван, что обе они видели, но Гришу не прогоняли, как наверняка прогнали бы, точнее – *grande-mère* прогнала бы, и Всеволода, и Лизу, которым и в голову, впрочем, не приходило слушать, или подслушивать, эти долгие разговоры, уже тогда, казалось ему теперь, вращавшиеся вокруг каких-то очень давних событий и обстоятельств, ему, Грише, тоже совершенно не понятных, но влекших и занимавших его, вокруг каких-то, целым светом забытых историй времен бабушкиной молодости, а значит, пишет Двигубский, эпохи Александра Второго, эпохи великих реформ, не сбывшихся, как не сбылись и наши, надежд. Ах, конечно, конечно, она человек того времени, пишет Двигубский, эта Гришина *grande-mère*, как же иначе, она бывала при дворе, она присутствовала, может быть, на сеансах пресловутого Юма (он же Хьюм, но не Хоум), она видела все эти летающие тарелки, вертящиеся столы, она знала их всех, знала Анну Федоровну Тютчеву и ее рассеянного отца, бывала в гостях у Вяземских, где встречалась с Валуевым, с ним же – в музыкальном салоне великой княгини Елены Павловны, знала и мадмуазель Анненкову, дочь герцога Ангулемского, загробную приятельницу гильотинированной королевы, помнила, а как забыть ее? и госпожу Берг, носившую траур по живом муже; она рассказывала обо всем этом, тогда, когда-то, в Гришином детстве, в его, Гришином, затаенном, подстольном и поддиванном присутствии, своей единственной городской подруге, Вере Филаретовне Пряхиной, в то время еще не старой, уже, впрочем, вдове – вдове (тетрадь № 5) местного, не очень богатого помещика, офицера, в свое время и к ужасу, должно быть, родных женившегося на хорошенькой поповской дочке, оставившего ей в наследство вполне скромную городскую усадьбу, в которую она сама никогда, наверное, не приглашала Гришину бабушку, в которой он, Гриша, в детстве никогда не бывал и в которой, вот, теперь оказался...; подруге, пишет дальше Двигубский, выбранной ею некогда из всех

возможных подруг, небогатых вдов и помещиц в уезде и в городе, за тайное сходство с собою, вдруг открывшееся Григорию. В том-то и дело, что они похожи, его *grande-mère* и вот эта Вера Филаретовна, очень прямо сидевшая в кресле, положив запястья на столик. *Grande-mère* была легче и тоньше, в ней больше было иронии... Они сделались похожи теперь, когда она приблизилась в годах к его бабушке. Тогда он этого сходства не замечал, а *grande-mère*, значит, сразу заметила. Он только не мог понять, как мог забыть о ней. Он помнил с детства ее имя и отчество. И помнил, и вспоминал. Но вспоминая это имя и отчество, просто так, без всякого повода вспоминая его, отталкиваясь ли от каких-то других слов, Филина, фиал, *filioque*, или даже без всякой связи с другими словами, глядя на что-нибудь, крыши в Лукке, сосны в Шварцвальде, с той случайностью мелькающих в сознании звуков и образов, за которыми он умел и учился наблюдать с осторожным, отстраненным вниманием, он, Григорий, за все эти годы, за всю свою взрослую, не такую уж долгую, но не такую уж и короткую жизнь, ни разу, ни разу, вот во что невозможно было поверить, не подумал о том, что она могла быть еще жива, и не спросил себя, жива или нет – и как если бы она, Вера Филаретовна, подруга его бабушки и персонаж его детства, никакого отдельного от этого детства и этой бабушки существования не имела, иметь не могла. И то, что она, Вера Филаретовна, с фиолетовым ее отчеством, не только оказалась жива, но оказалась еще и не кем иным, как Лидиной теткой – это так было странно, так удивительно, что, думал Григорий, очень прямо, в свою очередь, а по-другому в нем и невозможно было сидеть, сидя в колченогом кресле карельской березы, что если бы он, Григорий, сумел в самом деле, в полной мере и до конца осознать эту удивительность, эту странность, он бы умер, наверное, от изумленья. *Transiit admirando*. Она же смотрела на него с той умиленной печалью, с какой мы смотрим на взрослых, которых знали детьми, с какой мы тем более смотрим на них, если в первый раз видим их взрослыми. Вот этот Гриша, прятанный под диваном... «А ведь я знала про вас с Лидой», сказала она вдруг. «Да, все знала, Григорий Константинович, представьте себе...» При упоминании о Лидии лицо ее померкло, и день в окне померк тоже. «Вы, наверное, голодны? Я распоряжусь», сказала она. И больше они не заговаривали о Лидии, ни разу за те два дня, что Григорий у нее прожил, не упоминали этого имени, как не упоминают постыдную или страшную семейную тайну, но сидя за этим ли чинным столиком, или за широким, тоже овальным столом в соседней с гостиной столовой, где Григорий, после всех походов, постоев в крестьянских избах, наслаждался чистотой сервировки, серебряными подставочками для приборов, кольцами для салфеток, за обедом, вполне,

впрочем, скромным, на скорую руку, похоже, состряпанным из той снеди, которую ей удалось раздобыть, и молча, сурово подаваемым старой, преданной и ворчливой прислугой, никак не показывавшей, знает она или нет, кто этот неожиданный молодой человек в потертом сюртуке с чужого плеча (предсмертный дар Ивана Людвиговича Губера...), только однажды, к немалому изумлению и Григория, и самой Веры Филаретовны, почти грубо отодвинувшей его в сторону, когда он, Григорий, подошел слишком близко к окну, – сидя, следовательно, за этим ли, за другим столом, не упоминая больше о Лидии, говорили они о прошлом и только о прошлом, о Гришиной, еще раз, *grande-mère*, скончавшейся, когда ему было двенадцать, любимой им так, как он, казалось ему теперь, потом никого не любил уже в мире, о его *grand-père*, которого он не помнил, которого она, Вера Филаретовна, знала тоже и о котором так говорила, как если бы не его, Гришина, давно покойная бабушка была когда-то его женою, вдовою, но как если бы этой вдовою была она сама, Вера Филаретовна, или, может быть, так, как если бы его *grande-mère* завещала и передала по наследству память о нем, слишком рано ушедшем из жизни, не, к примеру, своей дочери, Гришиной матери, и не другим своим детям, но именно ей, Вере Филаретовне, для которой, как очень скоро понял Григорий, эта давняя дружба с его бабушкой была чуть ли не драгоценнейшим событием жизни, причастившим ее какой-то жизни иной, лучшей и высшей, как ей, очевидно, казалось, отчего она и хранила завещанные ей воспоминания, предания и сведения ревнивей и бережнее, чем даже Гришина мама, ныне молившаяся в Крыму о его, Гришином (не дарованном ей) спасении. Вот только теперь, сидя за столом или в креслах, в уже сгущавшихся сумерках и, тем более, на второй день, тоже, поскольку он не выходил на улицу и шторы были, на всякий случай, задернуты, какой-то сумеречный, тихий, очень спокойный, слушая рассказы Веры Филаретовны о его дедушке, не просто свидетеле, пишет Двигубский, но прямом участнике и деятеле эпохи Александра Второго, либерале и реформаторе (мои старые записи! восклицает в скобках явно увлеченный открывающимися перспективами автор; связать с Милютиными, с Самариним...) – вот только теперь, впервые после своего возвращения в город, Григорий почувствовал, что в самом деле – вернулся, что – дома. Вот именно и только теперь, когда он был в бегах и нетях, когда каждую минуту могли прийти за ним, и он понимал это, он чувствовал себя дома, в покое и безопасности, слушая эти отданные его *grande-mère* Вере Филаретовне на сохранение и в наследство семейные предания – для него, для него-то и отданные, для вот этого вечера, этих сумерек, этого дня – предания не всегда достоверные, легенды сомнительные – *grande-mère*, что

признавала и Вера Филаретовна, была не лгунья, но выдумщица, и фантазия у нее была бурная – эти семейные и сомнительные легенды, уводившие от деда к прадеду, человеку уже совсем другой эпохи, конечно, un homme de 1812, de 1825, и затем еще дальше, еще и еще, в восемнадцатый век и в семнадцатый. Вся история его рода проходит, в последний раз, перед ним, прощаясь и готовясь исчезнуть, вместе с ним, навсегда. Фантазия самого автора разыгрывает, разумеется, тоже; видно по почерку, уже совсем летящему, неразборчивому и косому, с такими глубокими «у», такими «д» и «р», что слова в следующей строке вынуждены обегать их, торопясь, дергаясь и сжимаясь. Соблазн сочинить, под занавес, эту историю, в пускай беглых, но все же подробностях, поместить ее в широкий контекст истории русской и европейской, связать со своими былыми, еще юношескими, увлечениями и замыслами, был, конечно, велик; могу представить себе, что, если бы повесть была написана, то всплыли бы в ней и Дмитрий Самозванец, с которым дальний Гришин предок и родственник связал свою мятежную судьбу, и Василий Третий, и Елена Глинская, и Соломония Сабурова, ей же, пишет Двигубский, царице истинной и безвинной, Гришин предок уже отдаленнейший хранил (поверим, в конце концов, что нам стоит, сбереженным Верой Филаретовной семейным преданиям, бабушкиным легендам...) непреклонную угрюмую верность, за что и был, понятное дело, сослан на Белое Озеро, а там уже, по тайному приказу царю, сначала ослеплен, затем умерщвлен, просто так, из мести и злости.

97.

Видно, что идея анекдотической республики занимает автора, от тетради к тетради, все менее. Опасность гротеска, пишет он уже в русской тетради, картонной, омерзительная опасность гротеска... Тем более с появлением Кудеяра республика в его замыслах явно отступает на второй план. Выписываю все же (тетрадь №2) вот такой «список местного правительства», как он называет его, составленный, зачеркнутый (двумя перекрестными линиями), заново переписанный – и через несколько страниц снова переписанный им. Предсовнаркома – тов. Телушкин. Наркоминдел – тов. Смолен. Наркомвнудел – товарищ Сергей. Нарком обороны – тов. Эйхенгольд. Нарком путей сообщения – тов. Дрейманис. Нарком печати и пропаганды – Иван Дукельский. Нарком театров и зрелищ – тов. Плюмажева. Анархисты, эсеры-максималисты, большевики (товарищ Сергей). Кто такие Плюмажева, Телушкин и Смолен, что должно было, или могло, из них получиться? Мы этого никогда уже не узнаем. Есть что-то трогательное,

думаю я теперь, вновь и вновь листая его тетради, в этих не родившихся персонажах, не осуществившихся возможностях, не состоявшихся судьбах, этих душах, не нашедших своего воплощения, хотя бы и на бумаге... Ничего хорошего не могло, конечно, получиться ни из Дрейманиса, ни из Смолена. Таинственный Телушкин всплывает, впрочем, еще раз, в виде подписи под воззванием «К трудящимся города и республики», воззванием, для которого Двигубский выписывает немало документов эпохи, из разных источников, вроде незабвенного «Воззвания от ЧК по обыскам г. Ельца», приведенного мною выше. С беспощадной жестокостью... Защитим достижения революции, кто бы на них ни покушался... Все на борьбу за подлинную свободу трудового народа... Умрем, но не сдадимся... Да здравствует Республика... Безоговорочная поддержка Совнаркому... С появлением Кудеяра все, как уже говорилось, меняется. Кудеяр, если я правильно понимаю поздние замыслы и наброски П.Д., в городе не живет, в город лишь, вместе с Лидией, наезжает. Какая-то республика есть, какое-то местное правительство, Кудеяру и подчиненное. В нем большевик только один – товарищ Сергей. Которому Кудеяр доверяет, потому что тот – местный, *из наших*. Земляк. А тот выполняет задание партии. У Махно, кажется, тоже был такой посланный большевик, оставивший потом мемуары (проверить! пишет Двигубский в последней своей тетради; уже, мне кажется, не проверил...). Кудеяр – «верховный комиссар», оставим царем – царя Глинского. Впрочем, не важно.

98.

Он так и не узнал, кто его выдал. И мы теперь, пишет Двигубский, никогда уже не узнаем... Когда удары прикладов в дверь разбудили его, под утро третьего дня, он, не успев испугаться, успев удивиться, подумал только: вот, значит, как? Вот как, вот оно, значит... Как странно, как странно... Два чубастых, губастых головореза с винтовками, предводительствуемые тоненьким, женственным, в кожаной куртке и с блестящими браслетами на обоих запястьях, томно улыбающимся маузерным мерзавцем, приводят его первым делом на площадь, горбатую и булыжную, в одно из тех длинных желтых присутственных зданий, где, кажется ему, пишет Двигубский, он, Григорий, до сих пор и не бывал никогда. Уж точно никогда не бывал он в том полуподвальном, темном и сводчатом помещении, совершенно пустом, куда втокнули его острым, быстрым ударом приклада. Дверь захлопнулась, ключ повернулся в замке.

99.

К той финальной сцене, ради которой в известном смысле все и было затеяно, Двигубский так и не подступился – или только подступался к ней, может быть, несколько раз подступался к ней в своих записях, перескакивая через все остальное, не дававшееся, неудавшееся. Он так, кажется, и не смог решить, где же происходит она, эта сцена, этот финальный разговор героя с антагонистом, кончающийся гибелью первого; есть варианты, в которых Григория переводят на следующий день в городскую тюрьму на окраине, для этой цели в тексте и возникающую, кирпичную, огромную, мрачную, на самом выезде из города, на холме напротив монастыря (как в Ельце и в «Жизни Арсеньева») вырастающую тюрьму. Ему нужна была, по-видимому, тюремная стена и прожектор, длинная, кирпичная, красная, полуобвалившаяся стена – и прожектор, бегущий по ней ярко-желтым пятном. Об этом прожекторе и этой стене он говорил мне еще на Тверском бульваре, в 1981 году. Мы все видели эту стену. Все мы, родившиеся и выросшие в России, можем вспомнить какую-нибудь такую бесконечную, бесконечно-мрачную кирпичную стену, отделяющую что-нибудь от чего-нибудь, школьный двор от автобазы, завод от помойки, пустырь от соседнего пустыря – останки первичной индустриализации, руины девятнадцатого века. Вот такая стена ему и мерещилась, ради нее он готов был – и затем все-таки не готов был пожертвовать булыжной гладью площади, по которой герой, убегая от прожектора и пули, тоже мог бы, в других вариантах, бежать (убежать не мог ни в одном). Не написанной осталась и сцена свидания с Лидией, появления Кудеяра вместе с Лидией в его темнице и камере («Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь»; никакой воли, конечно, только запрещение товарищу Сергею убивать его). Хорошо видно, как он старается представить себе эту тюремную камеру, эту полуподвальную комнату. В *присутственной* комнате ничего нет, пишет он (тетрадь № 3), солома – или тюфяк. Он лежит на тюфяке, заложив руки за голову, глядя в пустой потолок. У него нет ни книг, ни бумаги. Его не кормят; Вера Филаретовна передает ему корзины с провизией. Никто его не допрашивает; иногда заходит товарищ Сергей – не допрашивать, а *так*, побеседовать. У товарища Сергея ничего не бывает *так*. Дежурный головорез приносит откуда-то стул; товарищ Сергей, воняя табаком и потом, садится; стул трещит, скрипит; вздыхает с облегчением, когда тот встает, наконец. Встает, уходит. Головорез ухмыляясь выносит усталый стул в коридор. Звуки, шорохи в коридоре, шаги на площади, иногда совсем близко. Чей-то голос: ну и дела пошли, братец, ну и дела. Сапоги проходят мимо решетки, их тень забегает в комнату, случайная гостья. Булыжная гладь в окне, почти вровень с глазами. Ровная, чуть мерцающая булыжная

гладь, уходящая к бугру, которого он не видит. Сумерки, тоска сумерек, ночь. Ночные звуки, скрип дверей, шаги, шепот, снова шаги. Выстрелы. Он не боится смерти, он боится пыток, думает он. Прожектор бежит вокруг его камеры, отсветы пролетают по стенам. Утренние птицы, все птицы мира, весь гам, весь гомон, еще один день. Солнце на потолке. Тень решетки, на потолке и на стенах. В левом углу с утра, в правом к вечеру. Течение времени. Какой-то смысл есть, может быть, в этом движущемся узоре, в этом удлинении клеток, вытягивании продольных, скрещении поперечных линий, великий, неразгаданный смысл в известчатых трещинах потолка. Его нет; никакого нет смысла. Все мы в детстве, когда болели, пытались найти смысл в рисунке обоев, в ритме линий и лилий, в переборах ритма там, где одна обойная полоса примыкает к другой. Мы не нашли его. Мы так и не нашли его за всю нашу жизнь.

100.

Вспоминать ему не было свойственно. Прошлое всегда было рядом, теперь ближе, может быть, чем когда-либо. Теперь оно совсем было рядом, в заглазье или под веками, и то, что было в детстве, и то, что было вчера, вот эта площадь, которую слышал и чувствовал он за решеткой, Степанов на площади, дневка, дневка объявлена, бугор, горб и город, и как он стоял над городом, глядя вниз, как город виден был весь целиком, со всеми его куполами, и никого вокруг уже не было, только ветер пробежал по высоким лиловым травам, и казалось, что это никогда не закончится, что он будет все стоять и стоять вот так, над городом, всю свою жизнь, и дальний лес, тот дремучий, за всеми полями, холмами, бледно-синей чертою, мечта его детства, предмет его страсти, и как они все, и *grande-mère*, и Лиза, и Всеволод, и отец, и мать, уступая, как он понимал теперь, лежа в сумерках, открывая глаза, его, Гришиным, мольбам, просьбам и уговором, доехали все-таки до этого дальнего леса, всего однажды, в двух экипажах, и в лесу были сосны до неба и сосновые иглы повсюду, и пятна солнца на иглах, и четыре шишки, которые он привез оттуда с собою, по две в каждой руке, не выпуская их из рук всю дорогу, обычные, в общем, шишки, до самого конца детства стоявшие у него на комодке, сверху светлые и с черным исподом твердых, за те годы, что простояли она на комодке, до уже какой-то костяной твердости одревесневших чешуек, уже похожих больше на лопасти или лопатки, и нельзя простить себе, разумеется, пропажу этих четырех шишек, тогда, в юности, даже им не замеченную. Совсем рядом было все это, под веками и в заглазье, и сама эта комната, его комната, с вывороченным ныне комодом, идеалистическим порядком, навсегда уничтоженным,

грудой книг на полу, без видимой соразмерности, и проколотые портреты, и то самое страшное, что он видел в жизни, о чем с тех пор старался не думать, прошлым летом, в степи, казак с раскроенным черепом и большая, старая, в жирных складках, счастливо хрюкающая свинья, поедая что-то кроваво-серое из черепа, как из миски, Степанов, из револьвера стреляющий в эту свинью, затем согнувшись, у обочины где-то, с матерной руганью извергающий из себя все, что он съел за жизнь, и тот же Степанов, смотрящий только в сторону, в сторону, в тот злосчастный солнечный день, когда, заехав в местечко, они, Степанов, и он, и маленький капитан Махин, сам, впрочем, большой любитель *реквизнуть* что-нибудь у мирного населения, не смогли, или не посмели, остановить еврейский погром, с прибаутками и здоровым гоголом устроенный казаками, и после этого все уже стало – не так, все стало – неправдой, и они знали это все трое, и все трое молчали об этом, и страшное, со сжатыми губами, молчание его матери в год бабушкиной смерти, и тот дальний край парка, где начиналось все страшное в жизни, где была одна такая мрачная осина, с высокой кроной и совсем темным, почти черным, в круговых крапинах, выемках и наростах, стволом, что он боялся проходить мимо нее, старался обходить ее стороною, и первая смерть, которую в жизни он видел, от этой осины шагах, может быть, в четырех, серая кошка с копошащейся раною на боку и ужасным, во всю ширь распахнутым ртом, оскалом острых зубов и розовым, каким-то еще живым нёбом, и как он бежал к дому, почему-то повторяя про себя: небо, нёбо, нёбо и небо, как заклинание или как формулу ужаса, и *grande-mère* в гробу, запах хвои, ладана и еще чего-то, о чем не был сил подумать, и как он стоял у этого гроба, почему-то один, и затем не один, и затем опять один, с бесслезными глазами и злым от горя лицом, которое сам он видел со стороны, как если бы он стоял не только там, где стоял, но еще и где-то рядом с собою, впервые в жизни, наверное, в свои тогдашние двенадцать лет, глядя на самого себя со стороны и откуда-то, своим же горем от себя отделенный, и *grande-mère* живая, веселая, легкой и молодой походкой идущая мимо статуй, мимо Музы и Ночи, рассказывающая небылицы о прошлом, читающая ему вслух Ламартина, о *l'ac, l'année à reine* и так далее, и это узкое савойское озеро, *l'ac du Bourget*, куда они нарочно заехали с Всеволодом, светящаяся дымка у берега, и горные озера в Шварцвальде, пыхтящий паровичок, на котором он добирался до них из Фрейбурга, густое солнце и густейшие тени на зелени альпийских лугов, покой, с которым душа не справляется, с которым справиться и не хочет, и море, и море, конечно, дюны в Нормандии, бушующие полотнища пляжных флагов в Бретани, в Провансе, и петербургские улицы, стеклянный сумрак подъезда,

зима, сани, северное сиянье, которое видел он в феврале 1916 года на Елагином острове, поехав ночью с сомнительной и случайной дамой кататься, безумное, хвостатыми вихрями стоявшее в глубоком и прозрачном небе сияние, возвестившее ему грядущие катастрофы, и Лидия, говорящая с горечью, что никого уже теперь не полюбит, только его, только его, и поезда, и вагоны, все вагоны, все поезда, тот серый, солдатский, на котором возвращался он с никому уже не нужного фронта и где его чуть не убил озверевший, густо усатый, нанюхавшийся кокаина матрос, шелуха от семечек, плевки, махорка и ругань, и опять Фрейбург, грохот колоколов по утрам, пожилая чета, у которой снимал он свою двух-с-половиной-комнатную квартиру, госпожа и господин Эбб, жившие в нижнем этаже, Доротея и Карл, оба с плоскими какими-то лицами, оставлявшие ему, бывало, возле его двери пару кусков испеченного только что пирога, песочного и так называемого мраморного, с темными вкраплениями шоколадной породы в желтоватом и рассыпчатом тесте, и снова дальний лес, дальний лес, тонкой, синей, спасительною чертою возникающий на горизонте, и левый лёва с его наглаженным носом, податель помощи, избавитель от бед.

101.

Надеюсь, не помешал, с издевательскою ухмылкой спрашивал *товарищ Сергей*, вновь и вновь, в разных тетрадах и рукописях заходя в его камеру (комнату), усаживаясь на вносимый ухмыляющимся, как и он, головорезом многострадальный стул, сразу начинавший скрипеть, стонать и качаться. Да, Григорий Константинович, попали вы в передрагу. И как это вас угораздило? А ведь я предупреждал вас... Не послушались. Лежите, не беспокойтесь. Не хотите лежать? Правильно, лежачий беспомощен. А стула не могу предложить вам. Стул вам не полагается. Должна же быть какая-то разница между нами. Садитесь как-нибудь по-турецки. Садитесь, поговорим по душам. Скучно, небось, лежать-то? Да-с, Григорий Константинович, попали вы в историю с географией. Все-таки, боюсь, расстреляют вас наши ребята. Уж так им хочется расстрелять беляка, прямо уж и не знаю, как удержать их. Не верите? Ну и не верьте. Прислать, может, вам Дукельского? Знаете такого? Большой человек теперь, министр, можно сказать, просвещения. Поболтаете с ним об оргийности. Ну, как хотите. Что – мне Дукельский? Мне Дукельский ничто. Я могу его хоть сейчас чикнуть. А впрочем, пускай пока болтает. Нам это даже на руку. Вздернуть его мы всегда успеем. Эх, Григорий Константинович, Григорий Константинович, если бы вы знали, какое это чудное ощущение... Вот сижу здесь с вами, мирно беседуя... А могу – все. Могу вас

застрелить вот сейчас. Вы думаете, нет, не могу? Не посмеет, думаете, застрелить меня комиссар? Вы думаете, батька наш приказал вас не трогать, так уж мы вас и тронуть не посмеем? Посмеем, еще как посмеем, Григорий вы наш Константинович, философ вы наш, Сократ в темнице, графчик вы наш разлюбезный. Думаете, атаманша за вас просила, как за бывшего своего любовника... ну, не буду, не буду, не сердитесь, бровкой не дрыгайте... А может, ей батька пообещал, а мне-то на самом деле поручил... а?.. вас... того... чикнуть-жикнуть. А я-то и не чикаю. Я бы должен, а мне-то вас жалко... Не верите? Ну, и не верьте, не верьте, голубчик. А все-таки я могу вас... вот сейчас возьму пистолетик... и где вся ваша философия, ась? Григорий Константинович? где все мысли, дум высокое стремленье, духовные запросы, полет фантазии, будущие труды? Ну, что вас потащило к белым, а? Ну, никак не пойму. Думаю, думаю, все не понимаю. Ну, вы же умный человек, вы ж не можете не понимать, что там все кончено, что начинается новое время, фантастическое время, необычайное время? Вы не смотрите, что все так... что все такое кровавое, грязное, жалкое, мерзкое. Вы думаете, мы этого сами не понимаем, не видим? Мы все видим, все понимаем. Мы эту кровь отмоем, эту грязь разгребем... Не верите? Вот и не верьте. А ведь и *ваш* Христос родился в еврейской лачуге. Там, что ли, все было так уж величественно? Там тоже была грязь, кровь и слезы, Ирод, избиение младенцев. А все-таки там начался новый мир. Да-с, новый мир. Удивил я вас, да? Ну вот, хоть удивить вас сумел, хоть позабавил вас, и то благо. А там ведь и вправду начался новый мир. *Ваш* новый мир. Который мы теперь похерили... Потому что он прогнил, провонял. А теперь начинается настоящий новый мир, *наш* новый мир... Вы не смотрите на грязь и кровь, Григорий Константинович, не смотрите, это все чепуха, кровь и грязь, все пройдет, все забудется, через десять лет никто и не вспомнит. Каких-то буржуев там расстреляли, большое дело... И о батьке не думайте, батька это так, эпизод. Это вопрос недели, через неделю не будет никакого батьки. А мы будем. Мы останемся, мы надолго. Вот вы и переходили бы к нам... Это я серьезно говорю, не смотрите на меня так. И не смейте улыбаться, а то прикончу. Я могу прикончить, я нервный стал на этой работе. А все-таки перешли бы вы к нам... История за нас, Григорий Константинович, как я вам, кажется, уже имел удовольствие... А надо быть с победителями истории, ну ведь вы же умный человек, ну что вам-то делать там, в стане, так сказать, хе-хе, погибающих. Ну черт ли вам этот стан погибающих? А я ведь вас, Григорий Константинович, потому, может быть, и не даю чикнуть-жикнуть, что все надеюсь, может одумается философ наш, а? Одумаетесь? И все, дверь открыта, сразу вас отпущу.

Плевать мне на батьку, у меня везде свои люди. Отпущу вас, подпишите только бумагу. Вот ведь человек какой, не спрашивает даже какую. Сами знаете, какую бумагу. Документик-с, так сказать, о сотрудничестве. И все, свобода, счастье, солнце сияет. Да вы не бойтесь, грязную работу делать не будете, грязную работу есть кому делать. Зашлем вас обратно к Деникину, будете потихоньку передавать информацию. А? Григорий Константинович? Как вам мое предложенье? А ведь и вы в душе немного авантюрист. А это приключение-то получше будет, чем по степям тут таскаться. Я ведь вас хорошо понял. Я тут тоже сижу у себя в кабинете, сижу, курю, о вас думаю. Я много о вас думал в жизни, больше, чем вы обо мне. Вы обо мне и пяти минут, наверно, не думали. Я для вас известно что такое... кровавый мерзавец. Не улыбайтесь, прикончу на месте. А я о вас все думаю, думаю. Вы нужны нам, Григорий Константинович, вы, вы, вот именно вы... Все это вздор, что я говорил вам, я сам ни во что не верю, вздор, кровь, грязь, но если бы вы, если бы такой человек, как вы, перешли к нам... все бы оправдалось, все бы очистилось. Если бы такой человек был за нас... мы бы... ну, впрочем, вы к нам не перейдете, и потому я вас укоюшу. Ладно, подумайте до вечера. Пойду документик приготовлю, а вы подумайте. До утра. А провизию, я смотрю, вам хорошую передают. Ишь ты, у нас и на съезде ВЦИКа такой кормежки не было. Буржуй вы все-таки, Григорий Константинович, буржуй, ничего уж тут не поделаешь.

102.

Он бывал вдруг счастлив, когда лежал так – или когда садился по-турецки, прислушиваясь – или уже не прислушиваясь к шорохам и шагам в коридоре, всматриваясь в темноту своей комнаты (камеры); счастлив, потому что свободен. Он был, в самом деле, свободен здесь, на этом вонючем тюфяке лежащий, в преддверии гибели; так свободен, как, может быть, никогда не бывал еще в жизни. И потому, конечно, был он так свободен здесь, на этом тюфяке и в этой темнице, что (вдруг, на мгновения...) совершенно все равно ему делалось, погибнет он или нет. Совершенно никакого значения не имело (вдруг...), что будет с ним сегодня или завтра, будет ли что-нибудь. Так остро и счастливо чувствовал он что-то неразрушимое в себе, какую-то, в себе, в самом, думал он, в темноте улыбаясь, *себе себя*, светящуюся, всегда живую, неразрушимую точку, что никакого значения уже не могло иметь для него никакое завтра, никакое сегодня. Но даже если и этой точке было суждено погаснуть, и этому неразрушимому в нем – быть разрушенным, даже и это уже было неважно ему.

Было только счастье, только свобода, ничего больше не было. Душа отпускает себя на волю, душа прощается с миром. Еще он помнил, конечно, что читал об этом у того-то и у того-то, у Платона и у Плотина, в августиновой «Исповеди» и у мейстера Экхарта, но уже не в том было дело. Еще помнил он, как читал Экхарта, прислушиваясь к плеску фрейбургской, вдоль тротуаров текущей воды, к голосам, доносившимся с рыночной площади... Уже о чем-то совсем другом шла в нем речь. Он был только благодарен теперь этой жизни, отступающей от него, и всех любил, всех жалел, и Доротею Эбб с ее плоским лицом и песочными пирогами, и Всеволода, и *grande-mère*, и всех, кто виделся ему в темноте. Уже как будто умер он в своей камере. И никакого, значит, *ego* уже не было, но был кто-то в нем и вместо него, ничего не желающий, только жалеющий, умеющий только любить, ничего другого не способный вместить в себя, кроме этой любви, но такой пустой и огромный, что эта любовь была больше всего, что он мог представить себе, больше камеры, в которой лежал он, больше города, страны, степи, моря и мира. А потом не оставалось в нем ни благодарности, ни свободы, ни счастья, но только страх, только страх, и отчаяние, и желание жить, лишь бы жить, и он бегал по этой проклятой подвальной комнате, из одного угла в другой угол, и затем по кругу, по кругу, размахивая руками, не в силах остановиться.

103.

Началось с утра и весь день уже не кончалось – хождение, тревога. Шум, шаги и голоса в коридоре. Дверь вдруг открылась, заглянул кто-то, дверь закрылась опять. Пару раз заходил товарищ Сергей, молчал, жевал губами, тряс подбородками, ни слова не говоря уходил. Григорий знал, что судьба его сегодня решится, страха, казалось ему, не чувствовал, только читал про себя наизусть все, что мог вспомнить, все стихи, которые успел запомнить за жизнь, почему-то начал с Лермонтова, по небу полуночи, перешел к Языкову, там за далью непогоды, к Баратынскому, столь всегда им любимому, есть милая страна, есть угол на земле, и, конечно же, еще прекрасен ты, заглохший Элизей, прочитал все из Онегина, что сумел вспомнить, первую главу и восьмую, заснул, проснувшись, увидел товарища Сергея, стоявшего перед распахнутой дверью, смотревшего на него. Слабый свет падал из коридора; в камере была ночь; черной горою стоял против света, в проеме двери, товарищ Сергей. Ну вот и все, Григорий Константинович, вот и все. Что – все? Не будьте ребенком, вы же офицер, в конце концов. Все, вам нельзя оставаться здесь больше. Бегите, я подговорил часового. Через двадцать минут придут за вами. Наши на подходе, батька бесится, всех велено

расстрелять. Не верите? Думаете, я собрался *бежать* вас? Вы все-таки очень плохого обо мне мнения, Григорий Константинович. Жаль. Жаль, что такого плохого. Я не *бегу* вас, я вас спасаю. Прожектор выключен, никто ничего не заметит. Не верите? Нет, все-таки вы не верите. Ну так поверьте. Хоть однажды. Вот в этот раз. Вам же хочется мне поверить, я вижу. Хочется, хочется. На этот раз вам очень хочется мне поверить. Хочется жить, хочется еще жить. Ведь вы мне верите, да? Ведь вот вы мне уже немножко поверили, правда? Верьте, верьте мне, я всегда вам сочувствовал. Был бы на вашем месте ваш братец, пальцем бы не пошевелил для него. А вы другое дело, я это еще во Фрейбурге понял. Сразу понял, что вы не такой. Не такой, как все. Я ради вас своей шкурой рискую. Ну, идите же, бегите же, наконец. Я много зла сделал в жизни, я хочу хорошее сделать. У меня тоже душа есть, Гриша, бегите. Вот видите, вот вы уже и встали, один шаг уже сделали, ну еще один сделайте. Бегите, верьте, не сомневайтесь. Прощайте, не поминайте лихом Прямова. Не обнимаю вас, вам это ни к чему. Просто сделайте еще один шаг, вот так, уступаю дорогу вам, вот, вот, и вот вы уже в коридоре, и теперь бегите, бегите, вон в ту дверь, прожектор выключен, храни вас... Прожектор выключен не был; прожектор тут же зажегся; прожектор побежал вслед за ним. Это было теперь уже все равно. Теперь уже мог он только бежать и бежать, убегая, в одной тетради к стене, к которой приставлена была лестница и по которой шастал прожектор, стараясь его нащупать, в других тетрадях – по площади, мерцавшей мертвенно серым булыжником, падавшей за свой собственный край, бежал, бежал, убегая, мимо бугра, к дальним домикам, прожектором уже схваченный и с одной только мыслью, что надо бы как-нибудь, все равно как, добраться как-нибудь, из города выбравшись, до того дальнего леса, к которому он так всю жизнь стремился, и что если бы он добрался до этого леса, там, в лесу, там, за лесом, и каким-то удивительным образом он был уже в этом лесу, и все в лесу было так же, как тогда в нем было, когда-то, те же сосны и те же над соснами облака, большие, он так ясно видел их, задирая голову, над высокими соснами, быстрые, млечно-переливчатые, вместе с ним бежавшие облака, и пятна солнца, вместе с ним бежавшие по тропинке, и мох, и папоротник, и смолистый дух, хвойный запах, и почему-то уже раздвигались деревья, уже открывалось за ними, неведомое ему, воздушно-светлое, осмысленное пространство, и никакой боли не чувствуя, еще услышал он над собой грубый голос, сказавший: задание выполнено, а, комиссар? и другой голос, как будто знакомый: хорошо выстрелил, молодец.

Описанная мною выше (много выше) гейдельбергская конференция 1998 года была не единственной, на которой мы с Двигубским были вместе. Другой (и последней) была конференция в Майнце летом 2005 года; проходила она (и это так странно, что боюсь, читатель мне не поверит, но у меня есть свидетели – и нет причин выдумывать что бы то ни было на этих близящихся к финалу страницах) в библиотеке института славистики Майнцкого университета, то есть буквально – буквально! – в восьми или десяти шагах от моего теперешнего, в этой же библиотеке и расположенного, рабочего кабинета (где я сижу, вот сейчас, перепечатывая сегодня утром написанную страницу, вот эту). Я и предположить не мог, разумеется, летом 2005 года, что весной 2010 получу здесь работу, подав документы на соискание освободившегося места, что перееду жить в соседний Висбаден; я проходил, следовательно, ни о чем не догадываясь, не слыша, как смеются надо мною всеведущие олимпийцы (а часто ли мы слышим их смех? а смогли бы мы жить, если бы его слышали?..), мимо вот этой белой двери, на которую смотрю сейчас изнутри, и мимо этих железных, в темноту и глубь небольшого, впрочем, пространства библиотеки уходящих полок, между которыми остается как раз достаточно места, чтобы в меру тонкий студент и в меру толстый преподаватель могли добраться до возжеленного чтения – и чтобы повесить там, в глубине, освещаемой при желании и если не испортился выключатель, электрическим, больничным, безличным светом, портрет Толстого с наставленными бровями, Достоевского с повернутым внутрь взглядом, чудаковатого Тютчева и мрачного Фета, тоже, наверное, знающих теперь будущее. В Германии же существовало и существует, даже, в последние годы, разрастается и становится все более международным, некое общество, или, если угодно, некий, все расширяющийся, *кружок* (Arbeitskreis) любителей русской философии (до которой, вообще говоря, на Западе почти никому дела нет); не могу теперь вспомнить, что именно побудило меня летом 2005 года принять участие в ежегодном съезде оных любителей, в Майнце как раз и проходившем, а заодно и договориться с милейшими организаторами собрания о присутствии на нем моего русско-французского коллеги Павла Двигубского (Paul Dvigoubski), о котором они никогда, конечно, не слышали и которого, в свою очередь, мне тоже удалось уговорить приехать в Майнц и даже прочитать небольшой доклад на трогательно старомодном немецком языке, сохранившемся у него с юности. Предчувствие руководило мной, может быть; не сознаваемое мною, и даже не могущее быть сознанным, потому что по ту сторону всякого сознания лежащее (звучащее, движущееся...) желание показать ему, пока еще есть время, эти кулисы моего

будущего, свидетелем которого, в земных пределах, ему уже не суждено было стать. Как бы он улыбнулся, наверное, сообщи я ему эти откровенно абсурдные мысли; с насмешливым и благосклонным снисхождением к чужим умственным играм. Я бесконечно рад, скажу просто, что он видел эти книжные полки, этот бетонный дворик в окне. Моя мама уже не видела их, Ф.Е.Б., разумеется, тоже. Двигубский, все-таки, видел. И это хоть как-то (хоть как-то...) связывает настоящее с прошлым.

105.

Он был уже совсем худ в то лето. Как раз за несколько дней до конференции вышел он, как выяснилось, из больницы, где проделывали с ним, по его словам, всевозможные мерзости, залезали кишкой во все отверстия, какие смогли найти, со всех сторон просвечивали и всячески, вообще, измывались. И – что же? И ничего. То есть как – ничего? То есть взяли пробы и скоро дадут ответ. А вопрос, как вы понимаете, Макушинский, стоит чрезвычайно просто. Или это рак, или это не рак. Если это рак... Я поспешил, конечно, уверить его, что не рак, что *я знаю*, что *простым глазом видно*, что никакого рака быть у него не может, вот ведь тоже придумали, что мне был *голос с неба* и что вообще все прекрасно. Прекрасно, как же, сказал он. Мы шли по набережной вдоль Рейна, каковая набережная, выяснил я впоследствии, есть, собственно, лучшее место во всей округе, единственное, где чувствуются размах, мощь, простор, тот простор, тот размах, которые как будто расширяют что-то в тебе же, ради которых мы ездим, например, на море, например, в горы. Я никогда не любил горы, сказал Двигубский. Я всегда любил только море. А так ведь по-настоящему и не пожил на море, сказал он, глядя на другой берег, где в летнем вечернем мареве видны были чуть размытые холмистые очертания Таунуса. Было много движения вокруг, были машины, спешившие туда и сюда по многорядной улице возле набережной, машины на бесконечном мосту через Рейн, велосипедисты, поднимавшие пыль среди платанов, были панковые парни на досках с колесиками, взлетающие, грохотавшие на металлической, резко вниз и затем резко вверх уходящей короткой дорожке, нарочно для них поставленной, их братья по разуму на каких-то особенных маленьких велосипедиках съезжавшие, и тоже взлетающие, и чуть ли не кувыркавшиеся на той же дорожке, на ступеньках короткой лестницы, ведущей к воде, были, наконец, баржи, прогулочные корабли, катера и моторные лодки, в разные стороны разрывающие гладь реки. Для вас это Рейн, а для меня это в последний раз. В последний раз река, в последний раз небо... Что тут можно было ответить? Мы прошли под мостом; машины, летевшие по нему, остались у нас позади; панки на досках тоже остались в прошлом;

между улицей и набережной появилась гостиница «Хилтон», отделившая нас от автомобильного грохота. Он ничего не успел и не сумел в жизни, говорил Двигубский, останавливаясь, глядя на баржи и воду, поднимая и опуская летящие по-прежнему брови над собственным своим морем, отраженным в глазах, ничего не сумел, не успел, проиграл все партии, которые только мог проиграть, не состоялся как ученый, ничего толком не написал, университетской карьеры не сделал, хотел вмешаться в политику – политика обернулась Путиным, надежды рухнули, мечты не сбылись, даже полюбить как следует не сумел, любил дочку – дочка растет чужим человеком, мечтает о деньгах, о работе в банке, об акциях, ассигнациях и прочих, черт бы их побрал, инвестициях, презирает его – и правильно. Он и заслуживает презренья. Потратил годы на дурацкую повесть, которую написать было невозможно, которой и писать-то не следовало. Погубил свою жизнь в погоне за этой химерой. А что сделал ради этой химеры? Даже в Елец не съездил, куда так много лет собирался. Даже в этот ваш Эйхштетт... Ну уж в Эйхштетт-то, сказал я, съездить не сложно. Просто поехали отсюда на машине со мною, через несколько часов будем там. А что, поехали, Павел? Поживете у меня, наконец... Он вдруг встрепенулся, я помню. Да, сказал он, поворачиваясь, наконец, прямо ко мне, да, это мысль, поехали, дельная мысль, завтра же, после его доклада. Хотя от Парижа это в прямо противоположную сторону... Потом опять сник и осунулся. Нет, теперь уже ни к чему. Теперь уже все равно... Ну, поехали просто так, сказал я. Просто так, развеетесь, отвлечетесь от ваших мыслей. Как же, отвлечешься от них, сказал он. Да что вы, Двигубский, сказал я, через три дня выяснится, что никакого рака у вас нет – а я знаю, что его нет! – и мир предстанет вам в совсем другом свете. И эмигрировать, сказал он на это, было незачем, Светка меня подбила, вся моя жизнь осталась в России. Прожил здесь чью-то чужую жизнь, ничтожную жизнь. Чужую жизнь, чужую жизнь, сказал он и повторил. Я все-таки еще пытался ему возражать. Никто из нас, сказал я, не знает и уже никогда не узнает, как сложилась бы его жизнь, если бы он остался в России. Невозможно прожить две разные жизни и потом сравнить их друг с другом. Может быть, стояли бы сейчас возле Яузы и сожалели, что не уехали в свое время. Все это вздор, сказал он. Это вы меня утешаете, а мне уже все равно. Уже не до утешений. Почитайте мне лучше стихи, сегодня вечером. Что я и сделал в тот вечер, когда мы возвратились в расположенную возле самого кампуса крошечную гостиницу с прелестным для двигубского уха, но, конечно, тоже не утешившим его названием «Римский камень» („Römerstein“) – Майнц все-таки и как-никак, говорил он, но говорил это словно уже по старой, надоевшей ему самому привычке, не

вслушиваясь в свои же слова, как-никак и все-таки Майнц – бывший Могонтиакум, столица римской провинции «Верхняя Германия», *Germania Superior*, и я, конечно, могу поступать, как хочу, но он все-таки пойдет завтра в «Римско-германский музей», раз уж здесь оказался, как видите, и он еще способен интересоваться тем-сем – когда, следовательно, мы возвратились в эту крошечную и какую-то почти деревенскую гостиницу возле казарменного, взорванного непрерывными стройками университетского кампуса, – гостиницу, где жили участники конференции и где я останавливался впоследствии, подав документы на соискание освободившегося места и приезжая на собеседование с будущими коллегами и пробную лекцию, – я прочитал ему в его номере почти все, к тому времени написанные мною стихи, вошедшие затем в мою, в 2007 году изданную книжку «Свет за деревьями», стихи, которые он слушал так внимательно, как в прошлой жизни слушал его отец мою прозу, которые понравились ему, показалось мне, так, как моя проза не нравилась ему никогда, так что он несколько раз просил меня повторить то и это, и брал в руки, и перечитывал листочки, не без задней мысли почитать ему эти стихи привезенные мною в Майнц, и пускай он был недоступен для утешений тогда и не нуждается в утешениях теперь, для меня, здесь пока остающегося, этот тогдашний его отклик до сих пор утешителен, не менее, если не более, чем тот простой факт, что он видел, еще раз, этот взорванный кампус, эти бетонные стены, кулисы моего настоящего. Среди же участников конференции, упомянутых только что, оказался бойкий московский профессор с седой бородкой и бегающими глазами, отлично знавший, как выяснилось, его отца (Константин Павлович, ну как же, ну как же...), вновь и вновь порывавшийся поговорить с П.Д. *о его батюшке*, чего Двигубскому как раз совсем не хотелось, так что, всякий раз при слове *батюшка* передергивая плечами, он и в первый, и во второй день конференции все пытался как-нибудь от профессора отвертеться; на третий день профессор сам отстал от него, только изредка, я помню, обращая в его сторону недоуменные взоры. Была зато приятная тихая дама из, кажется, Билефельда, белокурая и нарядная, с белой камеей в глубоком вырезе летнего платья, дама, несколько для меня, например, не привлекательная, но на которую он, Двигубский, время от времени посматривал с таким откровенным эротическим интересом, какого я не знал за ним даже в юности. Никогда, скажу просто, на моей памяти ни на одну женщину он так не смотрел. Дама, прочитавшая, почти не поднимая глаз от рукописи, вполне дельный доклад о Сергее Булгакове, сперва тоже отвечала на его взгляды своими недоуменными, потом перестала смотреть в его сторону, а затем уже начала улыбаться ему в ответ, так что

установилась, в конце концов, некая система взглядов, как тонкие нити протянутых сквозь небольшое помещение библиотеки славистского института (от полки с Чеховым к полке с Толстым и от словарей к Достоевскому), поскольку я наблюдал, конечно, за ними обоими, Двигубский же, упорно старавшийся не встречаться со мной глазами, как бы просил оставить его в покое, а бойко-бородатый московский профессор все никак не мог понять, почему у почтенного, увы, покойного Константина Павловича Двигубского такой нелюбезный и странный сын. Прочие участники конференции ничего этого, мне казалось, не замечали.

106.

Его доклад снова был для меня неожиданностью. Он не считает себя вправе обсуждать общие философские проблемы или всерьез анализировать чьи-то идеи, чьи-то труды. Он вообще не философ, философией никогда по-настоящему не занимался, в этой чуждой ему сфере чувствует себя неуверенно и просит о снисхождении. Он хотел бы просто сделать небольшое сообщение об авторе, за пределами Франции, насколько он знает, почти неизвестном, да и в самой Франции известном слишком мало. Между тем, этот по-французски писавший поэт, критик и – кто еще? – уже здесь начинаются сложности и темноты – почему он, Двигубский, позволит себе просто повторить блеклое слово *автор* – между тем, еще раз, этот писавший по-французски автор румынско-еврейского происхождения имеет самое непосредственное касательство к истории русской философии, поскольку его можно считать, и он сам считал себя, единственным учеником Льва Шестова, философа, как все здесь присутствующие прекрасно знают, слишком своеобразного, парадоксального и, если угодно, экзотического, чтобы иметь учеников, или, скажем иначе, философа, у которого если и мог бы какой-нибудь ученик, то вот только такой, не уступавший ему, на своей лад, в парадоксализме и своеобразии, в отчаянной безоглядности и беспощадной бескомпромиссности, граничащей, пожалуй, с чудачеством и, в высоком смысле слова, юродством. Как вы уже догадались, речь пойдет о Бенжамене Фондане. Никто не догадался, по-моему. Фондан, говорил Двигубский, вновь и вновь взглядывая на декольтированную даму, родился в 1898 году в городе Яссы, его настоящая фамилия было Векслер. В 1923 он переезжает во Францию. Это один из тех, следовательно, румынских или румынско-еврейских писателей, говорил Двигубский, которые начинали в юности писать на своем родном языке, из провинции перебирались, как правило, в Бухарест, вступали там в более или менее тесные отношения с

литературными, по тому времени, конечно, «авангардистскими», кругами – и почти сразу бросали все это, и румынское захолустье, и румынский язык, чтобы сделать (или не сделать) карьеру во Франции. Все знают Ионеско, Мирча Элиаде, Эмиля Сьорана (в России, слышал я, называемого Чораном...); в каком-то смысле и Пауль Целан сюда относится, хотя Целан, живя в Париже, писал, разумеется, по-немецки. Фондан забыт, и все попытки спасти его от забвения, а такие попытки предпринимаются вновь и вновь, терпят крах. Есть люди, которых нельзя спасти, даже после их гибели. Знакомство Фондана с Шестовым относится к 1924 году; по-видимому, оно полностью перевернуло его жизнь. Человек, *задуманный* как литератор, поэт и критик, погружается в мир идей, причем идей шестовских, то есть, в сущности, в борьбу с идеями, в патетическую и как бы заранее проигранную борьбу с очевидностями, разумом и порядком, с законами природы и морали, с «дважды два четыре» и с категорическим императивом – во имя чего-то, что, как и у Шестова, остается у него, в общем, неназванным. Мысль его, как и шестовская мысль, словно ходит кругами вокруг этого неназванного чего-то, иррационального и абсурдного... При этом, можно сказать, Фондан переносит на, во-первых, французскую, во-вторых, литературную почву и шестовские идеи (анти-идеи...), и его метод «странствования по душам», его подход к тем авторам, которых избирает он для анализа и атаки, каковой подход и метод он, Двигубский, охарактеризовал бы как метод всеобщей подозрительности, вновь и вновь предполагающей, что избранный автор говорит то, что он говорит, не потому что он так действительно думает, а чтобы скрыть какую-то другую мысль, или, скорее, страх мысли, боязнь остаться наедине с ней. Героями Шестова были Достоевский, Толстой и Ницше, Плотин, Лютер, Паскаль, Спиноза и Кьеркегор. Главные герои Фондана – Бодлер и Рембо. Отсюда две его главные книги – «Рембо-хулиган» (или «Рембо-проходимец», «Рембо-мазурик», «Рембо-переводите-как-хотите», Rimbaud le voyou, 1934) и «Бодлер, или Опыт бездны», Vaudelaire ou l'expérience du gouffre (посмертно, 1947). Из других его книг он, говорил Двигубский, хотел бы, по крайней мере, упомянуть «Несчастное сознание» (1936), «Ложный трактат об эстетике» (1938), а также любопытнейшие воспоминания о Льве Шестове, Rencontres avec Léon Chestov, изданные только в 1982 году. Сближению с Шестовым предшествовало письмо Фондана от 17 января 1927 года, которое он, весьма вольно, пересказывает в своих уже, разумеется, после смерти учителя составленных мемуарах. Если, пишет, точнее – утверждает, что пишет в этом письме Фондан, трагедия и несчастье являются условиями поисков истины – а ведь именно таков шестовский тезис – то кто же по

доброй воле пойдет за таким учителем? Кто решится пожелать себе трагедию, хотя бы и ради прекрасных глаз истины? У Вас никогда не будет учеников... Замечательно, говорил Двигубский, что в самом письме 1927 года (оригинал его сохранился) сказано не совсем то же самое, а именно, что он, Фондан, Шестовым восхищенный и очарованный, пока – подчеркнем это *пока* – отказывается за ним следовать, что если для поисков истины потребно несчастье, то он еще не решается его себе пожелать... За прошедшие между письмом и пересказом десять с небольшим лет Фондан, судя по всему, научился *желать себе трагедию* – такие желания бывают обычно исполнены, – во всяком случае, за Шестовым последовать решился, учеником его сделался и в качестве ученика был им признан. Это письмо двадцативосьмилетнего Фондана произвело на к тому времени уже почти шестидесятилетнего, всю жизнь обреченного чувствовать себя непонятым Льва Шестова впечатление столь сильное, что он несколько раз читал его своим гостям вслух, как-то раз в присутствии отправителя, повторяя, что уже привык получать комплименты по поводу своего литературного таланта и стиля, чтоб им неладно было, но что вот нашелся, наконец, молодой человек, интересующийся *самим делом*, *la question elle-même*. Это поразительно (*remarquable*). Здесь он, Двигубский, позволит себе признание почти постыдное. Да простят его, говорил он, начав, наконец, улыбаться, здесь присутствующие философы – и философы, здесь отсутствующие, их блаженные и, будем надеяться, благосклонные духи, но его, Двигубского, совсем не философа, все-таки в гораздо большей степени, чем абстрактные рассуждения, сколь бы неожиданными и смелыми они ни были, то есть в гораздо и несравнимо большей степени, чем *само дело*, интересуют живые подробности и детали, передаваемые Фонданом, сохраненные им разговоры, анекдоты погибшего времени. Он не может удержаться, чтобы не пересказать здесь историю посещения Шестова Эдмундом Гуссерлем, в котором Шестов видел своего антипода, но с которым все же чувствовал какую-то таинственную братскую связь. Гуссерль, естественно, по-русски не говорил. Между тем, присутствовавшая на вечере Рахиль Беспалова (*Mme Rachel Bepaloff*, как называет ее Фондан) – вот тоже имя, слишком мало известное, а читать ее, наверное, стоит, в особенности, полагает он, ее книжку об «Илиаде», о вечной войне, впрочем, это сейчас неважно – Рахиль Беспалова, в свою очередь, как и Фондан, считавшая себя ученицей Шестова, им самим, однако, вовсе не признаваемая в качестве таковой (даже дружески расположенные ко мне люди, как Бердяев или Беспалова, уродовали мои мысли, писал он в одном письме, вот почему так ценен Фондан...) – Рахиль, еще раз, Беспалова вдруг принялась нападать на

Гуссерля, опираясь в своих рассуждениях, к немалому смущению хозяина, как раз и конечно же на него самого, Шестова, которого по русскому обычаю (*selon la coutume russe*, пишет Фондан) упорно называла она Львом Исааковичем, покуда присутствующие не сообразили, что Гуссерль совершенно не понимает, кто же такой этот таинственный Isakovitsch, выдвинувший против него, Гуссерля, столь сильные аргументы. Он так этого до конца и не понял. Судьба самой Mme Vespaloff, заметил Двигубский, как бы в скобках и глядя в окно, тоже была трагической, хотя и совсем по-иному трагической, чем у Фондана. Спасшись от немцев, она почти сразу покончила с собой в благополучной Америке... А вот чудесный рассказ о жалобах Шестова на его близких, жену и дочерей, которые всю жизнь, оказывается, ставили ему в пример Бердяева, его друга. Бердяев то, Бердяев сё. А ты? Чего ты добился в жизни? У тебя даже и учеников-то нет. Есть, конечно, Фондан, говорит Шестов Фондану, заходящемуся от смеха и счастья, но Фондан... простите меня... молодой и немножко дурачок (*un peu bête*), что с него взять, и какое будущее его ожидает? Погодите, это еще не все. Ты никогда не поумнеешь, говорит мне моя жена, говорит Фондану Шестов. Ну, может быть, когда станешь дедушкой. Я стал дедушкой и, похоже, не поумнел. По-прежнему Бердяев – образец всех добродетелей. Конечно, говорят они мне, у тебя есть ученик, но он... простите... молодой и немножко глупый, о будущем его страшно и подумать. Вот, может быть, когда ты станешь прадедушкой. Теперь я говорю всем, что уже стал прадедушкой, и все надо мной смеются... Мы все тоже, конечно, смеялись, в библиотеке института славистики, в десяти шагах от моего теперешнего кабинета. Все же это лишь краткие эпизоды, скорые примечания по ходу безудержной мысли, на полях воинствующих идей. Читать Фондана трудно, еще труднее, может быть, чем читать самого Шестова. Шестов борется с разумом, необходимостью и т.д. у них дома, на их территории; Фондан переносит эту борьбу в область поэзии, где необходимость и разум, как обычно считается, не дома, а в гостях, и то изредка. Фондан считает иначе. Поэзия, и особенно поэзия французская с ее классическими преданиями, отравлена рационализмом, загублена картезианством... Его книга о Бодлере написана, как кажется, против – Фондан, как и Шестов, всегда пишет *против* – Поля Валери, в котором, и, наверное, справедливо, видит он воплощение этого картезианского начала в поэзии. Борьба с каковым началом ведет прямо в бездну (отсюда заглавие). Поэзия в такой перспективе оказывается не отвоеванным у мировой немоты и смуты островком ясности, и тем самым – свободы, тем самым – счастья, говорил Двигубский, опять улыбаясь – нерадостною улыбкой, но разрывом всех связей, прорывом хаоса,

торжеством абсурда и растворением в космических вихрях. Броском в бездомность, а не возвращением домой. Поэзия у Фондана предстает какой-то беспощадной и разрушительной силой, шутя сметающий с таким трудом наведенный в душе порядок. Поэзия есть опасность... Все это сближает, конечно, нашего автора с сюрреализмом, как бы он не отнекивался, и делает его отчасти предшественником послевоенных экзистенциалистов, его, конечно, читавших, как читали они и Шестова. Мы все понимаем, говорил Двигубский, пустоту этих понятий, ничтожность этих истовых, или неистовых, -измов – и что бутылочными этикетками, как писал столь нелюбимый Фонданом Валери, невозможно ни опьяниться, ни утолить жажду. Не чужд Фондан и столь характерной для его эпохи тенденции противопоставлять рационализму, «духу критики», как он иногда выражается, и прочим своим врагам, будто бы запирающим нашу свободу и воображение в темницу условностей, в узилище категорий, – нечто примитивное, дикарски-варварское, стихийное и «океанское», если говорить в русских терминах (тенденции, которой у самого Шестова по счастью незаметно), противопоставлять им среди прочего то «дологическое мышление» и «закон партиципации», о которых прочитал он (как и мы впоследствии прочитали) у Леви-Брюля. А раз так, то с неизбежностью (с той самой неизбежностью, если угодно, против которой и он, и его учитель всю жизнь боролись) возникает и мечта о *мифе*, миф о мифе, так скажем, и мечта о *коллективном творчестве*; мечты и мифы, говорил Двигубский, о которых и говорить-то не хочется, столь разоблачительными оказались их результаты. Жертва этих *результатов*, Фондан в такой перспективе сам оказывается одним из симптомов своего века. Впрочем, говорил Двигубский, поднимая глаза от рукописи, симптомом своего века и времени оказывается, при ближайшем рассмотрении, любой из нас, как бы ни стремились мы быть его, времени и века, *диагнозом*... Ни в коей мере не решится он утверждать, что вполне понял эти словно отвергающие читателя тексты, еще того менее он готов был бы согласиться с ними (в той мере, в какой их понял). Тексты Фондана, говорил Двигубский, выталкивают читателя, как вода Мертвого моря выталкивает купальщиков и купальщиц. Он, Двигубский, во всяком случае, оказался для них слишком легок... Персонаж его привлекает. Персонаж интеллектуальной истории, лучше – персонаж экзистенциальной драмы ему, Двигубскому, интереснее, признаться, чем его сочинения. Судьба Фондана с течением времени набирает трагические обороты. Помимо перечисленных выше философских, или теоретических, книг, он продолжает писать стихи, занимается кинематографом, опять-таки – и теоретически, и практически

(как сценарист; без большого – или вообще без всякого, похоже, успеха); два раза (с лекциями и кинематографическими проектами) путешествует в Аргентину (нет бы ему остаться в Буэнос-Айресе...); многое начинает, бросает; вновь и вновь возвращается в Париж, к философии и к Шестову. Смерть Шестова в ноябре 1938 года выглядит как начало и его конца, его гибели. В 1940 году его призывают в армию, он попадает в плен, бежит, вновь попадает в плен, попадает с аппендицитом в знаменитый парижский военный госпиталь Val de Grâce, говорил Двигубский, в мою сторону не глядя по-прежнему, по выходе оттуда остается в Париже, скрывая свое еврейское происхождение, по другим сведениям живет в свободной зоне, но вновь и вновь почему-то, зачем-то – почему? зачем? – приезжает в Париж. Эмиль Сьоран (Чоран, если угодно) оставил о нем небольшие воспоминания (в которых, говорил Двигубский, видится мне что-то бесстыдное, если подумать о судьбе одного и поведении другого под немцами...). Сьоран, как бы то ни было, описывает его как человека, готового к гибели и выбирающего гибель, стремящегося к саморазрушению, к уничтожению. Вижу его скручивающим одну сигарету за другой, пишет Сьоран. Ничто не сравнится с наслаждением от первой сигареты, выкуренной натошак... А между тем, у него была язва желудка, которой он предполагал заняться когда-нибудь в будущем, сам в это будущее не веря. Он прекрасно понимал, в какой опасности находится, он был согласен с судьбою. Не без высокопарности говорит Сьоран о мистическом союзничестве с Неотвратимым. А я сказал бы, говорил Двигубский, что жизнь Фондана выглядит... да, выглядит, пожалуй, как некое осуществление философии Льва Шестова. Мы не знаем, конечно, какие бездны таились у Шестова в душе и какие скелеты в шкафу, но по крайней мере внешне жизнь его кажется относительно благополучной. Он даже умереть сумел вовремя, до прихода гестаповцев, но и дожив при этом до старости, не очень, по нашим нынешним меркам, глубокой, но все же до семидесяти двух, трудами исполненных, лет. Шестов писал о трагедии, Фондан решил ее себе пожелать, ее призвать на себя... Вот, может быть, высшая форма ученичества, какую вообще можно себе представить. Чужая мысль подчинила себе его жизнь. Это не значит, конечно, что он прожил чью-то жизнь чужую. Это была все-таки его жизнь, его выбор и гибель. Да и шестовская мысль была им в буквальном смысле усвоена (*angeeignet*), то есть сделалась для него своей, его собственной мыслью (*seine eigene...* Двигубский, напомним, читал свой доклад по-немецки, это я теперь перевожу опубликованный впоследствии текст на русский, сличая его с моими, теперь уже шестилетней давности, впечатлениями). Фондана выдал консьерж. Или выразимся чуть-чуть осторожнее: Фондана, судя по

всему, что мы знаем, выдал консьерж того дома, где он, Фондан, жил (6 rue Rollin, пару лет назад там повесили доску; это на левом берегу, вдруг почему-то добавил Двигубский, недалеко от Jardin des Plantes). 30 мая 1944 вместе с сестрой Линой его отправили с предпоследним этапом из лагеря Дранси в Аушвиц-Биркенау. По крайней мере, они были вдвоем. Впрочем, кто знает, было ли им от этого легче. Ее судьба к тому же нам не известна, лишь об его последних днях сохранились свидетельства. Мы точно знаем дату его гибели – 3 октября 1944. Ад, следовательно, длился четыре месяца. Консьерж, между прочим, сразу после освобождения Парижа покончил с собою (не оставив записки). Повесился, так сказать, на осине. На свете разыгрывается, по сути, все одна и та же, одна и та же история. Он заканчивает, он благодарит за внимание. Была, я помню, легкая растерянность после его доклада, слишком не похожего на все остальные. Толстой и Достоевский тоже, казалось мне, с некоторым изумлением смотрели на нас из глубины освещенных проходов между книжными полками.

107.

Рака у него нашли. Он ожил, как сам говорил мне по телефону. Осень 2005 года провел он, собирая, систематизируя и дополняя свои многолетние записи, относящиеся к той большой книге о русской истории, которую еще в юности он задумал; под самый Новый год свалился с такой болью в животе, какой никогда еще не испытывал. Это был рак печени, а не желудка, как сперва думали, если они вообще думали что-нибудь, равнодушно-презрительные врачи. За операцией последовала химиотерапия, волос у него не осталось... Я приехал в Париж осенью 2006 года. За день, кажется, до моей, описанной выше встречи с художником Икой в его чудесной мастерской на бульваре Сан-Жермен, мы поехали со Светой к Двигубскому, лежавшему в загородном онкологическом санатории, где-то, если память не изменяет мне, недалеко от Понтуазы; бесконечно долго, чтобы пересечь из метро в RER, шли по загибавшемуся за себя самому коридору, где все арабы всего мира продавали все блески, всю рухлядь этого мира, затем ехали и ехали на этом RER, казалось, что никогда не доедем, наконец, доехали, пересели в набитый толстыми негритянками и детьми негритянок автобус, выбрались из него, пошли через парк к санаторию. Парк был как раз чудесный, осенний, желтый, красный и солнечный. Листья под ногами шуршали, как в Павловске. Не знаю ли я, спросила Света, о каких таких Бабаевых и Бадаевых бормочет он в бреде боли; я знал. Я только не хочу теперь описывать его в больничной постели, с этим

ужасным металлическим треугольником, над ней нависающим, за который брался он полупрозрачной рукою, чтобы подтянуться и выпрямиться. Какая-то надежда еще была, или мы делали вид, что была. Мы делали, он, конечно, не делал. Он смотрел на меня огромными на голом черепе, неузнаваемыми глазами, чужими глазами, глазами Григория, всматривающегося в темноту своей камеры. Глупо, Алеша, сказал он, в первый и в последний раз в жизни назвав меня так. Как глупо все вышло. *Mort à Paris, près de Pontoise...* Он попробовал улыбнуться. Нет, все-таки не могу жить без органов. Стараюсь, но никак не могу. На тумбочке лежали шесть или семь толстенных темно-красных томов воспоминаний Д.А. Милютина, как раз тогда выходявших в России, все шесть, если не семь, в длинных, с трех сторон вылезавших наружу закладках. Почему-то мне показалось, что они просто так лежат, что он не прикасается к ним. В мой следующий приезд к нему, уже без Светы, их не было. Был томик Пушкина на тумбочке и том Тургенева, обложкой кверху, на одеяле. Умереть с русским романом в руках. А я ведь сам герой русского романа, вечный неудачник, лишний человек, попусту растративший свою жизнь. Не пытайтесь возражать мне. Я не пытался. Еще дотянул он до Нового года, еще несколько раз говорили мы по телефону. Затем уже только рыдающая в трубку Светлана расспрашивала меня, как человека, имеющего некоторый опыт в этом деле, о подробностях и формальностях перевозки урны в Россию.

108.

В августе 2007 года мы отправились вдвоем с А. из Петербурга в Елец, в память о Павле – и дальше, в Белгородскую область, однажды тоже им упомянутую; поездка, которую описал я, как уже сказано, в отдельном очерке и которую не буду поэтому описывать здесь; скажу лишь, что в Елец мы ехали, минуя Москву, ночным, не запомнившимся мне путем, в относительно чистом и не очень душном купе, а возвращались совсем другой дорогой, из Белгорода, где на вокзале была несравненная русская толчея и путаница, в приятном соединении с тридцатиградусной жарой, и на какой перрон придет поезд, никто не знал, узнать было негде, так что, когда он пришел, вся толпа со всеми детьми, чемоданами, рюкзаками, пластиковыми сумками, баулами и проклятиями железной дороге, возлюбленному отечеству, бросилась на какую-то самую дальнюю платформу и по этой платформе в какой-то самый дальний конец, где, как выяснилось, пришедший из ниоткуда и в никуда уходящий состав имел двух-, или трехминутную остановку; и пытаюсь все-таки, почти уже из упрямства, катить то и дело заваливавшийся набок чемодан с колесиками по разбитому, в змеящихся трещинах, вздутиях и выбоинах асфальту платформы, я подумал, я помню, теснимый

матерящеюся толпой, что гражданская война в России не кончилась, никогда, наверно, не кончится, прав был Двигубский; в вагоне же кондиционер не работал и окна не открывались. Мы выбегали, разумеется, из душегубки, и в Курске, и в Орле, и еще на каких-то, забытых мной станциях. А что пассажиры? отвечала густо-накрашенная, вилявшая задом и вонявшая страшной смесью пота с приторными мускусными духами проводница вопросом на вопрос своей товарки из встречного поезда, остановившегося на той же, что и наш незабываемый поезд, платформе. Что – пассажиры? Жалуются, конечно. Ничего, доедут, куда они денутся... Доехать было почти невозможно, но все-таки мы доехали. Ночью, когда жара чуть-чуть спала, ухитрился я, на мгновенье, заснуть; тут же, или так мне показалось, проснувшись, увидел в окне освещенные башни бесконечно долго тянувшихся новостроек, еще башни, еще и еще, совсем вблизи и в не соизмеримом ни с чем отдалении, вавилонские громады, ассирийские протяженности. Я так и не понял, на какой вокзал мы приехали, если вообще на какой-нибудь приезжали. Между сном и сном, в безвоздушном забытьи, увиделись мне эти башни и окна, убегавшие за край земли, на край света. И таким сильным было это чувство, что вот же это Москва, за окном и занавеской в окне, Москва, где я прожил тридцать два года своей жизни, где пятнадцать лет не бывал, что, возвратившись через пару дней после этой нашей поездки, как и предполагалось заранее, из Петербурга в Мюнхен, я, чего заранее вовсе не предполагалось, купил, еще через три недели, самолетный билет в Москву, и в один прекрасный, уже осенний, золотой и солнечный день, приземлился на Домодедовском аэродроме, где А., приехавшая ночным поездом из Петербурга, уже меня дожидалась.

109.

Мы все вступаем рано или поздно в тот возраст, в котором возвращение на родину оказывается возвращением на кладбище. Феб похоронен на одной московской окраине, Двигубский, рядом со своим отцом, на другой, недалеко от новой окружной дороги с ее полчищами пыхтящих грузовиков. Седой и недовольный Сережа отвез нас туда на своем новом автобусообразном «Рено», в котором никак, несмотря на все наши просьбы *сделать потише*, не умолкала и даже тише не делалась, хотя хмурый водитель и крутил какие-то рычажки, металлическая музыка, с невыносимой настойчивостью повторявшая все одни и те же слова, все про любовь, про любовь, baby, baby, I love you, музыка, вновь и вновь прерываемая, но и от этого тише не делавшаяся, телефонными звонками и Сережиными криками в трубку, что если до вечера Петров не подпишет, он,

Сергей Двигубский, пошлет их всех в жопу, а вы как хотите. Памятника еще не было, была только табличка «Двигубский, Павел Константинович. 1958 – 2007». Все-таки дерево было рядом, за синенькой оградой соседней могилы: сосна, высоко в бледное небо, выбиваясь из каких-то смутных зарослей, возносившая розоватые нежные ветви с отчетливыми иголками. Возле новой бревенчатой часовни, где православная А. поставила свечку за упокой души моего друга, о котором я так много рассказывал ей, стояли, перешептываясь, плотною группой, не в трауре, средних лет, человек восемь-девять мужчин и женщин, одетых во что-то такое скудное, серое, чего я много лет уже не видал; молоденький, русый, с крестьянским лицом и неуверенными глазами священник, спустившийся к ним по ступенькам, тут же вступил с ними в какие-то, очевидно, сложные, путаные переговоры, что-то им плавно втолковывая, поводя руками, поднимая вверх указательный палец; вдруг, как будто соскучившись, громко сказал, что – отлично, вот так-то мы сделаем, – и пошел обратно к часовне; Сережа вынудил нас возвратиться в Москву. Москву, как известно, называл Чаадаев – Некрополем. Живые тени появлялись там тоже. Я постарался с ними со всеми встретиться, всеми, кто меня помнил, кого я помнил, с кем переписывался, и с кем не переписывался все эти годы, кого сумел разыскать. Из прошлого выплывали, конечно, улицы, Арбат Новый и Старый, Гоголевский бульвар и Тверской, Борисоглебский переулок, Хлебный и Мерзляковский, Леонтьевский, Брюсов, наконец – Камергерский. В Камергерском долго стояли мы, глядя на окна той квартиры, где я прожил семь лучших лет моей жизни; окна эти ничем не отличались от соседних с ними, от окон слева или окон справа от них; когда-то всем известного градусника на торце этого дома теперь больше не было; на месте тоже известного всем общественного туалета, от Тверской чуть подальше, стоял теперь памятник сутулому Чехову. Дошли мы, наконец, и до Чистых прудов, прошли мимо театра «Современник», завернули в один и в другой переулок, заглянули в тот двор и постояли перед тем подъездом, в который некогда вошел я вслед за Двигубским, чтобы попасть на чердак. Двор этот, отделенный теперь от переулка новыми, металлическими, на колесиках разъезжавшимися воротами, лишь совершенно случайно, как выяснилось, открытыми в ту минуту, когда мы вошли, заставлен был тоже новыми, очень шикарными и дорогими машинами, отъявленными «Ягуарами» и бесстыдными «Бентли», а в остальном был такой же, как прежде, пыльный и путаный – разнобой торцов и подъездов, гаражей, тополей. Была еще будка, и в будке бабка, распорядившаяся воротами. Из будки выбравшись, бабка потребовала у нас отчета, что, мол, мы здесь делаем и как здесь осмелились оказаться. Мы

пробормотали что-то невразумительное. Идите, идите отсюда, заголосила старуха, шлятся тут всякие, сейчас милицию позову. Да мы, бабушка, только... Нечего, нечего, кричала бабушка, хрипя и тыкая в нашу сторону костлявой рукой, нечего, уходите отсюда... Нос у нее был, конечно, крючком и палец, которым она в нас тыкала, тоже крючком. Колючки глаз и вселенская ненависть в них довершали картину. В России, сказал я, тебя всю жизнь куда-то не пускают, откуда-то гонят... Мы вышли снова к Поганой луже (к Чистым прудам), перешли трамвайные рельсы, отделенные от бульвара чугунной чудной решеткой, перелезли через нее, подошли, наконец, к воде, подернутой испуганной рябью, постояли, посмотрели на эту воду, на дома и далекие крыши на другой стороне бульвара, на невысокое небо над крышами. Малыш катил на велосипеде с добавочными колесиками, справа и слева от заднего колеса, нам навстречу, мальчик лет, наверное, шести, может быть, и пяти, почему-то совсем один, без мамы, без папы, яростным звонком разгоняя редких прохожих, еще ребенок, но уже с какой-то подростковой бесшабашностью в облике и поведении, не малыш, но *малый*, не мальчик, но, хотелось сказать, *парнишка*, беловолосый, толстый, очень красный от возбуждения, с почти злым от возбуждения и счастья лицом, сперва катил нам навстречу, затем, заставив нас расступиться, проехал мимо нас и сквозь нас, бешено звоня в свой звонок, один, без родителей, крутя педали изо всех отпущенных ему сил, не глядя по сторонам, с лицом злым, сосредоточенным и счастливым, наезжая на мелкие лужи в белом гравии бульварной аллеи, брызгая водой из-под шин, объезжая пруды, удаляясь от нас, уезжая к Покровским воротам.